

Павел Иванович Мельников-Печерский

На горах



Дилогия

Павел Мельников-Печерский
На горах

«Public Domain»

1875-1881

Мельников-Печерский П. И.

На горах / П. И. Мельников-Печерский — «Public Domain»,
1875-1881 — (Диалогия)

Заповедные края нижегородского Нагорья, протянувшиеся по берегам Волги. Здесь живут легендарные своими причудами купцы-миллионщики, свято сберегающие древнюю веру раскольники, неистово скачущие на тайных радениях сектанты-хлысты. Здесь расцветает любовь Дуняши Смолокуровой и купца Петра Самоквасова, да только через многие испытания суждено им пройти, прежде чем обретут они счастье.

Содержание

Часть первая	5
Глава первая	5
Глава вторая	10
Глава третья	25
Глава четвертая	37
Глава пятая	47
Глава шестая	63
Глава седьмая	75
Глава восьмая	86
Глава девятая	101
Глава десятая	107
Глава одиннадцатая	122
Глава двенадцатая	129
Глава тринадцатая	139
Глава четырнадцатая	143
Глава пятнадцатая	151
Глава шестнадцатая	159
Глава семнадцатая	167
Конец ознакомительного фрагмента.	170

Павел Иванович Мельников-Печерский

На горах

Часть первая

Глава первая

От устья Оки до Саратова и дальше вниз правая сторона Волги «Горами» зовется. Начинаясь горы еще над Окой, выше Мурوما, тянутся до Нижнего, а потом вниз по Волге. И чем дальше, тем выше они. Редко горы перемежаются – там только, где с правого бока река в Волгу пала. А таких рек немного.

Места на «Горах» ни дать ни взять окаменелые волны бурного моря: горки, пригорки, бугры, холмы, изволоки грядами и кряжами тянутся во все стороны меж долов, логов, оврагов и суходолов; реки и речки колесят во все стороны, пробираясь меж угорий и на каждом изгибе встречая возвышенности. По иным местам нашей Руси редко такие реки найдутся, как Пьяна¹, Свияга да Кудьма. Еще первыми русскими насельниками Пьяной река за то прозвана, что шатается, мотается она во все стороны, ровно хмельная баба, и, пройдя верст пятьсот закрутасами да изворотами, подбегает к своему истоку и чуть не возле него в Суру выливается. Свияга – та еще лучше куролесит: подошла к Симбирску, версты полторы до Волги остается, – нет, повернула-таки в сторону и пошла с Волгой рядом: Волга на полдень, она на полночь, и верст триста реки друг дружке навстречу текут, а слиться не могут. Кудьма, та совсем к Оке подошла, только бы влиться в нее, так нет, вильнула в сторону да верст за сотню оттуда в Волгу ушла. Не захотелось сестрицей ей быть, а дочерью Волгиной. Так говорят... И другие реки и речки на Горах все до единой извилисты.

Издревле та сторона была крыта лесами дремучими, сидели в них мордва, черемиса, болгары, буртасы и другие языки чужеродные; лет за пятьсот и поболее того русские люди стали селиться в той стороне. Константин Васильевич, великий князь Суздальский, в половине XIV века перенес свой стол из Суздаля в Нижний Новгород, назвал из чужих княжений русских людей и расселил их по Волге, по Оке и по Кудьме. Так летопись говорит, а народные преданья вот что сказывают:

«На горах то было, на горах на Дятловых²: мордва своему Богу молится, к земле-матушке на восток поклоняется... Едет белый царь по Волге реке, плывет государь по Вбложке на камешке. Как возговорит белый царь людям своим: «Ой вы гой еси, мои слуги верные, слуги верные, неизменные, вы подите-ка, поглядите-ка на те ли на горы на Дятловы, что там за березник мотается, мотается-шатается, к земле-матушке преклоняется?»... Слуги пошли, поглядели, назад воротились, белому царю поклонились, великому государю таку речь держат: «Не березник то мотается-шатается, мордва в белых балахонах Богу своему молится, к земле-матушке на восток преклоняется». Вопросил своих слуг белый русский царь: «А зачем мордва кругом стоит и с чем она Богу своему молится?» Ответ держат слуги верные: «Стоят у них в кругу бадьи могучие, в руках держит мордва ковши заветные, заветные ковши больши-набольшие, хлеб да соль на земле лежат, каша, яичница на рычагах висят, вода в чанах кипит, в ней

¹ Пьяна упоминается в летописях. Русские поселились на ней в половине XIV века, и тогда еще по поводу поражения нижегородской рати ордынским царевичем Арапшой сложилась пословица: «За Пьяной люди пьяны». (Примечания, данные под строкой, принадлежат автору. – *Ред.*)

² В «Книге Большого Чертежа»: «А Нижний Новгород стоит на Дятловых горах».

говядину янбед³ варит». Как возгворит белый русский царь: «Слуги вы мои, подите, дары от меня мордве отнесите, так ей на моляне⁴ скажите: «Вот вам бочонок серебра, старики, вот вам бочонок злата, молельщики». На мордовский молян вы прямо ступайте, мордовским старикам серебро, злато отдайте». Верные слуги пошли, царский дар старикам принесли, старики серебро, злато приняли, сладким суслом царских слуг напойли: слуги к белому царю приходят, вести про мордву ему доводят: «Угостили нас мордовски старики, напоили суслом сладким, накормили хлебом мягким». А мордовски старики, от белого царя казну получивши, после моляна судили-рядили: что бы белому царю дать, что б великому государю в дар от мордвы послать. Меду, хлеба, соли набрали, блюда могучие наклали, с молодыми ребятами послали. Молодые ребята приустанови сели: мед, хлеб-соль поели, «старики-де не узнают». Земли да желта песку в блюда накладали, наклавши пошли и белому царю поднесли. Белый русский царь землю и песок честно принимает, крестится, Бога благословляет: «Слава тебе, Боже царю, что отдал в мои русские руки мордовску землю». И поплыл тут белый царь по Волге реке, поплыл государь по Воложке на камешке, в левой руке держит ведро русской земли, а правой кидает ту землю по берегу... И где бросит он горсточку, там город ставится, а где бросит щепоточку, тамо селенье».

Таковы сказанья на Горах. Идут они от дедов, от прадедов. И у русских людей, и у мордвы с черемисой о русском заселенье по Волге преданье одно.

Русские люди, чуждую землю заняв, селились в ней по путям, по дорогам. В даль они не забирались, чтоб среди враждебных племен быть наготове на всякий случай, друг ко дружке поближе. Путями, дорогами – реки были тогда. И доселе только по рекам приметны следы старорусского расселенья. По Волге, по Оке, по Суре и по меньшим рекам живет народ совсем другой, чем вдали от них, – ростом выше, станом стройней, из себя красивей, силою крепче, умом богаче соседей – издавна обрусевшей мордвы, что теперь совсем почти позабыла и древнюю веру, и родной язык, и преданья своей старины. Местами мордва сохраняет еще свою народность, но с каждым поколеньем больше и больше русеет. Так меж Сурой и Окой. Ниже Сурского устья верст на двести по обе стороны Волги сплошь чужеродцы живут, они не русеют: черемисы, чувашы, татары. И ниже тех мест по нагорному берегу Волги встретишь их поселенья, но от Самарской луки вплоть до Астрахани сплошь русский народ живет, только около Саратова, на лучших землях пшеничного царства, немцы поселились; и живут они меж русских тою жизнью, какой жила на далекой своей родине, на побережьях Рейна и Эльбы... Велика, обширна ты, матушка наша, земля святорусская!.. Вволю простора, вволю раздолья!.. Всех, матушка, кормишь, одеваешь, обувашь, всем, мать-кормилица, хлеба даешь – и своим, и чужим, и родным сынам и пришлым из чужа пасынкам. Любишь гостей угощать!.. Кто ни пришел, всякому: «Милости просим – честь да место к русскому хлебу да соли!..» Ну ничего, нас не обьедят.

В стары годы на Горах росли леса кондовые, местами досель они уцелели, больше по тем местам, где чувашь, черемиса да мордва живут. Любят те племена леса дремучие да роци темные, ни один из них без нужды деревца не тронет; ронить лес без пути, по-ихнему, грех великий, по старинному их закону: лес – жилище богов. Лес истреблять – Божество оскорблять, его дом разорять, кару на себя накликасть. Так думает мордвин, так думают и черемис, и чувашин.

И потому еще, может быть, любят чужеродцы родные леса, что в старину, не имея ни городов, ни крепостей, долго в недоступных дебрях отстаивали они свою волюшку, сперва от татар, потом от русских людей... Русский не то, он прирожденный враг леса: свалить вековое дерево, чтобы вырубить из сука ось либо оглоблю, сломить ни на что не нужное деревцо, ободрать липку, иссушить березку, выпуская из нее сок либо снимая бересту на подтопку, – ему

³ Один из прислужников «возати» – мордовского жреца.

⁴ Общественное моление.

нипочем. Столетние дубы даже ронит, обобрать бы только с них желуди свиньям на корм. В старые годы, когда шаг за шагом Русь отбивала у старых насельников землю, нещадно губила леса как вражеские твердыни. Привычка осталась; и теперь на Горах, где живут коренные русские люди, не помесь с чужеродцами, а чистой славянской породы, лесов больше нет, остались кой-где рощицы, кустарник да ёрники... По иным местам таково безлесно стало, что ни прута, ни лесинки, ни барабанной палки; такая голь, что кнутовища негде вырезать, парнишку нечем посечь. Сохранились леса в больших помещичьих имениях, да и там в последни годы сильно поредели... Лесные порубки в чужих дачах мужиками в грех не ставятся, на совести не лежат. «Лес никто не сажал, – толкуют они, – это не сад. Сам Бог на пользу человекам вырастил лес, значит, руби его, сколько тебе надо».

Хлебопашество – главное занятие нагорного крестьянина, но повсюду оно об руку с каким ни на есть промыслом идет, особливо по речным берегам, где живет чистокровный славянский народ. В одних селеньях слесарничают, в других скорняжничают, шорничают, столярничают, веревки вяжут, сети вяжут, проволоку тянут, гвоздь куют, суда строят, сундуки делают, из меди кольца, наперстки, кресты-тельники да бубенчики льют, – всего не перечесать... Кроме того, народ тысячами каждый год в отхожи промысла расходится: кто в лоцманá, кто в Астрахань на вонючие рыбы ватаги, кто в Сибирь на золотые прииски, кто в Самарские степи пшеницу жать. Всего больше уходило прежде народу в бурлаки; теперь пароходство вконец убило этот тяжелый и вредный промысел. И слава Богу!..

Охоч до отхожих работ нагорный крестьянин, он не степняк-домосед, что век свой на месте сидит, словно мед киснет, и, oprичь соседнего базара да разве еще своего уездного города, нигде не бывает. Любит нагорный крестьянин постранствовать, любит людей посмотреть, себя показать. «Дома сидеть, ни грóша не высидишь, – он говорит, – под лежащий камень и вода не течет, на одном месте и камень мохом обрастет». Нет годного на стороне промысла – в извоз едет зимой... Не то избойну, мочену грушу да парену репу по деревням поедет менять на кость, на тряпье, на железный полom.

До того велика у нагорных крестьян охота по чужой стороне побродить, что исстари завелся у них такой промысел, какого, oprичь еще литовских Сморгонь, на всем свете нигде не бывало. В Сергачском уезде деревень до тридцати медвежатным промыслом кормилось, – жилось не богато, а в добрых достатках. Закупали медвежат у соседних чуваш да черемис Казанской губернии, обучали их всякой медвежьей премудрости: «как баба в нетопленной горнице угорела, как малы ребята горох воровали, как у Мишеньки с похмелья голова болит». Хаживали сергачи со своими питомцами куда глаза глядят, ходили вдоль и поперек по русской земле, заходили и в Немечину на Липецкую⁵ ярмарку. Исстари велся тот промысел: еще на Стоглавом соборе, жалуюсь Грозному на поганские обычаи, архиереи про сергачей говорили, что они «кормяще и храняще медведя на глумление и на прельщение простейших человек... велию беду на христианство наводят»⁶. Силен, могуч, властен и грозен был царь Иван Васильевич, а медвежатников извести не мог – изводил их саксонский король, а вконец погубило заведенное недавно общество покровительства всяким животным, oprичь человека. Тому назад лет с пятьдесят потешали сергачи на Липецкой ярмарке тамошний люд медвежьей пляской. Какой-то немец с лесным боярином обошелся невежливо, и снял с него Михайло Иваныч костяную шляпу. В ужас впали немцы – шутка ль? Целого подданного лишился саксонский король, а их у него и без того не ахти много. Пожаловились. Воспретили сергачам по чужим царствам медведей водить. Нипочем бы это было медвежатникам – русская земля длинна, широка, не клином сошлась, есть где лесному боярину разгуляться, потешиться. Сердобольные покровители животных вступились за Мишеньку: как, дескать, можно по белу его на цепи таскать, как,

⁵ Лейпциг.

⁶ Стоглав, гл. 93.

дескать, можно Михайла Иваныча палкой бить, в ноздри кольцо ему протискивать?.. Воспретили. В тридцати деревнях не одну сотню ученых медведей мужики перелобанили, а сами по миру пошли: все-таки – отхожий промысел.

А что в прежние времена с сергачами бывало, того не перескажешь. Но к слову пришлось рассказать, как ученых медведей пленным французам на смотр выставляли. Когда французы из московского полымя попали на русский мороз, забирали их тогда в плен сплошь да рядышком, и тех полоняников по разным городам на житье рассылали. И в Сергач сколько-то офицеров попало, полковник даже один. На зиму в город помещики съехались, ознакомились с французами и по русскому добродушию приютили их, приголубили. Полоняникам не житье, а Масленица, а тут подоспела и настоящая веселая, честная Масленица, Семикова племянница. Сегодня блины, завтра блины – конца пированьям нет. И разговорились пленники с радушными хозяевами про то, чего летом надо ждать. «Не забудет, говорят, Наполеон своего сраму, новое войско сберет, опять на Россию нагрянет, а у вас все истощено, весь молодой народ забран в полки – недоборовать вам, не справиться». Капитан-исправник случился тут, говорит он французам: «Правда ваша, много народу у нас на войну ушло, да эта беда еще не великая, медведей полки на французов пошлем». Пленники смеются, а исправник уверяет их: самому-де велено к весне полк медведей обучить и что его новобранцы маленько к службе уже привыкли – военный артикул дружно выкидывают. «Послезавтра милости просим ко мне на блины, медвежий батальон на смотр вам представлю». А медвежатники по белу свету шатались только летней порой, зимой-то все дома. Повестили им от исправника, вели бы медведей в город к такому-то дню. Навели зверей с тысячу, поставили рядами, стали их заставлять палки на плечо вскидывать, показывать, как малы ребята горох воровали. А исправник французам: «Это, говорит, ружейным приемам да по-егерски ползать они обучаются». Диву французы дались, домой отписали: сами-де своими глазами медвежий батальон видели. С той, видно, поры французы медведями нас и стали звать.

Чуть не по всем нагорным селеньям каждый крестьянин хоть самую пустую торговлю ведет: кто хлебом, кто мясом по базарам переторговывает, кто за рыбой в Саратов ездит да зимой по деревням ее продает, кто собирает тряпье, овчины, шерсть, иной строевой лес с Унжи да с Немды⁷ гонят; есть и «напольные мясники», что кошек да собак бьют да шкурки их скорнякам продают. Мало-малыски денег залежных накопилось, тотчас их в оборот. И ежели по скорости мужик не свихнется, выйдет в люди, тысячами зачнет ворочать. Бывали на Горах крепостные с миллионами, у одного лысковского⁸ барского мужика в Сибири свои золотые промыслы были. Теперь на Горах немало крестьян, что сотнями десятин владеют. Зато тут же рядом и беднота непокрытая. У иного двор крыт светом, обнесен ветром, платя что на себе, а хлеба что в себе, голь да перетька – и голоб и босб, и без пояса. Такой бедности незаметно, однако ж, поблизости рек, только в местах, от них удаленных, можно встретить ее. Общинное владенье земель и частые переделы – вот где коренится причина той бедности. Чуть не каждый год мир-община переделывает поля, оттого землю никто не удобряет, что-де за прибыль на чужих работат. На дворах навозу – пролезть негде, а на поле ни воза, землю выпахали; пошли недороды. Нет корысти в переделах, толкует каждый мужик, а община-мир то и дело за передел... И богатые, и бедные в один голос жалуются на те переделы, да поделат ничего не могут... Община!..

Зато кому удастся выбиться из этой – прах ее возьми – общины да завестись хоть не великим куском земли собственной, тому житье не плохое: земля на Горах родит хорошо.

В лесах за Волгой бедняков, какие живут на Горах, навряд найти, зато и заволжским тысячникам далеко до нагорных богачей. Только эти богачи для бедного люда не в пример

⁷ Реки в Костромской губернии, текут по лесам.

⁸ Лысково – село на Волге.

тяжелей, чем заволжские тысячники. Лесной народ добродушней, проще, а нагорному пальца в рот не клади. Нагорный богач норовит из осмины четвертину вытянуть, из блохи голенище скроить.

Глава вторая

С краю исстари славных лесов Муромских, в лесу Салавирском, что раскинулся по раздолью меж Сережей и Тешей⁹, в деревушке Родяковой, что стоит под самым почти Муромом, тому назад лет семьдесят, а может и больше, жил-поживал бедный смолокур и потом «темный богач» Данило Клементьев. Гнал он смолу: до десятка казанов¹⁰ в лесу было у него ставлено. Много годов работал, богатства смолою не нажил и вдруг сразу так разбогател, что не только с муромскими, с любым московским купцом в версту мог стать. Ломали лесники головы над скороспелым богатством Данилы, не могли додуматься, отколе взялось оно. Кто говорил, что клад Кузьмы Рощина¹¹ достался ему, кто заверял, что знается Данило с разбойниками, а в Муромских лесах в те поры они еще «пошаливали», оттого и пошла молва по народу, будто богатство Даниле на дуване¹² досталось. Много разного вздору говорено было, а истинной правды никто попытаться не мог.

От Андрея Поташова нажился Данило. О том Поташове вот какой сказ:

Во дни Петра Великого посадские люди из Мурома братья Железняковы да третий Кирилл Мездряков руду железную на Оке сыскали. Слыхали те посадские про тульского кузнеца Демидова, как наградил его царь-государь и какие богатства взял тот кузнец с непочатых еще Уральских рудников. Заявили и они про находку, и за год до смерти первый император земли на Оке им пожаловал, ставили бы там заводы железные. Не пошло муромцам во прок царско жалованье – по лесам возле Оки разбойники хозяйничали: с заряженными ружьями приходилось дудки¹³ копать, завод рвами окапывать, по валам пищали да пушки расставлять... Работали кой-как, кончилось дело тем, что пропившийся рабочий изменил хозяевам и завод передал разбойникам. Разграбили они его, выжгли, валы срыли, пушки, пищали с собой увезли... И за то благодарили Бога заводчики, что головы у них целы на плечах снесли.

Через много годов на место неудачливых муромцев на Оку новые заводчики приехали: два туляка, братья Андрей да Иван Родивоновы – дети оружейника Поташова. Они в четырех губерниях четырнадцать заводов по скорости поставили. Андрей дело вел. «Образ правления его считался безотчетным и необыкновенным»¹⁴. Чего не наделал он при том образе правления! Пруды заводские выкопал на диво: верст по девяти в долину, с трехверстными плотинами; по тем прудам суда под парусами у него хаживали. В каждом заводе по господскому дому поставил, и каждый дом дворцом глядел. Что было в тех домах картин, мраморных статуй, дорогих мебели, какие теплицы были при них, какие цветы редкостные, плоды, деревья... И все прахом пошло, все сгибло в омуте пятидесятилетних тяжб и в бездонных карманах ненасытной ватаги опекунов.

Поташов в короткое время скопил несметные богатства, скопил умом, трудом, неистомной силой воли, упорной стойкостью в делах, а также и темными путями. Безнаказанные захваты соседних имений, прием беглых людей, стекавшихся со всех сторон под кров сильного барина, тайный перелив тяжеловесной екатерининской медной монеты умножали богатство тульского оружейника. Кто Поташову становился поперек дороги: деревни, дома, лошади,

⁹ Теша близ Мурома впадает в Оку, Сережа в Тешу.

¹⁰ Большой котел для добывания смолы.

¹¹ Знаменитый разбойник Муромских лесов, грабивший особенно проезжавших на Макарьевскую ярмарку московских купцов, во второй половине XVIII столетия. Говорят, он много кладов зарыл по лесам.

¹² Дележ добычи разбойниками.

¹³ Колодезь для добычи руд, шахта.

¹⁴ Впоследствии, когда возникли нескончаемые тяжбы о наследстве, это выражение встречалось не только в частных записках, но даже в официальных бумагах.

собаки, жены, дочери добром не хотел уступить, того и в домну¹⁵ сажали. Сло́ва супротивного молвить никто не смел, все преклонялись перед властным оружейником. Перевел Поташов разбои в лесах Муромских, но не перевел разбойников. Подобравшись под сильное крыло неприкосновенного барина, лесная вольница по-прежнему продолжала дела свои, но только по его приказам – так говорит предание. И не было на Андрея Родивоныча ни суда, ни расправы; не только в Питере, в соседней Москве не знали про дела его... Все было шито да крыто.

А все оттого, что умел с нужными людьми ладить. Ладил он сначала с князем Григорьем Орловым, вовремя от него отвернулся и вовремя прилепился к другому князю Григорью – к Потемкину. Одного закала были, хоть по разным дорогам шли. С Потемкиным Поташов сроду не видался, а был в дружеской переписке и в безграмотных письмах своих «братцем» его называл. Ценными подарками Таврического удивить было нельзя, зато нарочные то и дело скакали с поташовских заводов то в Петербург, то под Очаков с редкими плодами заводских теплиц, с солеными рыжиками, с кислой капустой либо с подновскими огурцами в тыквах. Старики рассказывают, что однажды Потемкин зимой в Москве проживал; подошел Григорий Богослов¹⁶ – его именины; как раз к концу обеда прискакал от Поташова нарочный с такими плодами, каких ни в Москве, ни в Петербурге никто и не видывал. При них записка Андреевой руки: «Сии ананасы тамо рождаются, где дров в изобилии; а у меня лесу не занимать, потому и сей дряни довольно».

– Уважил! – на весь стол крикнул Потемкин. – Спасибо!.. Захотел бы Поташов ремень из спины у меня выкроить, я бы сейчас.

Через Потемкина выпросил Андрей Родивоныч дозволение гусаров при себе держать. Семнадцать человек их было, ростом каждый чуть не в сажень, за старшего был у них польский полоняник, конфедерат Язвинский. И те гусары за пояс заткнули удалую вольницу, что исстари разбои держала в лесах Муромских. Барыню ль какую, барышню, поповну, купецкую дочку выкрасть да к Андрею Родивонычу предоставить – их взять. И тех гусаров все боялись пуще огня, пуще полымя.

А когда помирал Андрей Родивоныч, были при нем две живых жены; обе вкруг ракитова кустика венчаны; у каждой дети, и все какими-то судьбами законные.

– Кому покидаешь именье? – спросили умиравшего.

– Кто одолеет, – с усмешкой Андрей отвечал, и те злобные слова последними его словами были.

Затрещали, застонали заводы поташовские, дрогнуло правдой и неправдой нажитое богатство.

Тяжбы начались, опеки... Кто ж одолел? Опекуны да те еще, что вершали дела...

Таков богатырь был Андрей Родивоныч. Богатырю на подмогу богатыри бывали нужны. На иные дела гусаров нельзя посылать – их берег Поташов, а надо же бывало иной раз кому язык мертвой петлей укоротить, у кого воза с товарами властной рукой отбить, кого в стену замуровать, кого в пруд послать карасей караулить. Медные деньги переливать тоже не стать была гусарам, ходившим в мундирах службы ее императорского величества. Для того водились у Поташова нужные молодцы; на заводах они не жилали, в потаенных местах по лесам больше привитали, в зимницах да в землянках.

Смолокур Данило Клементьев из таких был... Но держалось им это в тайне от чужих и своих. По месяцам Данило дома своего не видывал, а когда являлся в деревню, рассказывал, что бродил по лесам, нового смоля¹⁷ разыскивал. А разжился Данило вот как... Был у него на руках мешок с золотом, не успел его передать Поташову, когда смерть застигла властного

¹⁵ Плавильная печь.

¹⁶ 25 января.

¹⁷ Сосновые корья, из которых смолу сидят.

барина... Помер Андрей Родивоныч, и смолокур с тем мешком подальше от Муромских лесов убрался – в уездном своем городе в купцы записался. Покинул смолокурный промысел, зачал канаты да веревки вить, с Астраханью по рыбной части дела завел.

Трех годов на новом месте не прожил, как умер в одночасье. Жена его померла еще в Родякове; осталось двое сыновей неженатых: Мокей да Марко. Отцовское прозвище за ними осталось – стали писаться они Смолокуровыми.

Зараз двух невест братья приглядели – а были те девицы меж собой свойственницы, сироты круглые, той и другой по восемнадцатому годочку только что минуло. Дарья Сергевна шла за Мокея, Олена Петровна за Марку Данилыча. Сосватались в Филипповки; мясоед в том году был короткий, Сретенье в Прощено воскресенье приходилось, а старшему брату надо было в Астрахань до вбдополи съездить. Решили венчаться на Красну горку, обе свадьбы справить зараз в один день.

Прошел Великий пост, пора бы домой Мокею Данилычу, а его нет как нет. Письма Марко Данилыч в Астрахань пишет и к брату, и к знакомым; ни от кого нет ответа. Пора б веселым пирком да за свадебку, да нет одного жениха, а другой без брата не венчается. Минул цветной мясоед, настало крапивное заговенье¹⁸. Петровки подоспели, про Мокея Данилыча ни слуху ни духу. Пали, наконец, слухи, что ни Мокея, ни смолокуровских приказчиков в Астрахани нет, откупные смолокуровские воды пустуют, остались ловцам не сданные.

Перед Ильиным днем прибрел к Марку Данилычу астраханский приказчик его, Корней Евстигнеев, по прозвищу Прожженный. Вести принес он недобрые. Вот что рассказывал.

По съеме на откуп казенных вод Мокею Данилычу, до той поры как с ловцами рядиться, гулевых дней оставалось недели с три. Дело было Великим постом, вздумалось ему на померзлом море потешиться – на «беленького»¹⁹ съездить. Подобрал товарищей, всех своих приказчиков взял, «разъездных», и поехали они артелью человек в тридцать на санях в Каспийское море. Напрасно опытные люди их отговаривали, напрасно пугали, что время выбрали они ненадежное, потому что ветра стоят сильные. Не послушалась молодежь – поехала. Дня три везли до вольной воды на санях съестные припасы, дрягалки, кротилки, чекмарь и ружья²⁰. Видят, на закрайне шихану²¹ видимо-невидимо; лов, значит, будет удачный. В тех огражденных от ветра шиханах тюлени детенышей выводят и оставляют там до весны, по нескольку раз на дню вылезая из воды через «лазки»²² покормить детенышей. Набили неудалые охотники беленьких множество, стоном стоял тогда крик тюленят, сходный с плачем ребенка... Рук не покладывали охотники, работали на славу и, до верхов нагрузив сани богатой добычей, стали собираться домой. Вдруг зафыркали лошади, стали копытами о лед бить... Бывалые охотники всполошились – «На конь!.. – кричат, – назад поскорей!..» Шест в тюлений лазок опустили – маячит, – льдину, значит, оторвало. Поскакали назад по своему следу, глядь – синеет вода, а вдали сверкает и белеет закрайна матерого льду... Туда, сюда – море кругом... Остались охотники на ледяном острове: ветер гонит их в море на огромной льдине... Носиться им на тающем плоту по Каспийскому морю, и если не переймут бедовиков на раннюю косовую²³, погибнуть им всем в хвалыньских волнах!..

«Пятнадцать ден нас по морю носило, – рассказывал Корней Евстигнеев, – ни берега не видать, ни лодок, ничего живого... Запасы приели, голодать стали. Долго крепились, да нечего делать – пришлось согрешить: лошадей стали резать, конину есть, тюлень мясо даже ели... А

¹⁸ Цветной мясоед – от Пасхи до Петровок; крапивное заговенье – воскресенье через неделю после Троицы.

¹⁹ Мелкий тюлень, еще не покинувший матери, иначе «белок».

²⁰ Орудия для тюленьего боя. Дрягалка – небольшая ручная дубинка, кротилка – то же, но побольше, чекмарь или чекуша – большая деревянная колотушка или долбня.

²¹ Взгромоздившиеся ребром и боком льдины.

²² Отверстия во льду, которые тюлени продувают снизу.

²³ Большая ловецкая лодка, рано выходящая на морской промысел.

тут красные дни наступили, ветру нет у́йму, дует-подувает от Астрахани, а нас все дальше да дальше в море уносит, а льдина все тает да тает, и час от часу она рыхлей да рыхлей... Опасно стало всем в одной кучке быть, провалиться боялись... По сторонам разбрелись, сани расставили друг от дружки подальше... Ночью однажды слышим – треснуло что-то, потом зашумело; бросились на шум – вода... Забрзжилось в небе... Глядим – льдину на́двое разломило, меж половинок широкий пролив. На нашей половинке пять человек, на той двадцать четыре, там и хозяин. Солнышко встало, а их уж чуть видно, ихня половинка меньше нашей была, гнало ветром ее поскорей. К полудням совсем из виду скрылись они... Ден пять еще нас носило, ветер сменился, нас на восток потянуло. Уральски казаки с морских кусовых нас увидали, переняли, и были мы с ними на Эмбинских промысла́х вплоть до Петровок, оттуда нас привезли в Гурьев, а из Гурьева по своим сторонам разошлись мы. И я, Христовым именем питаюсь, вот до домов доволокся».

Марко Данилыч тотчас в Астрахань сплыл, в Красной Яр ездил, в Гурьев городок, в Уральск, везде о брате справлялся, но нигде ничего проведать не мог... Одно лишь узнал в Астрахани, что по тем удалцам, кои ездили с ним, давно панихиды отпели.

Домой воротясь, Марко Данилыч справил по брате доброе поминовенье: по тысяче нищих каждую субботу в его доме кормилось, целый год канонницы из Комарова «негасиму» стояли, поминали покойника по керженским скитам, по черниговским слободам, на Иргизе, на Рогожском кладбище.

Честно устроил братнюю душу Марко Данилыч. Потужив, после Рождества свадьбу он справил, женился на Олене Петровне.

Пышная свадьба была. Изо многих городов гостей наехало, люди все богатые, первостатейные, пирам конца не было. Шумны́ и веселы́ были пиры, но горем и печалью с них веяло. Грустил по брате Марко Данилыч; грустила и его молодая жена Олена Петровна, тяжело ей было глядеть на подругу, что, не видав брачного венца, овдовела. Много о Дарье Сергевне она тихих слез пролила; люди тех слез не видали, знали про них только Бог да муж... А муж жену не тревожил, печалью во дни радости ее не попрекал, сам горевал вместе с Оленушкой о безмолвной, на все слова безответной Дарье Сергевне...

Убедила Оленушка бездомную «сиротку-сестрицу» жить у нее, всяким довольством ее окружила, жениха обещалась сыскать. Безродная Дарья Сергевна перешла жить к «сестрице», но с уговором – не поминали б ей никогда про брачное дело. «Остаток дней положу на молитвы», – сказала она, надела черный сарафан, покрылась черным платом и в тесной, уютной горенке повела жизнь «христовой невесты».

Только четыре годика прожил Марко Данилыч с женой. И те четыре года ровно четыре дня перед ним пролетели. Жили Смолокуровы душа в душу, жесткого слова друг от дружки не слыхивали, косого взгляда не видывали. На третий год замужества родила Олена Петровна дочку Дунюшку, через полтора года сыночка принесла, на пятый день помер сыночек; неделю спустя за ним пошла и Олена Петровна.

Когда она умирала, позвала Дарью Сергевну. Богом ее заклинала – скинула б черное платье, женой была бы Марку Данилычу, матерью Дуне сиротке.

Не восхотела того Дарья Сергевна. Наотрез отказала кончавшей дни сестрице-подруге.

– Матерью Дуне буду я, – сказала она. – Бога создателя ставлю тебе во свидетели, что, сколько смогу, заменю ей тебя... Но замуж никогда не посягну – земной жених до дня воскресенья в пучине морской почивает, небесный царит над вселенной... Третьего нет и не будет.

Замолкла Олена Петровна и, собравшись с силами, тихо, сквозь слезы промолвила, взглянув на подошедшего Марка Данилыча:

– Его не оставь ты советом своим... попеченьем... заботой... Глядеть бы мне на вас да радоваться... Дунюшку, Дунюшку ты не покинь!

А Дунюшка тут. Посадили ее на кровать возле матери. Белокуренькая девочка смеется аленьким ротиком и синенькими глазками, треплет розовую ленточку, что была в вороту материной сорочки... Так и заливается – ясным, радостным смехом.

– Господи!.. Царю Небесный, милостивый!.. – глядя на дочку, с трудом шептала умиравшая. – Даруй ей, Господи, быть всегда радостной... даруй ей, Господи... не знаять большой кручины...

Замолкла. А в тишине еще слышен веселый младенческий смех Дуни, по-прежнему она играет ленточкой на груди матери. И при звуках ангельского веселья малытки-дочки к ангелам полетела душа непорочной матери.

– Оленушка! – вырвалось из наболевшей груди Марка Данилыча... Потеряв сознание, снопом покатылся он у одра почившей.

– Отошла? – горько воскликнул он, придя в память.

– К Богу духов и всякия плоти, – печально, но торжественно молвила Дарья Сергевна и, подав ему на руки все еще смеявшуюся Дуню: – Подите с ней, – сказала, – надо опрятать покойницу.

С Дуней на руках в другую горницу перешел Марко Данилыч. Окна раскрыты, яркое майское солнце горит в поднебесье, отрадное тепло по земле разливая; заливаются в лазурной высоте жаворонки, а в тенистом саду поет соловей – все глядит весело, празднично... Девочка радостно хохочет, подпрыгивая на отцовских руках и взмахивая пухленькими ручками.

Новый вдовец клонится наземь, клонится, клонится и, бережно опустив на пол дочку, так зарыдал, что сбежались домашние, и его, недвижимого, почти бездыханного, перенесли на постель.

И когда пришел в себя Марко Данилыч, ему вспомнилось участие отца его в кровавых делах Поташова. И так говорил он:

– Родитель помер в одночасье!.. Брат в море потонул!.. Она, в таких молодых годах, померла!.. Господи! Ты, по Писанию, мстишь до седьмого колена!.. Но ты ведь, Господи, и милостив!.. Излей на меня всю ярость свою, но Дуню мою сохрани, Дуню помилуй!..

* * *

И после того потекли дни за днями.

Марко Данилыч торговым делам предался. Трудом, заботами, работой неустанной утолял он, сколько было возможно, заевшее жизнь его горе. Каждый год не по одному разу сплывал он в Астрахань на рыбные промысла, а в уездном городке, где поселился отец его, построил большой каменный дом, такой, что и в губернском городе был бы не из последних... Рядом с тем домом поставил Марко Данилыч обширные прядильни, и скоро смолокуровские канаты да рыболовные снасти в большую славу вошли и в Астрахани, и на Азовском поморье. На Унже лесные дачи скупал, для каспийских промыслов строил кусовые и ловецкие, реюшки и бударки, сгонял строевой лес в безлесные места низового Поволжья и немало барышей от того получал. В неустанной деятельности старался он утопить свое горе, но забыть Оленушку не мог... Мрачно стало смотреть на мир и на всех людей, опричь подраставшей Дуни, – в нее же душу свою положил. И трудился, и работал для ней только. «Мне, – говаривал он, – ничего не надо, ей бы только, голубушке, побольше припасти, чтоб не ведала нужды, не знавала недостатков».

Мрачен, грозен, властен стал с другими, скуп, суров, неподступен для всех подначальных. С утра до ночи черною, хмарою тучей ходил, но как только взглянет на отца веселыми синенькими глазками Дуня – он тотчас просияет, и тут проси у него что хочешь.

И любили за то Дуню, и много молитв за нее возносилось от старых, от бедных, от подначальных...

Богатства росли с каждым годом – десяти лет после братниной смерти не минуло, а Марка Данилыча стали уж считать в миллионе, и загремело по Волге имя его. А годов ему еще немного было – человек в самой поре, и хоть вдовец, а любой невесте жених завидный. И московские, и поволжские семейные купцы с дум своих его не скидали, замыслили с ним породниться. По старорусским свычаям-обычаям не повелось с невестиной стороны сватовство зачинать, однако же многие купцы к Смолокурову свах подсылали. Выхваляли свахи своих невест пуще Божьего милосердия, хвастали про них без совести и всеми мерами уговаривали Марка Данилыча, делом не волоча, перстнями меняться, златой чарой переливаться. Но от него один свахам ответ бывал: «Бог вас спасет, что из людей меня не выкинули, а беспокоились вы, матушки, попусту. Невесты не хаю, а думаю так: нашел бы я в ней жену добрую и разумную, да не сыскал бы родной матери Дунюшке. До гробовой доски не возьму я дочке мачехи!..» И сколь ни старались свахоньки в надежде на богатые милости невестиных родителей, сколь ни тарантили перед золотым женишком, сколько ни краснобаяли, не удалось им подцепить на удочку сумрачного Марка Данилыча. На все уговоры, на все увещанья их даже от Писания оставался он непреклонным и данного себе слова не рушил... После каждого отказа досужим свахам больше и больше полнилось его сердце любовью и жалостью к ненаглядной безматерней сиротиночке. Со всеми мрачный, со всеми суровый, зачастую даже жестокий, таял он душой перед дочкой. Стоило ей словечко промолвить за кого из провинившихся домочадцев, тотчас гнев на милость сменялся. И не было из них ни единого, кто бы за Дуню в огонь и в воду не пошел бы.

Марко Данилыч богател. Дуня красой и добром полнилась. Росла под умным, нежным присмотром Дарьи Сергевны... Безмужняя вдовица как сказала, так и сделала – заменила она Дуне родную мать, всю любовь непорочного сердца перенесла на дочку незабвенной подруги, вся жизнь ее в Дуне была... Ради милой девочки покинула она жизнь христовой невесты, горячей любовью, материнскими ласками, деннонощными заботами о сиротке наполнились ее дни, но не нарушила Дарья Сергевна строгого поста, не умалила теплых молитв перед Господом об упокоении души погибшего в море раба Божия Мокея. К тем молитвам прибавила столь же горячие, столь же задушевные молитвы о здравии, душевном спасении и честном возрастании рабы Божией младенца Евдокии. Из любви к названной дочке приняла Дарья Сергевна на себя и хозяйство по дому Марка Данилыча, принимала его гостей, сама с Дуней изредка к ним ездила, но черного платья и черного платка не сняла. Незримо для людей ведя суровую жизнь строгой постницы, о доме и всем мире теплая молитвенница, Дарья Сергевна похудела, побледнела, но всегда прекрасно было крытое скорбью и любовью лицо ее, святым чувством добра и любви сияли живые, выразительные очи ее. Удивлялись вдовице все знавшие ее, но были и прокаженные совестью, что, не веря чистым побуждениям, на подвижную жизнь ее метали грязными сплетнями. Никто, кроме самого Марка Данилыча, не знал, что покойница Олена Петровна на смертном одре молила подругу выйти за него замуж и быть матерью Дуне. Да и узнали бы, веры тому не дали бы... Как можно было поверить, что молодая бедная девушка не захотела стать полноправной хозяйкой в доме такого богача?.. Как поверить, чтоб она из одной бескорыстной любви к безматерней сиротке решилась беззаветно посвятить ей дни свои.

«Нé спроста тут», – говорили смóтники. Ретивые до клевет и напраслин, кумушки поддакивали на такие речи. Бродячие приживалки, каких много по городам, перелетные птицы, что век свой кочуют, перебегая из дому в дом: за больными походить, с детьми поводить, помочь постряпать, пошить, помыть, сахарку поколоть, – уверяли с клятвами, что про беспутную Даренку они вернехонько всю подноготную знают – ходит-де в черном, а жизнь ведет пеструю; живет без совести и без стыдения у богатого вдовца в полюбовницах. И никто тем сплетням не был так рад, как свахоньки, что неудачно предлагали невест Марку Данилычу. Много доставалось ему от досужих их языков – зачем, дескать, на честных, хороших невестах не женится, а, творя своей жизнью соблазн, других во грех, в искушение вводит... И много при том бывало непрощенных забот об участи Дуни. «Попало милое, неразумное дитяtko в мерзость

греховную, – говорили смотницы... – Чего насмотрится, чему научится? Вырастет большая, сама по тем же стопам пойдет». Так говорили приживалки, так говорили и обманувшиеся в расчетах свахоньки.

Недобрых слухов до Марка Данилыча никто довести не смел. Человек был крутой, властный – не ровен час, добром от него не отделаешься. Но дошли, добежали те слухи до Дарьи Сергевны.

Раз поутру забежала к ней одна из бродячих приживалок Ольга Панфиловна. Была она вдова губернского секретаря, служившего когда-то в полиции и скончавшего пьяные дни свои под забором недалеко от питейного. Много гордилась Ольга Панфиловна званием «чиновницы» и тем, что муж ее второй чин имел. Звала себя «благородною» и потому шляпки носила да чепчики, шлялась по дворянским домам и чиновничьим, но, не видя там большого припеку, нисходила своими посещениями до «неблагородных», даже до самых последних мещан. Не было у ней постоянного жилища – где день, где ночь привитала. И пожитки ее по всему городу были раскиданы: у исправницы сундук, у стряпчих ларец, у казначейши постелишка – все у «благородных». И мыкалась век свой бездомная Ольга Панфиловна промеж дворов, переноса сплетни из дома в дом. Редкий творческий дар имела она – иной раз такое выдумает, что после сама надивиться не может. Много бранили ее, бывало дело – и колачивали, но, возверзая печаль на Господа, мирилась она с оскорбителями, а работать языком все-таки не переставала. Ничем не оскорблялась Ольга Панфиловна, кроме только одного: ежели кто усомнится в ее «благородстве», ежели скажет кто, что чин губернского секретаря не важен. Глаза тому выпарапает, если сказавший чином еще не повыше.

Когда Ольга Панфиловна бойко влетела в горенку Дарьи Сергевны, та сидела за самоваром. Большим крестом²⁴ помолившись на иконы и чопорно поклонясь «хозяюшке», перелетная гостейка весело молвила:

– Чай да сахар!

– К чаю милости просим, – не особенно приветливо отозвалась ей Дарья Сергевна.

– Как живете-можете?.. Все ли здоровы у вас, матушка?.. Дунюшка-светик здорова ли? – зачастила Ольга Панфиловна, снимая капор и оправляя старомодный и крепко поношенный чепчик.

– Слава Богу, все живы, здоровы, – молвила Дарья Сергевна. – Садитесь, чайку попейте.

– Ну, и слава Богу, что здоровы, здоровье ведь пуще всего... – затараторила Ольга Панфиловна. – Не клади-ка ты, сударыня, в накладку-ту мне, сахар-от нонче ведь дорог. Мы ведь люди недостаточные, вприкусочку все больше. Да не один сахар, матушка, все стало дорогим-дорогохонько, ни к чему нет приступу... Вышла я сегодня на базар, пришла раным-ранешенько, воза еще не развязывали, хотелось подешевле купить кой-чего на Масленицу... Ничего, сударыня, не купила, как есть ничего – соленый судак четыре да пять копеек, топленое масло четырнадцать, грешнева мука полтинник²⁵. Икорки бы надо к блинкам – купила б исправской, хорошенькой, да купил-то²⁶, Сергевнушка, нет, так я уж пробоечек²⁷ думала взять – и те восемнадцать да двадцать копеек, самы последние... Как жить, чем бедным людям питаться? Сама посуди... Опять же дрова как вздорожали! Хоть мерзни с холоду, хоть помирай с голоду... Вот тебе хорошо, Сергевнушка, живешь безо всякой заботы, на всем на готовом, все у тебя есть, чего только душеньке угодно, а вспомни-ка прежде-то время, как с маткой у нас в слободе

²⁴ Двуперстным.

²⁵ Цены в небольших городках на Горах лет двадцать пять тому назад.

²⁶ Купилы – деньги.

²⁷ Остатки в грохоте, после приготовления зернистой икры.

проживала. Покойница твоя тоже ведь, что и наша сестра, и горе и нужду видала, век свой колотилась, сердечная... Ну, а тебе за красоту за твою вишь какое счастье досталось... Про Марка Данилыча нет ли вестей?.. Приедет, чай, к Масленице-то?

Хоть Дарья Сергевна не поняла злого намека благородной приживалки, но как-то неловко стало ей, краска показалась на бледном лице.

– Надо бы приехать, – ответила. – В Астрахани дела к Сретенью кончил, со дня на день его ожидаем.

– Надо ему приехать, надо, Сергевнушка, – тоже ведь заговенье, – с усмешкой сказала Ольга Панфиловна, лукаво прищутив быстро бегавшие глазки. – До кого ни доведись, всяк к заговенью к своей хозяйшечке торопится. А ты хоть и не заправская, а тоже хозяйка.

Пуще прежнего вспыхнула Дарья Сергевна, вполне поняв, наконец, ядовитый намек благородной приживалки. Дрогнули губы, потупились очи, сверкнула слезинка. Не ускользнуло ее смущение от пытливых взоров Ольги Панфиловны; заметив его, уверилась она в правоте сплетни, ею же пущенной по городу.

– Я ведь, Сергевнушка, спроста молвила, – облокотясь на угол стола и подгорюнясь, заговорила она унылым голосом. – От меня, мать моя, слава Богу, сплеток никаких не выходит... Смерть не люблю пустяков говорить... так только молвила, тебя жалеючи, сироту беззащитную, знать бы тебе людские речи да иной раз, сударыня моя, маленько и остеречься.

– Да чтой-то вы, Ольга Панфиловна?.. Про что говорите? – с горькими слезами в голосе спросила растерявшаяся Дарья Сергевна.

– Ах, Сергевнушка, Сергевнушка! Куда какво мне жалко тебя, горемычную!.. – участливо покачивая головой, даже со слезами на красных, маслянистых глазах, молвила Ольга Панфиловна. – Весь город ведь что в трубы трубит, а ты и не знаешь ничего, моя горе-горькая!.. Вот уж истинна-то правда, что в сиротстве жить – только слезы лить, все-то обидеть сироту хотят, поклепы несут на нее да напраслины, а напраслина-то ведь, что уголь: не обожжет, так запачкает... В трубы трубят, сударыня, в трубы трубят!.. А все Аниська Красноглазиха – первым всяким злыдням заводчица... Сейчас на базаре попалась – так и судачит, так и судачит. И что уж за язык у этой подлюхи – так ведь и режет, так и режет... А уж она ли, кажется, не оставлена милостями Марка Данилыча да твоими, Сергевнушка... И рыбкой-то ее не оставляете, и мучкой-то, и дровишками, и шубейку по осени справили злоязычнице... Вот те и благодарность!.. Да и ждать другого от Аниски нечего... Кровь-то в ней какая? Самая подлая: подкидывай ведь она, девицына дочка... Если б в ней хоть единая капелька благородной крови была, стала бы разве она такие речи нести про свою благодетельницу?.. Говорит этакая подлая, будто ты, Сергевнушка, летось ребеночка принесла!.. Вот ведь аспид-то какой, вот ехидна-то!.. Не стерпела я, Сергевнушка, выругала ее, так выругала, что надолго ей памятно будет. Тебе бы, я говорю, денно и ночью Бога за Дарью Сергевну молить, а ты, бесстыжая, гляди-ка, каки новости распускаешь... Сама ты, говорю ей, паскуда, и мать-то твоя паскудная была, да и тетка тоже, Матрешка-то калачница, весь, говорю, род твой самый подлеющий, а ты смеешь этак честную девицу порочить... Да тебе, говорю, плетей мало за такие сплетни... Что Сергевнушка, говорю, сирота, так ты и думаешь, что на нее всякую канитель можно плести... Нет, говорю, сударыня, я тебе этого не спущу; хоть, говорю, и не видывала я таких милостей, как ты, ни от Марка Данилыча, ни от Сергевнушки, а в глаза при всех тебе наплюю и, что знаю, все про тебя, все расскажу, все как на ладонке выложу... Вот она какая, Сергевнушка, а ты еще оделяешь ее всем... И сегодня на базаре похваляется, что это, говорит, за рыба – соленый судак?.. Мне, говорит, от Смолокуровых осетрины к Масленице-то пришлют, да малосольной белужины по большому звену, да зернистой икры бурак; приходи, говорит, ко мне, хорошими блинками угощу... А я ей: совести, говорю, в тебе нет, искариотка ты подлая... Кто тебя кормит да жалует, на тех ты сплетки плетешь... Плюнула я на нее, матушка, да и прочь пошла... А она хоть бы бровью моргнула, хоть бы что – такая бесстыжая... Ахти, матушки!.. Закалякалась

я с тобой, Сергевнушка, а у меня квашня поставлена, творить надо – хлебы-то не перекисли бы... На минуточку ведь забежала, только проведать, живы ли вы все, здоровы ли, да вот грехом и заболталась...

Не отвечала Дарья Сергевна. Как убитая, сидела она, поникнув головою.

Размашисто надела и завязала свой капор Ольга Панфиловна, помолилась на иконы и стала на прощанье целовать Дарью Сергевну.

– Да ты, Сергевнушка, не огорчайся, – утешала она ее. – Мало ль чего не наврет Аниська Красноглазиха – всего от нее, паскуды, не переслушаешь. Плюнь на нее – собака лает, ветер носит. К чистому срамota не пристанет... А это вот скажу: после таких сплеток я бы такую смотницу не то что в дом, к дому-то близко бы не подпустила, собак на нее, на смотницу, с цепи велела спустить, поганой бы метлой со двора сбила ее, чтоб почувствовала она, подлая, что значит на честных девиц сплетки плести... Прощай, моя сердечная, прощай, миленькая... Дунюшку поцелуй... А если милость будет, пришли мне на бедность к Масленице-то рыбешки какой ни на есть, да икорочки, – ведь у вас, поди, погреба от запасов-то ломаются... Не оставь, Сергевнушка, яви милость, а Аниську Красноглазиху и на глаза не пушай к себе, не то, пожалуй, и еще Бог знает чего наплетет.

По уходе Ольги Панфиловны Дарья Сергевна долго за чайным столом просидела. Мысли у ней путались, в уме помутилось. Не вдруг она сообразила всю ядовитость речей Ольги Панфиловны, не сразу представилось ей, как люди толкуют про ее положение. В голове шумит, в глазах расстилается туман, с места бедная двинуться не может. Все ей слышится: «В трубы трубят, в трубы трубят!..»

Вдруг тихо-тихонько растворилась дверь, и в горницу смиренно, степенно вошла маленькая, тщедушная, не очень еще старая женщина в черном сарафане с черным платком в роспуск. По одеже знать, что Христова невеста. Положив уставной поклон перед иконами, низко-пре-низко поклонилась она Дарье Сергевне и так промолвила:

– Мир дому сему и живущим в нем!.. С преддверием честной Масленицы поздравляю, сударыня Дарья Сергевна.

Это была Анисья Красноглазова, того же поля ягода, что и Ольга Панфиловна. Разница между ними в том только была, что благородная приживалка водилась с одними благородными, с купцами да с достаточными людьми из мещанства, а Анисья Терентьевна с чиновными людьми вовсе не зналась, держась только купечества да мещанства... Ольга Панфиловна хоть и крестилась большим крестом в старообрядских домах, желая тем угодить хозяевам, но, как чиновница, не считала возможным раскольничать, потому-де, что это неблагородно. Оттого водилась она и с матушкой протопопицей, и с попадьями, и с просвирнями. Анисья Терентьевна старинки держалась – была по спасову согласию. Раскольники этого толка хоть крестят и венчают в церкви, но скорей голову на отсечение дадут, чем на минутку войдут в православный храм, хотя б и не во время богослужения. Терентьевна не то что в церковь, к церковнику в дом войти считала таким тяжелым грехом, что его ни постами, ни молитвами не загладишь. Потому Красноглазихе в старообрядских домах и было больше доверия, чем прощелыге Ольге Панфиловне, что, ходя по раскольникам из-за подарков, прикидывалась верующею в «спасительность старенькой веры» и уверяла, что только по своему благородству не может открыто войти в «ограду спасения» и потому и живет «никодимски». Как Никодим²⁸ тайно приходил ко Христу, так и она тайно приходит на поучения и беседы о старой вере. На свадьбах, на именинах, на обедах и вечерних столах у никониан Ольга Панфиловна бывала непременною участницей, ее не сажали за красным столом, не пускали даже в гостиные комнаты, приспешничала она в задних горницах за самоваром, распоряжалась подачей ужина, присматривала, чтобы пришедшая прислуга не стащила чего. Анисья Терентьевна не то что у церковных, и у расколь-

²⁸ Никодимами у раскольников зовутся православные, тайно придерживающиеся старообрядчества.

ников на пирах сроду не бывала, порицая их и обзывая «бесовскими игрищами». Зато каждый раз получала от согрешивших «деяние благо», потому что очень уж была горазда отмаливать грехи учреждавших в угоду дьяволу и на прельщение человекам демонские празднества.

У Анисьи Терентьевны были еще два промысла; Ольге Панфиловне, как церковнице, они были не с руки. У кого из раскольников покойник случится – Анисья Терентьевна псалтырь над ним читает, праздник Господень либо хозяйские именины придут – она службу в моленной справляет. Был и еще у ней промысел: «мастерицей» она была, грамоте детей обучала. Получала за труды плату съестными припасами, кой-чем из одежды, деньгами редко. Брала за выручку с кого погодно, с кого так: за азбуку плата, за часовник другая, за псалтырь третья. По домам обучать Красноглазиха не ходила, разве только к самым богатым; мальчики, иногда и девочки сходились к ней в лачужку, что поставил ей какой-то дальний сродник на огороде еще тогда, как она только что надела черное и пожелала навек остаться христовой невестой. Дети всякие домашние послушья отправляли ей – воду носили, дрова кололи, весной гряды копали, летом пололи их. Хоть эти работы при отдаче в науку ребят в уговор не входили, однако ж родители на Терентьевну за то не скорбели, а еще ей же в похвалу говаривали: «Пущай-де к трудам пострелов приучает». Розог на ребят Красноглазиха не жалела, оплеухи, подзатыльники в счет не ставились. Ленивых и шалунов пугала «букой» либо «турлы-мурлы, железным носом», что впотьмах сидит, непослушных детей клюет и железными когтями вырывает у них из бока куски мяса. Когда дети, подрастая, переставали резвиться, когда зачинали, по выражению Анисьи Терентьевны, часослов дерма драть, тогда турлы-мурлы в сторону, и праздное место его заступал дьявол с хвостом, с рогами и с черной эфиопской образиной... «Рыскает он, – поучала учеников Анисья Терентьевна, – рыскает окаянный враг Божий по земле, и кто, Богу не помолясь, спать ляжет, кто в никонианскую церковь войдет, кто в постный день молока хлебнет аль мастерицу в чем не послушает, того железными крюками тотчас на мученье во ад преисподний стащит». Поученья о дьяволе и аде мастерица расширяла, когда ученики станут «псалтырь говорить», – тут по целым часам рассказывает, бывало, им про козни бесовские и так подробно расписывает мучения грешников, будто сама только что из ада выскочила. Еще подробнее рассказывала она про антихриста. Он уже пришел, по ее словам, и царствует в никонианах: церковные попы – его жрецы идольские, власти – его слуги, творящие волю сына погибельного, всяко «скоблено рыло»²⁹, всякий щепотник, всякий табашник запечатлен его печатью. Сидит он в церкви, в судах, кроется в щепоти³⁰, в четвероконечном кресте, в пяти просфорах, в еретических никонианских книгах. Все в мире растлено его прелестью: земля осквернена вглубь на тридцать сажен, реки, озера, источники нечисты от его тлетворного дыханья; потому и нельзя ни пить, ни есть ничего, не освятив наперед брашна иль питья особой молитвой. Запугав антихристом и дьяволом учеников, поучает, бывало, их мастерица, как должно жить и чего не творить, дабы не впасть во власть врага Божия, не сойти вместе с ним в тартарары преисподние. О Господних заповедях, о любви к Богу и ближнему ни слова: пьянство, обманы, злоречье, клевета, воровство, даже распутство, все извинялось – то не грехи, но токмо падение, покаянием можно очистить их... Уставные поклоны, пост в положенные дни, а пуще всего «необщение со еретики», вражда и ненависть к церкви и церковникам – вот и все нравственные обязанности, что внушают раскольничьим детям мастерицы. Творить брань со антихристом и со всеми его слугами – подвиг доблестный, доставляющий в здешнем мире гонения, а в будущем неувядаемые, светозарные венцы. Так учила Анисья Терентьевна, и далеко разносилась о ней слава, как о самой премудрой учительнице.

Хоть Марко Данилыч был по поповщине, однако ж Анисья Терентьевна сильно надеялась, что, как только подрастет у него Дуня, он позовет ее обучать дочку грамоте. Мастериц из

²⁹ Бреющие бороду.

³⁰ Трехперстное крестное знамение.

поповщинского согласия во всем городе ни одной не было, а Красноглазиха была в славе, потому и рассчитывала на Дуню. Тут не куль муки за часослов, не овчинная шуба за выучку «всему до крошечки» – обучение единственной дочери первого во всем уезде богача не тем пахло... И Анисья Терентьевна, еще ничего не видя, утешала уж себя мыслию, что Марко Данилыч хорошенький домик ей выстроит, наполнит его всем нужным, да, oprичь того, и деньжонок на разживу пожалует. Потому и забегала она частенько к Дарье Сергевне, лебезила перед Марком Данилычем, а Дунюшку так ласкала, что всем было на диво. За то и не оставлял ее Смолокуров подарками... И это самое распаляло злобой благородную Ольгу Панфиловну, спать не давало ей.

Семь лет Дуне минуло – срок «вдавати отрочат в поучение чести книг божественного писания». Справив канон, помолясь пророку Науму да бессребреникам Кузьме и Демьяну, Марко Данилыч подал дочке азбуку в золотом переплете и точеную костяную указку с фольговыми завитушками, а затем сам стал показывать ей буквы, заставляя говорить за собой: «аз, буки, веи, глаголь...»

Дуня, как все дети, с большой охотой, даже с самодовольством принялась за ученье, но скоро соскучилась, охота у ней отпала, и никак не могла она отличить буки от веи. Сидевшая рядом Анисья Терентьевна сильно хмурилась. Так и подмывало ее прикрикнуть на ребенка по-своему, рассказать ей про турлы-мурлы, да не посмела. А Марко Данилыч, видя, что мысли у дочки вразброд пошли, отодвинул азбуку и, ласково погладив Дуню по головке, сказал:

– На первый раз будет с тебя, моя грамотница. Сам-от учить я не горазд, да мне же и некогда... Самому хотелось только почин положить, учить тебя станет тетя Дарья Сергевна. Слушайся ее да учись хорошенько – гостинца привезу.

Улыбнулась Дуня, припала личиком к груди тут же сидевшей Дарьи Сергевны. Ровно мука, побелела Анисья Терентьевна, задрожали у ней губы, засверкали глаза и запрыгали... Прости-прощай, новенький домик с полным хозяйством!.. Прости-прощай, капитал на разживу! Дымом разлетаются заветные думы, но опытная в житейских делах мастерица виду не подавала, что у ней на сердце. Скрепя досаду, зачала было выхвалять перед Марком Данилычем Дунюшку: и разуму-то она острого, и такая девочка понятливая, да такая умная.

Смолокуров самодовольно улыбался, гладил умницу по головке и велел выдать Анисье Терентьевне фунт чаю да головку сахару.

С того часу невзлюбила Красноглазиха и Марка Данилыча, и Дарью Сергевну, и даже ни в чем перед ней не повинную Дуню... Но про злобу ту знали только грудь ее да подоплека... Пуще прежнего стала она лебезить перед Смолокуровым, больше прежнего ласкать Дунюшку, и при каждом свиданье удавалось ей вылестить у «Марка богатого» то мучки, то крупки, то рыбки, то дровушек на бедность. Дарью Сергевну главной злодейкой своей она почитала за то, что перебила у ней прибыльную ученицу, какой досель не бывало и вперед не будет. Льстя в глаза в надежде на подарки, заглазно старалась она всеми мерами насолить своему недругу. А чем крепче насолишь, как не злым языком?

Не об одной любви сердце сердцу весть подает, тайный ворон тем же сердцем чутся. Не слыхивала Дарья Сергевна от Красноглазихи слова неласкового, не видывала от нее взгляда неприветливого, а стало ей сдаваться, что мастерица зло на нее мыслит. Невзлюбила она Анисью Терентьевну и, была б ее воля, не пустила б ее на глаза к себе; но Марко Данилыч Красноглазиху жаловал, да и нельзя было идти наперекор обычаям, а по ним в маленьких городках Анисьи Терентьевны необходимы в дому, как сметана ко щам, как масло к каше, – радушно принимаются такие всюду и, ежели хозяева люди достаточные да тороватые, гостят у них подолгу.

– Все ли в добром здоровье, сударыня? – с умильной улыбочкой спрашивала Анисья Терентьевна, садясь на краешек стула возле двери.

– Слава Богу, – сухо ответила ей Дарья Сергевна, сиюсь оправиться от смущенья, наведенного на нее только что ушедшей Ольгой Панфиловной.

– Дунюшка здоровенька ли?

– Слава Богу.

– Учится каково?

– Учится – ничего.

– Далеко ль ушла?

– Часослов покончили, за перву кафизму села, – ответила Дарья Сергевна.

– Так, сударыня... Так впрямь и за псалтырь села... Слава Богу, слава Богу, – говорила Анисья Терентьевна и, маленько помолчав, повела умильные речи.

– А я на базар ходила, моя сударыня, да и думаю, давно не видала я болезную мою Дарью Сергевну, сем-ка забреду к ней, сем-ка погляжу на нее да узнаю, как вы все живете-можете... Вдругорядь когда-то еще выпадет досужее времечко – дела ведь тоже, сударыня, с утра до ночи хлопоты, да и ходить-то, признаться, далеконок к вам, а базар-от от вас рукой подать, раз шагнула, два шагнула – и у вас в гостях... А до базару заходила я к Шигиным, забежала на единую минуточку – мальчонка-то ихний азбуку прошел, за часослов сажать пора, да вот друга неделя ни каши не несет, ни платá, ни полтины³¹. Сами посудите, Дарья Сергевна, как же я за часословец-от его без даров посажу?.. Не водится... И посмотрела же я на ихне жите-бытье: беднота-то какая, нищета-то, печь не топлена, мерзнут в избе-то; а шабры говорят – по троим-де суткам не пьют, не едят. Где полтину им взять, где платок купить, да еще кашу варить? Сама вижу – не из чего... А стары обычаи не престаишь... Нельзя, не годится: в мале порушишь – все предание порушишь... Нечего делать, велю Федюшке, мальчонке-то ихнему, сызнова учить азбуку, пушай его зады твердит, покамест батька с маткой не справятся... Да где горемычным им справиться, где справиться!.. Совсем подрезались, все-то, что было, и одежонку и постеленку, все продали, одно Божие милосердие³² покуда осталось... А большачок-от³³ все курит, сударыня, все курит, каждый Божий день... Иной раз в кабаке, что супротив Михайлы Архангела, с утра до ночи просидит, а домой приволочется, первым делом жену за косы таскать. Она во всю мочь «караул», а он-то ее перекрикивает: «Жена да боится своего мужа!..» Дело ночное, шабры сбегутся – сраму-то что, содом-от какой!.. Да этак, сударыня моя, кажинный-то день, кажинный день!.. Не раз усовестить его хотела: «Что, говорю, срамник ты этакой, делаешь?.. Что ты и себя и жену-то срамишь? Побойся, говорю, Бога, ведь ты не церковник какой, что тебе по кабакам дневать-ночевать!.. Ведь ты, говорю, на все обчество, на всю святую нашу веру поношение наводишь. Послушай-ка, мол, что никониане-то говорят про тебя!..» Нейметса, сударыня, хоть говори, хоть нет! И Бога не боится, и людей не стыдится!.. Ох-ох-ох-ох! Дела наши, дела, как подумаешь!..

Молча слушала Дарья Сергевна трещающую, как заведенное колесо, мастерицу. Жалко ей стало голодавших Шигиных, а больше всего бойкого, способного на ученье Федюшку. Вынула из сундука бумажный плат и денег полтину. Подавая их мастерице, молвила:

– Вот тебе, Терентьевна, платок, вот тебе и полтина, велю работнице крупы на кашу отсыпать, доучивай только Федюшку как следует, сажай его скорей за часослов. Знаю я мальчику – славный такой.

– Что ты, сударыня?.. – с ужасом почти вскрикнула Анисья Терентьевна. – Как сметь старый завет престаивать!.. Спокон веку водится, что кашу да полтину мастерицам родители

³¹ Кроме условной платы за ученье, мастерица при каждой перемене учеником книги, то есть при начале часослова и при начале псалтыря, получает горшок сваренной на молоке каши, платок, в котором ученик несет этот горшок, и полтину деньгами. Кашу съедают ученики, платок и деньги поступают в карман мастерицы. Старинный обычай, упоминаемый еще в XV веке, сохраняется доселе у раскольников.

³² Иконы.

³³ Большак, большачок – муж.

посылали... От сторонних книжных дач не положено брать. Опять же надо ведь мальчонке-то по улице кашу в плате нести – все бы видели да знали, что за новую книгу садится. Вот, мать моя, принялась ты за наше мастерство, учишь Дунюшку, а старых-то порядков по ученью и не ведаешь!.. Ладно ли так? А?

– Да не все ль равно? – молвила было Дарья Сергевна.

– Что ты, что ты, сударыня!.. Окстись! Опомнись! – вскрикнула громко Анисья Терентьевна. – Как возможно только помыслить преставлять старину?.. После того скажешь, пожалуй: «Не все ль де едино, что в два, что в три перста креститься!..»

– Эх к чему применила!.. – начала было Дарья Сергевна, но мастерица и договорить ей не дала.

– Всяка премена во святоотеческом предании, всяко новшество, мало ль оно, велико ли – Богу противно, – строго, громко и внушительно зачала Анисья Терентьевна. – Ежели ты, сударыня, обучая Дунюшку, так поступаешь, велик ответ пред Господом дашь. Про тех, что соблазняют малых-то детей, какое слово в Писании сказано? «Да обесится жернов осельский на выи его, да потонет в пучине морстей». Вот что, сударыня!..

– Чем же я соблазняю? – спросила Дарья Сергевна.

– А пременою древнего чина, – подхватила Анисья Терентьевна. – Сказано: «Мал квас все смещение квасит...» Сама мала отмена святоотеческого предания все тщетным и греховным творит... Упрямится у тебя Дунюшка-то иной раз?

– Бывает... – ответила Дарья Сергевна. – Нельзя же – ребенок.

– А ты что с ней делаешь, как она заупрямится, учиться не захочет аль зашалит? – спросила мастерица.

– Когда пожую, а больше все лаской... Она ведь у нас кроткая, послушливая, – сказала Дарья Сергевна.

– Пожурю! Лаской! – с насмешкой передразнила ее Анисья Терентьевна. – Не так, сударыня моя, не так... Что про это писано?.. А?.. Не знаешь? Слушай-ка, что: «Не ослабляй, бия младенца, аще бо лозою биеша его – не умрет, но здравее будет, ты бо, бия его по телу, душу его избавляешь от смерти; дщерь ли имаша – положи на ню грозу свою и соблюдеши ю от телесных, да не свою волю приемши, в неразумии прокудит девство свое»³⁴. Так-то, сударыня моя, так-то, Дарья Сергевна.

– Ну уж этого никогда не будет, – вспыхнула Дарья Сергевна. – Да и Марко Данилыч пальцем тронуть ее не позволит.

– И тем погубит свое рождение. Беспременно погубит, – возвысив голос, горячо заговорила мастерица. – Сказано: «Наказуй дети в юности, да покоят ты на старости, аще же дети согрешат отцовским небрежением, ему о тех гресех ответ дати». Скажи ты это от меня Марку Данилычу... Опосле, как вырастет Дуня да согрешит, будет ему от Бога грех, а от людей укор и посмеи. Так-то, сударыня... Намедни, как была я у вас, поглядела на Дунюшку и поболела сердцем, ох, каково горько поболела... Девочка махонькая, а по всем горницам бегают, по стульям скачет, да еще, прости Господи, мирски песни поет... Тут бы сейчас дубцом ее, а тятенька смеется, хохочет, да и ты тоже, сударыня... Хорошо ль это?.. Что про это сказано? «Воспитай детище с прещением и не смейся к нему, игры творя: в мале бо ся ослабиши, в велице поболѣши, скорбя»³⁵. А Василий-от Великий что юношам и отроковицам заповедал?.. А?.. Не знаешь разве, сударыня?.. «Бесстрастие телесное имети, ступание кротко, глас умерен, слово благочинно, пищу и питие немязежно»; а она у вас намедни за обедом кричит, шумит, даже, прости Господи, мирску песню запела... А отец-от ровно и не слышит, а тебе ровно и дела нет... Что дальше Василий-от Великий гласит?.. «При старейших молчание, премудрейшим

³⁴ «Домострой», XVII. **Прокудить** – шалить, проказничать. Прокудить девство – лишиться целомудрия.

³⁵ Домострой, XVII.

послушание...» А я намеренно стала было ее уговаривать маленько с пристрастием, про турлы-мурлы молвила ей, а она мне язык высунула... Благочинно ли это, по Писанию ли?.. Отроковице, по Василию Великому, «не дерзкой быти на смех», а она у вас только и дела, что гогочет, «стыдением украшаться» надобно, а она язык мне высунула, «долу зрение имети» подобает, а она, ровно коза, лупит глаза во все стороны... Хорошее ли это дело, совместимо ли с законом святоотеческим?.. Сама, сударыня, посуди! Девица ты не глупая, скажи по чистой совести: хорошо ли такую волю отроковице давать?

– По-моему, вреда тут нет, – молвила Дарья Сергевна. – Ребенок еще, пушай ее порезвится...

– Нет, мать моя! – возразила Анисья Терентьевна. – Послушала бы ты, что в людях-то говорят про твое обучение да про то, как учишь ты свою ученицу... Уши вянут, сударыня. Вот что.

– Мало ли что люди говорят, – молвила Дарья Сергевна, – всех людских речей не переслушаешь.

– Что тут люди! Не люди, а я тебе говорю, – вспыхнула Анисья Терентьевна. – Я, матушка, слава тебе Господи, не одну сотню ребят переобучила. Знаю это дело вдосталь... Насчет чего другого – так, а уж насчет учьбы со мной, сударыня, не спорь. Может, верст ста на полтора кругом супротив меня другой мастерицы нет. Не в похвальбу скажу, сколько ребятишек грамоте ни обучала, мужеска пола и женска, все до единого в древнем благочестии крепко пребывают, свято хранят отеческие предания... А вы, сударыня, со своим Марком Данилычем неповинную от Бога отводите, с бесом же на пагубу приводите... Да!.. Нечего, сударыня, лицо-то косить – не бойсь, не испугаюсь, всю правду-матку выложу тебе как на ладонке... Губите вы, сударыня, со своим Марком Данилычем отроковицу непорочну, губите!.. Да-с!..

– Да чтой-то ты, Анисья Терентьевна?.. Помилуй, ради Христа, с чего ты взяла такие слова мне говорить? – взволнованным голосом, но решительно сказала ей на то Дарья Сергевна. – Что тебе за дело? Кто просит твоих советов да поучений?

Спохватилась мастерица, что этак, пожалуй, и гостинца не будет, тотчас понизила голос, заговорила мягко, лъстиво, угодливо. Затаенной язвительности больше не было слышно в ее речах, зазвучали они будто сердечным участием.

– Ах, сударыня ты моя Дарья Сергевна! Ведь жалеючи вас, моя болезная, так говорю. Может, что неугодное молвила – не обессудьте, не осудите, покройте нашу глупость своей лаской-милостью... Из любви к вам, матушка, из единой любви сказала, помнючи милости Марка Данилыча и ваши, сударыня... Люди ведь зазирают, люди, матушка. Теперь у всех только и речи, что про вас да про Дунюшкино ученье... Известно, сударыня, Марко Данилыч такой богатеи, дочка у него одна-единственная. До кого ни доведись, всякому занятно посудить, порядить...

– Да что кому за дело? – с досадой молвила Дарья Сергевна.

– Народ – молва, сударыня. Никто ему говорить не закажет. Ртов у народа много – всех не завяжешь... – Так говорила Анисья Терентьевна, отираясь бумажным платком и свертывая потом его в клубочек. – Ох, знали бы вы да ведали, матушка, что в людях-то про вас говорят.

– Что такое? – чуть слышно спросила Дарья Сергевна. Вспомнились ей слова Ольги Панфиловны.

– Да вот хоть бы сейчас на базаре, – ответила Анисья Терентьевна. – Стоит Панфилиха у возов с рыбой, а сама так и рассыпается, так и рассыпается... И все-то про вас, все-то про вас да про Марка Данилыча... Им, говорит, греховодникам, и без венца весело живется. Без стыда, говорит, живут ровно муж с женой... Да и пошла, и пошла... А еще барыня, благородная!.. Ну да как же не благородная?.. Стоит взглянуть на харю анафемскую, тотчас по рылу знать, что не простых свиней... Отец-от отопком щи хлебал, матенка на рогожке спала, в одном студе-

ном шушунешке³⁶ по пяти годов щеголяла, зато какая-то, пес их знает, была елистраторша, а дочку за секретаря, что ли, там за какого-то выдала... Родословная, видишь!.. А какое у них родословье?.. От ерника балда, от балды шишка, от шишки ком!..³⁷ А вы еще, сударыня, такую паскуду до себя допускаете! Перво-наперво – неверная, у попов у церковных, да у дьяконов хлеб ест, всяко скоблено рыло, всякого табашника и щепотника за добрых людей почитает, второ дело смотница, такая смотница, что не приведи Господи. Только на самое себя сплеток не плетет, а то на всех, на всех, что ни есть на свете людей... А вы еще на глаза ее к себе допускаете. Не дело, Дарья Сергевна, не дело!.. Видите, какая от нее благодарность-то – у кого ест да пьет, на того и зло мыслит.

Не ответила Дарья Сергевна.

– Ахти, засиделась я у вас, сударыня, – вдруг встрепенулась Анисья Терентьевна. – Ребя-тенки-то, поди, собралися на учьбу́, еще, пожалуй, набедокурят чего без меня, проклятики – поди, теперь на головах чать по горнице-то ходят. Прощайте, сударыня Дарья Сергевна. Дай вам Бог в добром здоровье и в радости честную Масленицу проводить. Прощайте, сударыня.

И тихой походкой, склоня голову, пошла вон из горенки.

Убитая неожиданными вестями, Дарья Сергевна вся погрузилась в не испытанное еще ею доселе горе от клеветы. Вся она была поглощена тем горем. Краем уха слушала рассказы мастерицы про учьбу́ ребятишек, неохотно отвечала ей на укоры, что держит Дуняшу не по старинным обычаям, но, когда сказала она, что Ольга Панфиловна срамит ее на базаре, как бы застыла на месте, слова не могла ответить... «В трубы трубят, в трубы трубят!» – думалось ей, и, когда мастерица оставила ее одну, из-за густых ресниц ее вдруг полилися горькие слезы. Пересела Дарья Сергевна к пяльцам, хотела дошивать канвовую работу, но не видит ни узора, ни вышиванья, в глазах туманится, в висках так и стучит, сердце тоскует, обливается горячею кровью. Опираясь на столы и стулья, вышла она в другую горенку, думала стать на молитву, но ринулась на кровать и залилась слезами.

Клевета что стрела, человека разит. На себя не похожа стала Дарья Сергевна: в очах печаль, в лице кручина. Горе, коль есть его с кем размыкать, – еще не горе, а только полгоря. А ей кому поделиться печалью? Не Марку ж Данилычу сказать, не с Дунюшкой же про напраслину разговаривать!.. С нянькой, с работницами тоже говорить не доводится. Поймут разве они ее кручину? Пожалуй, еще больше насплетничают! Уйти из дому Смолокурова?.. А обет, данный Олене Петровне на смертном одре ее? Бога ведь ставила ей она во свидетели, что заменит сиротке родную мать. Все обиды надо стерпеть, все оскорбления перенести, а данной клятвы не изгубить!.. Опять же Дунюшку жаль... Как ее с нянькой да с работницами одну оставить!.. Марко Данилыч? Его дело мужское – где ему до всего доходить, опять же почасту надолго из дому отлучается... Нельзя одну Дуню оставить, нельзя...

Долго думала Дарья Сергевна, как бы делу помочь, как бы, не расставаясь с Дуней, год, два, несколько лет не жить в одном доме с молодым вдовцом и тем бы заглушить базарные пересуды и пущенную досужими языками городскую молву. Придумала наконец.

³⁶ **Шушун** – верхнее платье, вроде кофты, из крашеины. **Студеный шушун** – сшитый не на вате.

³⁷ **Ерник** – кривой, низкорослый кустарник по болоту, а также беспутный, плут, мошенник; **балда** – лесная кривулина, дубина, а также дурак, полоумный; **шишка** – нарост на дереве, а также бес, черт (шишко, шишига); **ком** – сук в виде клуба на древесном наросте, а также драчун, забияка (комша).

Глава третья

Прошла Масленица, наступил Великий пост. Дарья Сергевна таила в сердце скорбь, нанесенную ей благородной приживалкой и халдой мастерицей! Три недели еще прошло – «пролетье» наступило, Евдокия-плющиха пришла весну снаряжать³⁸. В тот день Дуня именинница была, восемь годов ей минуло. Марко Данилыч подарил имениннице разных подарков и, называя ее уже «отроковицей», веселился, глядя на дочку и любясь расцветавшею ее красотой. Рада была Дуня подаркам, с самодовольством называла она себя «отроковицей» – значит, стала теперь большая – и нежно ласкалась то к отцу, то к Дарье Сергевне. Евдокиин день в том году приходился в среду на четвертой неделе поста; по старинному обычаю, за обедом подали «кресты» из тертого на ореховом масле теста. В одном из крестов запечен был на счастье двугривенный, он достался имениннице. Девочка так и засияла восторгом.

– Да, Марко Данилыч, вот уж и восемь годков минуло Дунюшке, – сказала Дарья Сергевна, только что встали они из-за стола, – пора бы теперь ее хорошенько учить. Грамоту знает, часослов прошла, втору кафизму читает, с завтрашнего дня думаю ее за письмо посадить... Да этого мало... Надо вам подумать, кому бы отдать ее в настоящее ученье.

– Кому же, как не вам, ее учить, Дарья Сергевна?.. – молвил Марко Данилыч. – Не Терентиху же приставить...

– Всей бы душой рада я, Марко Данилыч, да сама не на столь обучена, чтоб хорошенько Дунюшку всему обучить... Подумали бы вы об этом, – сказала Дарья Сергевна.

– Не в Москву же в пенсион везти, – слегка нахмурясь, сказал Смолокуров. – Пошло нынче это заведение по купечеству у старообрядцев даже, только я на то не согласен... Потому – одно развращенье! Выучится там на разных языках лепетать, на музыке играть, танцам, а как персты на молитву слагать, которой рукой лоб перекрестить – забудет... Видал я много таких, не хочу, чтоб Дуня моя хоть капельку на них походила. Надо обучить ее всему, что следует по древнему благочестию, ну и рукодельям тоже... Так это, я полагаю, и вы все можете.

– Ну нет, Марко Данилыч, за это я взяться не могу, сама мало обучена, – возразила Дарья Сергевна. – Конечно, что знаю, все передам Дунюшке, только этого будет ей мало... Она же девочка острая, разумная, не по годам понятливая – через год либо через полтора сама будет знать все, что знаю я, – тогда-то что ж у нас будет?

Марко Данилыч задумался.

– Учителей, что ли, каких бы приискали... – начала было Дарья Сергевна, но Смолокуров поспешно ее перебил:

– Это из училища-то, что ли? Ни за что на свете!.. Чему научат?.. Какому бесу, прости Господи!

– Так другого кого поищите, – молвила Дарья Сергевна. – Подумайте об этом, Марко Данилыч.

– Ладно, подумаем, – отрывисто ответил он и круто повернулся к окну. Помолчала немножко Дарья Сергевна, другой разговор повела:

– Сегодня поста перелом, Христов праздник не за горами. Кого располагаете звать страстную службу да светлу заутреню в моленной отправить?..

– Кого позвать? Опрichь Красноглазиhi, некого, – ответил Марко Данилыч.

– Путаet много она по mineи-то, – сказала Дарья Сергевна. – По псалтырю³⁹ еще бредет, а по mineи ей не сладить. Чтoб oпять тaкoгo ж cблaзну нe нaтвopилa, кaк в пpoшлoм гoду.

³⁸ 1 марта празднуют преподобной мученицы Евдокии. В народе тот день зовут «пролетьем», «Евдокией-плющихой» (потому что снег тогда настом плющат). Говорят еще в народе, что Евдокия весну снаряжает.

³⁹ Домашняя служба у старообрядцев отправляется по псалтырю, то есть читается псалтырь и после каждой кафизмы

– Это за часами-то в Великую пятницу? Из пятницы в субботу переехала, – засмеялся Марко Данилыч, отворачиваясь от окна.

– А в позапрошлом году, помните, как на Троицу по «Общей минеи» стала было службу справлять да из Пятидесятницы простое воскресенье сделала?.. Грехи только с ней! – улыбаясь, сказала Дарья Сергевна. – К тому ж и то надо взять, Марко Данилыч, не нашего ведь она согласу...

– Это еще не беда, – заметил Смолокуров. – Разница меж нами не великая – та же стара вера, что у них, что у нас. Попов только нет у них, так ведь и у нас были да сплыли.

– Все-таки не единого стада, – молвила Дарья Сергевна.

– А вы уж не больно строго, – сказал на то Марко Данилыч. – Что станешь делать при таком оскудении священства? Не то что попа, читалок-то нашего согласу по здешней стороне ни единой нет. Поневоле за Терентыху примешься... На Кёрженец разве не спсылать ли?.. В скиты?..

– Оченно бы это хорошо было, Марко Данилыч, – обрадовалась Дарья Сергевна. – Тогда бы настоящая у вас служба была. Все бы нашего согласу благодарны вам остались. Можно бы старицу позвать да хоть одну белицу для пения... Старица-то бы в соборную мантию облеклась, белица-то демеством бы Пасху пропела... Как бы это хорошо было! Настоящий бы праздник тогда!.. Вот и Дунюшка подросла, а заправской Божьей службы еще и не слыхивала, а тут поглядела бы, хорошоохонько помолилась бы. Послушала бы певицу...

– Зачем певицу? Брать так уж пяток либо полдюжину. Надо, чтоб и пение, и служба вся были как следует, по чину, по уставу, – сказал Смолокуров. – Дунюшки ради хоть целый скит приволоку, денег не пожалею... Хорошо бы старца какого ни на есть, да где его сыщешь? Шатаются, шут их возьми, волочатся из деревни в деревню – шатуны, так шатуны и есть... Нечего делать, и со старочкой, Бог даст, поспразднуем... Только вот беда, знакомства-то у меня большого нет на Керженце. Послать-то не знаю к кому.

– Да вы бы к Лещовым отписали, у них по всем скитам есть знакомство, – ответила Дарья Сергевна. – Они мигом бы весточкой дохнули на Керженец. Теперь четверта неделя, к Вербному воскресенью и старочка, и белицы были бы здесь. Нынче же Пасха ранняя, Благовещение на Страстной придется, реки пропустят. Разойдутся не раньше мироносицкой.

– Не раньше, – согласился Смолокуров. – И в самом деле к Лещовым на Ветлугу разве писать. Никите Петровичу точно все Керженски обители знакомы, для меня он сладит дело, сегодня же погоню к нему нарочного.

Нефед Тихоныч Лещов свойственник был Смолокурову, на двоюродной сестре Олены Петровны женат. Человек с достатком был, но далеко не с таким, как у Марка Данилыча, оттого и старался он при всяком случае угодить богатому сватушке. Только что получил он письмо, тотчас же снарядился в путь-дорогу – сам поехал на Керженец, сам все дело обделал; и накануне Лазарева воскресенья на двор Смолокурова въехали три скитские кибитки, нагруженные старицей Макриной да пятью белицами. Старица и певчие девицы были с Каменного Вражка, из обители игуменьи Манефы Чапуриной.

Макрина уставщицей была. Несмотря на великий праздник, Манефа отправила ее к Марку Данилычу, приказав ее помощнице матушке Аркадии заправлять службой в обительской часовне. Когда Лещов рассказал дальновидной игуменье про Смолокурова, про его богатства, про то, что у него всего одна-единственная дочь, наследница всему достоянью, и что отцу желательно воспитать ее в древнем благочестии, во всей строгости святоотеческих преданий, мать Манефа тотчас смекнула, что из этого со временем может выйти... Потому, исполняя желание Марка Данилыча, хоть и в ущерб благолепию службы в своей часовне, послала она

тропари празднику. Службою по минеи, или уставною, называется та, что отправляется по уставу. Великим постом справляют уставную службу по книге «Минея постная», от поста до Троицы по книге «Минея цветная», в прочие дни по «Минеи общей».

пять наилучших певец правого крылоса, а с ними уставщицу Макрину, умную, вкрадчивую, ловкую на обхожденье с богатыми благодетелями и мастерски умевшую обдeldывать всякие дела на пользу обители.

Отправив страстную и пасхальную службу, Макрина не тотчас поехала от Смолокурова. Марку Данилычу старица Божия понравилась; целые вечера проводил он с ней в беседах не только от Божественного писания, но и о мирских делах; ловкая уставщица была и в них сведуща... Много ездила она по делам обительским, по всему старообрядству вела обширное знакомство, и ее рассказы очень были заняты Марку Данилычу. Стал он упрашивать ее погостить Святую и на Радунце хорошенько помянуть родителей. Потом отъезд келейниц замешкался оттого, что дороги испортились, от распутицы реки стало опасно переезжать... Вскрылись реки, Марко Данилыч стал Макрину упрашивать остаться до его именин⁴⁰, потом до именин погибшего в море брата, чтоб отпеть за него поминальный канон⁴¹. А тут дня через четыре Троица – не ехать же от такого праздника; через неделю после Троицы память по Олене Петровне⁴². Таким образом, откладывая отъезд день за день, неделя за неделю, комаровские гости прожили у Смолокурова вплоть до Иванова дня.

Смолокуров до того времени в скитах никогда не бывал и совсем не знал жизни обительской. Макрина в продолжение гостин много ему рассказывала про житье-бытье матушек, про их занятия, хозяйственность, богомолье. Марку Данилычу ее рассказы пришлись по сердцу; щедро наградив Манефу за службы, в его домашней моленной Макриной отправленные, обещал на будущее время быть благодетелем честной обители, если же мать Манефа с сестрами будут согласны, то, пожалуй, и ктиторм сделать. Оставаясь с глазу на глаз с Макриной, Дарья Сергевна иные разговоры вела: советовалась с ней насчет обучения Дунюшки. Жаль было расставаться ей с воспитанницей, в которую положила всю душу свою, но нестерпимо было и оставаться в доме Смолокурова, после того как узнала она, что про нее «в трубы трубят». Чтоб, не разлучаясь с Дуней, прожить несколько лет вне смолокуровского дома и тем заглушить недобрые слухи, вздумала она склонить Марка Данилыча на отдачу дочери для обучения в Манефину обитель. Только что намекнула об этом она матери Макрине, та с обычной для нее ловкостью на лад затеянное дело поставила. И были, и небылицы по целым вечерам стала она рассказывать Марку Данилычу про девиц, обучавшихся в московских пансионах, и про тех, что дома у мастериц обучались. Называла по именам дома богатых раскольников, где от того либо другого рода воспитания вышли дочери такие, что не приведи Господи: одни Бога забыли, стали пристрастны к нововводным обычаям, грубы и непочтительны к родителям, покинули стыд и совесть, ударились в такие дела, что не лететь и глаголати... другие, что у мастериц обучались, все, сколько ни знала их Макрина, одна другой глупее вышли, все как есть дуры дурами – ни встать, ни сесть не умеют, а чтоб с хорошими людьми беседу вести, про то и думать нечего. Смолокуров соглашался с красноглазливой уставщицей, говорил, что самому ему доводилось и тех, и других видать и что он не знает, которые из них хуже. «И то еще я замечал, – говорил он, – что пенсионная, выйдя замуж, рано ли поздно, хахаля заведет себе, а не то и двух, а которая у мастерицы была в обученье, дура-то душой окажется, да к тому же и злобы много накопит в себе...» А Макрина тотчас ему на те речи: «С мужьями у таких жен, сколько я их ни видывала, ладов не бывает: взбалмошны, непокорливы, что ни день, то в дому содом да драна грамота, и таким женам много от супружеских кулаков достается...» Наговорившись с Марком Данилычем о таких женах и девицах, Макрина ровно обрывала свои рассказы, заводила речь о стороннем, а дня через два опять, бывало, поведет прежние речи... Дарья Сергевна в одно слово с ней говорила. Сумрачно глядел Марко Данилыч, молчал и, глубоко вздыхая, гладил

⁴⁰ День св. Марка 25 апреля.

⁴¹ Св. Мокия 11 мая.

⁴² Св. Елены 21 мая.

по головке ненаглядную дочку. Потом Макрина зачнет, бывало, рассказывать про житье обительское и будто мимоходом помянет про девиц из хороших домов, что живут у Манефы и по другим обителям в обученье, называет поименно родителей их: имена все крупные, известные по всему купечеству. Называет обучавшихся и прежде в скитах, а теперь вышедших замуж и ставших добрыми, домовитыми, умными, попечительными хозяйками... Знал Марко Данилыч иных из названных Макриной и соглашался со старицей, что в самом деле жены они добрые, матери хорошие, потому, главное, прибавлял он, что живут во страхе Господнем. «Страх Божий при обученье девиц у нас в обители первое дело, – спешит тогда отвечать Макрина, – потому что и в Писании сказано: «Страх Божий начало премудрости...» И, сказавши, опять замолчит либо сведет речь на другое. Потом через день, через два опять зачнет рассказывать, как строго в обителях смотрят за девицами, как приучают их к скромному и доброму житию по Господним заповедям, каким рукодельям обучают, какие книги дают читать и как поучают их всякому добру старые матери.

– Все это хорошо и добро, – молвил как-то раз Марко Данилыч, – одно только не ладно, к иночеству, слышь, у вас молоденьких-то дев склоняют, особливо тех, кто побогаче... Расчетец – останется девка в обители, все родительское наследие туда внесет... Таковы, матушка Макрина, про скиты обносятся повсюдные слухи.

– Не верьте, Марко Данилыч, пустым наносным речам. Эти сплетни идут от недоброхотов, – с горячностью вступилась Макрина. – Мало ль чего не говорят про нас, убогих, беззащитных!.. Не верьте... Бывает, что старые матери иным девицам внушают покрыть себя черною рясой... Таить не стану, точно бывает. Только такие советы не отецким дочерям, не богатым девицам внушаются, а сироткам, что с малолетства призрены в обители Христа ради. Ни отца у сироты, ни матери, ни ближних, ни сродников, где ж ей, сердечной, в миру главу приклонить? А в обители ей завсегда готово... Таких точно что уговариваем, а богатых ни-ни... никогда... Родных своих тоже уговариваем, у которой старицы племянница есть бедная, либо другая сродница, таких берем на воспитанье и, точно, иной раз склоняем принять ангельский чин... А отецких дочерей как можно?.. Помилуйте!

Разговаривая так с Макриной, Марко Данилыч стал подумывать, не отдать ли ему Дуню в скиты обучаться. Тяжело только расстаться с ней на несколько лет... «А впрочем, – подумал он, – и без того ведь я мало ее, голубушку, выдаю... Лето в отъезде, по зимам тоже на долгие сроки из дому отлучаюсь... Станет в обители жить, скиты не за тридевять земель, в свободное время завсегда могу съездить туда, поживу там недельку-другую, полюбуюсь на мою голубушку да опять в отлучки – опять к ней».

И вот однажды под вечерок, сидя за чаем, сказал Смолокуров Макрине при Дарье Сергевне, что думает он Дуню к ним в обученье отдать.

Другая на месте Макрины тотчас бы возрадовалась, но ловкая уставщица бровью даже не повела. Напротив, приняла озабоченный вид и медленно, покачивая головой, промолвила:

– Не знаю, что сказать вам на это, Марко Данилыч, не знаю, как вам посоветовать. Дело такое, что надо об нем подумать, да и подумать.

А Дарья Сергевна хоть и радехонька речам Марка Данилыча, но хмурится, будто ей неприятную весть сказал он. Не молвила ни единого слова.

– Чего тут раздумывать? – нетерпеливо вскрикнул Марко Данилыч. – Сама же ты, матушка, не раз говорила, что у вас девичья учьба идет по-хорошему... А у меня только и заботы, чтобы Дуня, как вырастет, была б не хуже людей... Нет, уж ты, матушка, речами у меня не отлынивай, а лучше посоветуй со мной.

– Ничего не могу я тут вам советовать, Марко Данилыч, никакого без матушки Манефы ответа дать не могу, – смиренно, покорным голосом отвечала Макрина. – Такого родителя дочку принять не безделица!.. Конечно, если б это дело сбылось, матушка Манефа Дунюшку поближе бы к келье своей поместила, в своей бы «стае». Да теперь вряд ли там возможно

поместить ее... Чапурина Патапа Максимыча не изволите ль знать?.. Братец матушке-то нашей по плоти: двух дочерей отдал к ней да третью дочку не родную, а богоданную – сиротку он одну воспитывает. Четвертая с ними живет матушкина воспитанница, тоже сирота безродная... Вот четыре, пятая с ними живет головщица. А горниц-то всего три и то не великие... Из эакого дома Дунюшке-то и тесненько покажется у нас – скучать бы не стала. Опять же не одну ее в обитель привезете, кто-нибудь тоже будет при ней...

– Ну вот этого я уж и не знаю, как сделать... И придумать не могу, кого отпустить с ней. Черных работниц хоть две, хоть три предоставлю, а чтоб в горницах при Дунюшке жить – нет у меня таковой на примете.

– Работниц нам не надо, Марко Данилыч, в обители своих трудниц довольно. Дунюшке все они сготовят: и помыть, и пошить, и поштопать, и новое платьице могут сшить, даже башмачки, пожалуй, справят, – сказала Макрина.

– Ну это ладно, хорошо, – молвил Марко Данилыч. – А где ж такую взять, чтоб завсегда при ней была, безотлучно смотрела бы за ней?

– А я-то на что? – вступилась Дарья Сергевна, вскинув глазами на Смолокурова. – Я с Дуняшей поеду.

– Как? – удивился и с досадой промолвил Марко Данилыч. – А дом-от как же?.. Хозяйство-то?.. Дом-от тогда на кого я покину?

– Марко Данилыч, – пристально глядя на него, сказала Дарья Сергевна. – Разве вам не известно, что живу я у вас не ради хозяйства, а для Дунюшки?.. Клятву дала я Оленушке Петровне, на смертном одре ее, обещалась ей вместо матери Дунюшке быть – и то обещанье, перед Творцом Создателем данное, сколько Господь мочи дает, исполняю... А насчет вашего хозяйства покойница мне ничего не говорила, и я слова ей в том не давала... При Дунюшке до ее возраста останусь, где б она ни жила, – конечно, ежели это вашей родительской воле будет угодно, – а отвезете ее, в дому у вас я на один день не останусь.

Повисла слеза на реснице у Марка Данилыча, когда вспомнилась ему женина кончина. Грустно покачал он головою и с легким укором промолвил:

– А не просила разве она вас, умираючи, чтоб и меня не оставили вы своим советом да заботами?.. Попомните-ка? Не говорила разве того вам покойница?

– Говорила, – потупляя глаза и слегка вспыхнув, ответила Дарья Сергевна. – Но ведь вы и того, думаю я, не забыли, после каких уговоров, после какого от меня отказа про то она говорила?

Смолк Марко Данилыч, нахмурил брови и почесал в затылке.

– Все-таки, однако ж... – начал было он, но не знал, что дальше сказать.

Подумав недолгое время, он молвил:

– Вы у меня в дому все едино, что братня жена, невестка то есть. Так и смотрю я на вас, Дарья Сергевна... Вы со мной да с Дуней – одна семья.

– А люди как на это посмотрят, Марко Данилыч? – строго взглянув на него, взволнованным голосом тихо возразила Дарья Сергевна. – Ежели я, отпустивши в чужие люди Дунюшку, в вашем доме хозяйкой останусь, на что это будет похоже?.. Что скажут?.. Подумайте-ка об этом...

– Чего сказать? Никто ничего не посмеет сказать, – резко и мрачно ответил Марко Данилыч.

– Не говорите... – с горячностью сказала Дарья Сергевна. – Может, и теперь уж не знай чего на меня ни плетут!.. А тогда что будет? Пожалейте хоть маленько и меня, Марко Данилыч.

– Кто смеет сказать про вас что-нибудь нехорошее?.. – вскрикнул Марко Данилыч и, быстро вскочив с дивана, зашагал по горнице крупными шагами. – Головы на плечах не унесет, кто посмеет сказать нехорошее слово!

– Перестанем говорить о том, – спокойно промолвила Дарья Сергевна. – От басен да от сплетен никому не уйти, заказу на них положить невозможно. Последнее мое вам слово: будет Дунюшка жить в обители, и я с ней буду, исполню завет Оленушкин, не захотите, чтоб я была при ней, дня в дому у вас не останусь... Христовым именем стану кормиться, а не останусь... А если примет меня матушка Манефа, к ней в обитель уйду, иночество надену, ангельский образ приму и тем буду утешаться, что хоть издали иной раз погляжу на мою голубоньку, на сокровище мое бесценное.

И, закрыв руками лицо, зарыдала. Марко Данилыч продолжал, насупясь и молча, ходить по горнице.

– Эх, Дарья Сергевна, Дарья Сергевна! – горько он вымолвил. – Бог с вами!.. Не того я ждал, не то думал... Ну, да уж если так – ваша воля... Дуню в таком разе уж вы не оставьте.

– Мое дело сторона, – вмешалась при этом Макрина. – А по моему рассуждению, было бы очень хорошо, если б и при Дунюшке в обители Дарья Сергевна жила. Расскажу вам, что у нас в Комарове однажды случилось, не у нас в обители – у нас на этот счет оборони Господи, – а в соседней в одной.

И пошла рассказывать ни так ни сяк не подходящее к делу. Ей только надо было отвести в сторону мысли Смолокурова; только для того и речь повела... И отвела... мастерица была на такие отвороты.

* * *

Ден пять прошло после тех разговоров. Про отправленье Дунюшки на выучку и помина нет. Мать Макрина каждый раз заминает разговор о том, если зачнет его Марко Данилыч, то же делала и Дарья Сергевна. Иначе нельзя было укрепить его в намеренье, а то, пожалуй, как раз найдет на него какое-нибудь подозренье. Тогда уж ничем не возьмешь.

Раз при Макрине и при Дарье Сергевне посадил Марко Данилыч Дуню к себе на колени и, лаская ее, молвил:

– Хочешь, Дунюшка, учиться уму-разуму?

– Хочу, тятя, – весело улыбаясь синенькими глазками, отвечала девочка.

– Отдам я тебя матушке Макрине, увезет она тебя к себе домой и там всему хорошему тебя научит, – сказал Марко Данилыч. – Поедешь с матушкой Макриной?

На минутку Дуня задумалась. И, быстро вскинув головкой, блеснула на отца взорами и спросила:

– А тетя Даша поедет?

– Нет, не поедет, – молвил Смолокуров.

– Так и я не поеду, – ответила девочка.

– И учиться не станешь?

– И учиться без тети не стану, – решительней прежнего молвила Дуня.

– А если мать Макрина без тети тебя увезет?

– Убегу.

– А поймают?

– Тогда умру. Как мама померла, так и я помру, – сказала Дунюшка – и так спокойно, так уверенно, как будто говорила, что вот посидит, посидит с отцом да и побежит глядеть, как в огороде работницы гряды копают.

Заискрились взоры у Марка Данилыча, и молча вышел он из горницы. Торопливо надев картуз, пошел на городской бульвар, вытянутый вдоль кручи, поднимавшейся над Окою. Медленным шагом, понуриив голову, долго ходил между тощих, нераспустившихся липок.

Река была в полном разливе, верст на семь затопило луга, полоби⁴³ и кустарники левого берега. Попутным ветром вниз по реке бежал моршанский хлебный караван; стройно неслись гусанки и барки, широко раскинув полотняные белые паруса и топсели, слышались с судов громкие песни бурлаков, не те, что поются надорванными их голосами про дубину, когда рабочий люд, напирая изо всей мочи грудью на ляжки, тяжело ступает густо облепленными глиной ногами по скользкому бечевнику и едва-едва тянет подачу. Шамра⁴⁴ бежит в одну сторону с судами, «святой воздух»⁴⁵ дополна выдувает «апостольскую скатерть»⁴⁶, и довольные попутным ветром бурлаки, разметавшись по палубе на солнышке, весело распевают про старые казацкие времена, про поволжскую вольную вольницу. Громко разносится в свежем воздухе удалая песня:

Разыгралася, разгулялася Сура-река —
Она устьищем пала в Волгу-матушку,
На том устьище на Сурском част ракитов куст,
А у кустика ракитова бел-горюч камень лежит.
Кругом камешка того добрые молодцы сидят,
А сидят они, думу думают на дуване,
Кому-то из молодцев что достанется на долю...

На другой гусанке раздался дружный, громкий хохот — какой-то бурлак, взяв за обору истоптанный лапоть и размахивая им, представляет попа с кадилом, шуткой отпевая мертвецки пьяного товарища, ровно покойника, а бурлаки заливаются веселым смехом... А на третьей гусанке неистовый вопль слышится: «Батюшки, буду глядеть!.. отцы родные, буду доваривать! батюшки бурлаченки, помилуйте!.. родимые, помилуйте!» То бурлацкая артель самосудом расправляется с излюбленным кашеваром за то, что подал на ужин не проваренную как следует пшеничную кашу...

По лону реки мелькают лодочки рыбных ловцов, вдали из-за колена реки выбегает черными клубами дымящийся пароход, а клонящееся к закату солнце горит в высоком небосклоне, осыпая золотыми искрами речную шамру; ширятся в воздухе и сверкают под лучами небесного светила белоснежные паруса и топсели, вдали по красноватым отвесным горам правого берега выделяются обнаженные, ровно серебряные, слои алебаstra, синеют на венце гор дубовые рощи, зеленеет орешник, густо поросший по отлогим откосам.

Ничего не видит, ничего не слышит Марко Данилыч, ходит взад и вперед по бульвару, одно на мыслях: «Приходится с Дуней расстаться!»

До глубоких сумерек проходил он вдоль кручи. Воротясь домой, весь ужин промолчал, а перед отходом ко сну молвил Дарье Сергевне да матери Макрине:

— Решил я. Стану просить мать Манефу, приняла бы к себе Дуню... А вы уж ее не оставьте, Дарья Сергевна, поживите с ней, покамест будет она в обученье. Она ж и привыкла к вам... Обидно даже немножко — любит она вас чуть ли не крепче, чем родного отца.

Радостно блеснули взоры Дарьи Сергевны, но она постаралась подавить радость, скрыть ее от Марка Данилыча, не показала бы она ему обидною. «Тому, дескать, рада, что хозяйство покидает и дом бросает Бог знает на чьи руки».

Макрина еще больше, чем Дарья Сергевна, рада была решению Марка Данилыча. «Большое спасибо скажет мне мать игуменя, что сумела я уговорить такого богатея отдать в оби-

⁴³ Низменное место, затопляемое весной.

⁴⁴ Рябь на воде во время ровного не очень сильного ветра.

⁴⁵ Так бурлаки зовут попутный ветер.

⁴⁶ Так бурлаки зовут надутый ветром парус.

тель свою единственную дочку», – так думала довольная успехом своим уставщица. Перечисляет в мыслях, сколько денег, сколько подарков получит обитель от нового «благодетеля», а уж насчет запасов, особенно рыбных, нечего и думать – завалит Смолокуров обительские погреба, хоть торг заводи: всю рыбу никак тогда не приест. Но этого мало показалось ревностной до обительских выгод уставщице, вздумалось ей еще пожить на счет Марка Данилыча.

– О вашем решении надо скорей отписать к матушке, – обратилась она к нему. – Вы как располагаете дочку-то к нам привезти?

– Да уж лето-то пущай ее погуляет, пущай поживет со мной... Ради ее и на Низ не поеду – побуду останное время с Дунюшкой, нагляжусь на нее, голубушку, – сказал Смолокуров.

– Значит, по осени? – молвила Макрина.

– Да после Макарья – в сентябре, что ли, – ответил Марко Данилыч.

– Так я и отпишу к матушке, – молвила Макрина. – Приготовилась бы принять дорогую гостейку. Только вот что меня сокрушает, Марко Данилыч. Жить-то у нас где будет ваша Дунюшка? Келий-то таких нет. Сказывала я вам намерении, что в игуменьиной стае тесновато будет ей, а в других кельях еще теснее, да и не понравится вам – не больно приборно... А она, голубушка, вон к каким хоромам приобыкла... Больно уж ей у нас после такого приволья не покажется.

– Как же тому пособить? – сказал Марко Данилыч и задумался.

– Уж не знаю, как сделать это, Марко Данилыч, ума не приложу, благодетель, не придумаю, – отвечала на то хитрая Макрина. – Отписать разве матушке, чтобы к осени нову стаю келий поставила... Будет ли ее на то согласие, сказать не могу, не знаю.

– А место, где построиться, есть в обители? – спросил Марко Данилыч.

– Места за глаза на двадцать, а пожалуй, и на тридцать стай достанет, – сказала Макрина.

– Так за чем дело стало? – молвил Марко Данилыч. – Отпишите матушке, отвела бы местечко поближе к себе, а я на том месте домик выстрою Дунюшке... До осени поспеем и построить, и всем приукрасить его.

– Разве что так, – молвила Макрина. – Не знаю только, какое будет на то решение матушки. Завтра же напишу ей.

– Да, уж пожалуйста, поскорее напишите, матушка, – торопил ее Марко Данилыч. – Завтра же, кстати, день-от почтовый, можно будет письмо отослать.

– Сегодня ж изготавлю, – молвила Макрина и, простясь с Марком Данилычем, предвольная пошла в свою горницу. «Ладно дельцо обделалось, – думала она. – После выучки дом от нам достанется. А он, золотая киса, домик хороший поставит, приберет на богатую руку, всем разукрасит, души ведь не чаёт он в дочке... Скажет матушка спасибо, поблагодарит меня за пользу святой обители».

Недели через полторы получила Макрина ответ от игуменьи. С великой охотой брала Манефа Дуню в обучение и обещалась для ее домика отвести место возле своих келий. Насчет лесу писала, что по соседству от Комарова, верстах в пяти, в одной деревне у мужичка его запасено довольно, можно по сходной цене купить, а лес хороший, сосновый, крупный, вылежался хорошо – сухой. Одно только не знает она, как строить домик. Галки, что пришли на Керженец плотничать, теперь все при местах, подряженной работы будет им вплоть до осени; а иных плотников приискать теперь и за дорогую плату никак невозможно.

– Не матушкина беда, справимся без нее, – молвил Марко Данилыч, когда Макрина прочитала ему Манефино письмо. – Плотников я пошлю в Комаров. Отписать только надо, чтобы тот лес, коли хорош, тотчас бы купили и на место перевезли. Что будет стоить – сочтемся, завтра же пошлю рублей с тысячу впредь до расчета. Зачинала бы только матушка дело скорей. Надо дом ставить пятистенный, – немного помолчав, примолвил Марко Данилыч. – В передней три либо четыре горницы для Дунюшки да для Дарьи Сергевны, в задней работнице горенку да стряпушую.

– Стряпущую-то, пожалуй, и не надо, – молвила Макрина, – кушанье будет им от обители, из матушкиной кельи станут приносить, а не то, если в угодку, с чапуринскими девицами станет обедать и ужинать. Поваднее так-то будет, они ж ей погодки⁴⁷, ровесницы – подружками будут.

– Этого, матушка, нельзя, – возразил Смолокуров. – Ведь у вас ни говядинки, ни курочки не полагается, а на рыбе на одной Дунюшку держать я не стану. Она ведь мирская, иночества ей на себя не вздевать – зачем же отвыкать ей от мясного? В положенные дни пушай ее мясное кушает на здоровье... Как это у вас? Дозволяется?

– Конечно, дозволяется, Марко Данилыч, – поспешила ответить Макрина. – И чапуринские девицы без курочки аль без гуська за обед в скоромные дни не садятся. Особо готовят им в матушкиной стряпущей. Вот насчет говядины али свинины, насчет, значит, всякого – этого до сей поры у нас не водилось... Потому, знаете, живем на виду, от недобрых людей клеветы могут пойти по миру – говядину, дескать, едят у Манефиных, скоромничают. Ради соблазна не допускается... Да ваша дочка ина статья – матушка Манефа разрешит ей на всеядение... Можно будет когда и говядинки...

– Ладно, хорошо, – молвил Марко Данилыч. – А вот еще, чай-от, я знаю, у вас пьют, а как насчет кофею? Дунюшка у меня кофей полюбила.

– Так что же? – спросила Макрина.

– Да ведь кто пьет кофей, тот ков на Христа строит, – усмехнулся Марко Данилыч. – Так, что ли, у вас говорится?

– Полноте, Марко Данилыч!.. Никогда от нас этого вы не услышите, – возразила Макрина. – Всяк знак на службу человеком, сказано...

– А табак?.. Ведь тоже знак?.. – прищутив глаза и усмехнувшись, спросил уставщицу Марко Данилыч.

– А что же табак? – сказала она. – И табак на пользу человекам. Ломота случится в ногах – ничем, как табаком, лучше не пользует. Обложи табачным листом больну ногу, облегчение получишь немалое... Опять же мух изводить чего лучше, как табаком? Червяк вредный на овощ нападет, настой табаку да спрысни – как рукой снимет... Вот курить да нюхать – грех, потому что противу естества... Естеством и Божьим законом носу питания не положено, такожде и дымом питания не положено, а на полезную потребу отчего ж табак не употреблять – Божье создание, все едино, как и другие травы и злаки.

– А насчет картофелю как? – спросил Смолокуров. – У меня Дунюшка большая до него охотница.

– Это гулена-то, гульба-то⁴⁸, – молвила Макрина. – Да у нас по всем обителям на общу трапезу ее составляют. Вкушать ее ни за малый грех не поставляем, все едино что морковь али свекла, плод дает в земле, во своем корню. У нас у самих на огородах садят гулену-то. По другим обителям больше с торгу ее покупают, а у нас садят.

– Ладно, хорошо, – довольным голосом сказал Марко Данилыч. – А как насчет служеб?.. Которы девицы у вас обучаются, в часовню-то ходят ли?

– Как же не ходить? Ходят, без того нельзя, – ответила Макрина.

Марко Данилыч поморщился.

– Неужто за все службы? – спросил он. – Ведь у вас они долгие, опять же к утрени подымаются у вас раным-ранехонько.

– Зачем же живущим девицам за всякую службу ходить? Не инокини они, не певчи белицы, – сказала Макрина.

– По воскресеньям бы часы только стояла, а к утрени ходила бы разве только на большие праздники – а то ее отнюдь не неволить: ребенок еще, – молвил Марко Данилыч.

⁴⁷ Одного возраста.

⁴⁸ Так зовут за Волгой картофель.

– Так у нас и делается, Марко Данилыч, так у нас и водится, – сказала Макрина. – Вот чапуринские – вздумают, пойдут в часовню, не вздумают – в келье сидят, – никто не неволит их.

– А насчет одежи? – спросил Смолокуров. – Неужли Дунюшке черное вздеть на себя?

– Зачем же это, Марко Данилыч?.. Что она за инокиня? У нас и белицы, как сами видите, цветны передники да цветны платочки носят на головах. А вашей дочке и сарафанчики цветные можно пошить. Одного только для живущих девиц у нас не полагается – платица бы немецким покроем не шили да головку бы завсегда покровенну имели, хоть бы маленьким платочком повязывались, потому что так по Писанию. Апостол-от Павел женскому полу повелел главу покровенну имети... А косы с лентами – можно. Еще перстеньков да колечек на перстках не носить. На этот счет у нас строго.

– Если все так, так, по мне, ничего, – молвил Марко Данилыч. – А как насчет обучения? Это и для Дуни, и для меня самое первое дело.

– Насчет обучения вот как у нас дело пойдет, – сказала Макрина. – Конечно, никто бы так не обучил Дунюшку, как если бы сама матушка взялась за нее, потому что учительнее нашей матушки по всему Керженцу нет, да и по другим местам нашего благочестия едва ли где такая сыщется. Однако ж самой матушке тем делом обязать себя никак невозможно. И немощна бывает и забот да хлопот много – обителью-то править ведь не легкое дело, Марко Данилыч. Опять же переписка у нее большая и все... Невозможно, никак невозможно. Чапуринские девицы родные племянницы ей по плоти, кажись бы своя кровь, и от них отступилась, сердечная, мне препоручила их обучать... Конечно, под ее надзором и руководством обучаю... Рукодельям старшие девицы обучат Дуню, а самое-то нужное, самое-то главное обучение от самой матушки пойдет. Каждый Божий день девицы вечером чай кушать к ней собираются, и тут она поучает их, как надо жить по добру да по правде, по евангельским, значит, заповедям да по уставам преподобных отец... Таково учительно говорит она с ними, Марко Данилыч, что не токма молодым девицам, и нам, старым инокиням, очень пользительно для души послушать ее наставлений... И все так кротко да любовно, поучительно... Для выучки, коли я в угоду вам буду, так я, а не то и, опричь меня, другие старицы найдутся... Божественным книгам обучим, и гражданской грамоте, и писать – и всему, что следует хорошей девице. В этом, сударь, будьте спокойны.

– Да вы, пожалуй, на чернецкую стать обучите ее? – молвил Марко Данилыч. – Запугаете... Вон у нас мастерица есть, Терентыха: у той все турлы-мурлы, да антихрист, да вся супротивная сила.

– Как это возможно, Марко Данилыч?.. – возразила Макрина. – Не в инокини Дунюшку готовить станем, зачем же ее на чернецкую стать обучать? Носила бы только в сердце страх Божий, да опасно хранила бы себя от мирских соблазнов... К родителю была бы почтительна, любовь бы имела к вам нелицемерную, повиновалась бы вам по бозе во всем, старость бы вашу, когда ее достигнете, чтילה, немощь бы вашу и всякую скорбь от всея души понесла б на себе. Душевную бы чистоту хранила и бесстрастие телесное, от злых бы и плотских отлучалась, стыднем бы себя украшала, в нечистых беседах не беседовала, а пошлет Господь судьбу – делала бы супругу все ко благожитию, чад воспитала бы во благочестии, о доме пеклась бы всячески, простирала бы руце своя на вся полезная, милость бы простирала к бедному и убогому и тем возвеселила бы дни своего сожителя и лета бы его миром исполнила... Вот чему у нас мирских девиц обучают.

– Это все добро, все хорошо, все по-Божьему, – молвил Марко Данилыч. – Насчет родителя-то больше твердите, чтоб во всем почитала его. Она у меня девочка смышленная, притом же мягкосердая – вся в мать покойницу... Обучите ее, воспитайте мою голубоньку – сорицею воздам, ничего не пожалею. Доброту-то ее, доброту сохраните, в мать бы была... Ох, не знала ты, мать Макрина, моей Оленушки!.. Ангел Божий была во плоти!.. Дунюшка-то вся в нее, сохраните же ее, соблюдайте!.. По гроб жизни благодарен останусь...

* * *

По лету Дунюшке домик в Манефиной обители поставили и, как надо, по-богатому, отделали его. От Макарья Марко Данилыч на убранство его всего навез; и обоев, и зеркал, и столов, и стульев, а все красного да орехового дерева, посуды медной, хрустальной, фарфоровой и всякой всячины для домашнего обихода куплено было множество. Все было хорошее, ценное. Поварчивала мать Манефа на Смолокурова, зачем, дескать, столь дорогие вещи покупаешь, но Марко Данилыч отвечал: «Нельзя же Дуню кой-как устроить, всем ведомы мои достатки, все знают, что она у меня одна-единственная дочь, недобрые, позорные слухи могут разнестись про меня по купечеству, ежели на дочь поскуплюсь я. Вред, скажут, этакой, родной дочери денег пожалел, устроил в скиту ее, ровно сироту бесприданную. Такие слухи, матушка, могут мне и кредит подорвать... Нет уж, я лучше все широкой рукой справлю, – чего и не надо, пусть будет надобно... Не перечьте вы мне, Христа ради, отучится Дуня, вам же все останется, – не везти же мне тогда добро из обители...» И на то поворчала Манефа, хоть и держала на уме: «Подай-ка, Господи, побольше таких благодетелей...» И сдержал свое обещанье Марко Данилыч: когда взял обученную дочку из обители – все покинул матери Манефе с сестрами. Тогда Манефа посуду и всякое убранство к себе забрала, Фленушкины горницы скрасила, а иное что и к себе в келью взяла, домик отдала на житье матери Макрине за ее усердие. И когда года через полтора Макрина померла, Манефа передала тот домик матери Таифе, казначее обительской.

Перед Воздвиженьем поселилась в своем новеньком домике маленькая хозяйка с «тетей» Дарьей Сергевной. На новоселье сам Марко Данилыч привез их и больше двух недель прогостил в обители – все-то жалко было ему расставаться с Дунюшкой... Глядел сумрачно, невесело, мало с кем говорил, тяжкая кручина одолевала сердце его. Пришла, наконец, пора расставанья, насилу оторвался Марко Данилыч от дочки, а уехавши, миновал свой город и с последним пароходом сплыл в Астрахань, не глядеть бы только на опустелый без Дунюшки дом. И всю осень, всю зиму до самой весны провел он на чужой стороне.

Все обительские полюбили Дуню Смолокурову, все – от матушки Манефы до последней трудницы. А полюбили ее не только в чаянии богатых подарков от Марка Данилыча, а за то больше, что Дуня была такая добрая, такая умница, такая до всех ласковая. Мать Макрина по книгам учила ее, иногда Таифа место ее заступала, на досуге и сама Манефа поучала девочку, как жить по-доброму да по-хорошему... Рукодельным работам Фленушка с Марыюшкой обучали Дуню наряду с чапуринскими девицами: то у нее в горницах собирались, то в горницах Фленушки. Дарья Сергевна на шаг не отпускала от себя Дуни – в часовне ли, на гулянках ли, на ученье ли, не отойдет, бывало, от нее. Никто из девиц, сама даже Фленушка, не смели при ней лишних слов говорить, оттого, выросши в обители, Дуня многого не знала, о чем узнали дочери Патапа Максимыча. Ни соловьев в перелесок слушать вместе с приезжими купчиками не хаживала, ни разговоров нескромных не слыхивала, ни проказ девичьих не видывала. Ходила гулять и в лесок, и на Каменный Вражек, но вместе с Дарьей Сергевной, каждый почти раз сама Манефа ходила с Дуней погулять. Здоровьем тогда еще богата была мать игуменьи. Из всех девиц Дуня больше свыкла с Груней, богоданной дочкой Чапурина. И хоть та лет на пять была постарше ее, но дружба завязалась между ними неразрывная. Дарья Сергевна тому не препятствовала, видя, как скромна, как добра, чиста и в мыслях своих непорочна тихая, нежная, всегда немножко грустная, всегда к чуждому горю чуткая богоданная дочка Патапа Максимыча. Груня имела большое влияние на подраставшую девочку, ее да Дарью Сергевну надо было Дуне благодарить за то, что, проживши семь лет в Манефиной обители, она всецело сохранила чистоту душевных помыслов и внедрила в сердце своем стремление к добру и правде, неодолимое отвращение ко всему лживому, злему, порочному.

Раз по пяти, иной год и чаще наезжал в Комаров Марко Данилыч на дочку поглядеть и каждый раз гащивал у нее недели по две и по три. Строя домик, нарочно сбоку прирубил он две небольшие для своего приезда горенки. Каждый приезд Смолокурова праздником бывал не для одной Манефиной обители, но для всего скита Комаровского. Навезет, бывало, он Дуне всяких гостинцев, а как побольше выросла, целыми кусками ситцев, холстинок, платков, синих кумачей на сарафаны, и все это Дуня, бывало, ото всех потихоньку, раздаст по обителям и «сиротам», да кроме того, самым бедным из них выпросит денег у отца на раздачу... Марко Данилыч сам никому ничего не давал, опричь рыбных и разных других запасов, что присылал к матушке Манефе, Дуня всем раздавала, от Дуни все подарки шли; за то и блажили ее ровно ангела небесного. За год до того, как Дуне домой под отеческий кров надо было возвратиться, еще новый домик в Манефиной обители построился, а убран был и разукрашен, пожалуй, лучше Дунина домика – Марья Гавриловна жить в Комаров из Москвы переехала. Марко Данилыч с богатой вдовой познакомился, просил ее не оставить Дунюшки. Ото всей души Марья Гавриловна полюбила девочку, чуть не каждый день проводила с нею по нескольку часов; от Марьи Гавриловны научилась Дуня тому обращенью, какое по хорошим купеческим домам водится.

Глава четвертая

Семь лет выжила в скиту Дуня и, когда воротилась в родительский дом, не узнала его. Поджидая дочку и зная, что года через два, через три женихи станут свататься, Марко Данилыч весь дом переделал и убрал его с невиданной в том городке роскошью – хоть в самой Москве любому миллионщику такой дом завести. Но, кроме отделанных под мрамор стен залы, кроме саженных зеркал, штофных занавес, бронзы и мелкоштучного паркета, еще одна новость появилась в доме Смолокурова. Живя в мрачном одиночестве, Марко Данилыч стал книги читать и помаленьку пристрастился к ним. Стал собирать сначала только печатанные при первых пяти патриархах да скорописьменные, а потом и новые, гражданские. Когда воротилась Дуня и увидела шкапы со множеством книг, весело кивнула отцу миловидной головкой, когда он, указав ей на них, сказал: «Читай, Дунюшка, на досуге, тут есть чего почитать. Хоть ты теперь у меня и обученная, а все-таки храни старую нашу пословицу: «Век живи, век учись»».

Возвратясь на старое пепелище, довольна была и Дарья Сергевна. В семь лет злоречие кумушек стихло и позабылось давно, теперь же, когда христовой невесте стало уж под сорок и прежняя красота сошла с лица, новые сплетки заводить даже благородной вдовице Ольге Панфиловне было не с руки, пожалуй, еще никто не поверит, пожалуй, еще насмеется кто-нибудь в глаза вестовщице. А это было бы ей пуще всего. По-прежнему приняла на свои руки Дарья Сергевна хозяйство в доме Марка Данилыча и по его просьбе стала понемногу и Дуню приучать к домоводству.

Жизнь Смолокуровых шла тихо, однообразно. В Манефиной обители если не живей, то гораздо шумней и веселее было, чем в полном роскоши и богатстве доме Смолокурова. Там у Дуни были девицы-ровесницы, там умная, добрая, приветливая Марья Гавриловна, ласковая Манефа, инокини, белицы, все надышаться не могли на Дунюшку, все на руках ее носили. Дома совсем не то: в немногих купеческих семействах уездного городка ни одной девушки не было, чтобы подходила она к Дуне по возрасту, из женщин редкие даже грамоте знали; дворянские дома были для Дуни недоступны – в то время не только дворяне еще, приказный даже люд, уездные чиновники, смотрели свысока на купцов и никак не хотели равнять себя даже с теми, у кого оборотов бывало на сотни тысяч. С мещанскими девицами нельзя было водиться Дуне: очень вольный, сойдись с ними – нехорошая слава пойдет... Все одна да одна, только и свету в окошке, что Дарья Сергевна. И вышло так, что, воротясь из монастыря, обе точно в затвор попали. Принялась Дуня за отцовские книги. Старые черные кожаные переплеты старинных книг и в обители пригляделись ей, принялась она за новые, за мирские. Путешествия, описанья разных городов и стран, сказанья о временах минувших читала она и перечитывала. Другого рода книг не было в шкапах Марка Данилыча, другие считал он либо «богоотводными», либо «потешными». Чтение книг раскрыло Дуне новый, неведомый дотоле ей мир, целые вечера, бывало, просиживала она над книгами, так что отец начинал уж немножко хмуриться на дочку, глаз бы не попортила либо сама, борони Господи, не захворала.

Шестнадцати лет еще не было Дуне, когда воротилась она из обители, а досужие свахи тотчас одна за другой стали подъезжать к Марку Данилычу – дом богатый, невеста одна дочь у отца, – кому не охота Дунюшку в жены себе взять. Сунулись было свахи с купеческими сыновьями из того городка, где жили Смолокуровы, но всем отказ, как шест, был готов. Сына городского головы сватали – и тому тот же ответ.

Сын дворянского предводителя, часто гуляя по бульвару, под которым в полугоре стоял дом Смолокурова, частенько поглядывал в подзорную трубку на Дуню, когда гуляла она по садику либо сидела на балконе с книжкой в руках. Влюбился в нее через трубку... Не мудрое дело, – у его отца именье на волоске висело, а Дуня – наследница первого богача по окрестности, миллионщика. Свах не засылали, сам предводитель к Марку Данилычу приехал сына

посватать. Думал он, что Смолокуров вспрыгнет до потолка от радости, вышло не то: Марко Данилыч наотрез отказал ему, говоря, что дочь у него еще молода, про женихов ей рано и думать, да если бы была и постарше, так он бы ее за дворянина не выдал, а только за своего брата купца, с хорошим капиталом. После того никто из помещиков не захотел венчаться с «мужичкой», хоть каждому хотелось породниться со Смолокуровым ради поправки обстоятельств. Стали свататься купцы-женихи из больших городов, из самой даже Москвы, но Марко Данилыч всем говорил, что Дуня еще не перестарок, а родительский дом еще не надоел ей. Когда же минуло Дуне восемнадцать лет, отец подарил ей обручальное колечко, примолвив, чтоб она, когда придет время, выбирала жениха по мыслям, по своей воле, а он замужеством ее нудить никогда не станет. Говорено это было Великим постом, и после того Смолокуров ни разу вида не подавал, намеку никакого не сделал насчет этого, сам же с собой такую думу раздумывал: «Где ж в нашем городе Дуне судьбу найти?.. Людей здесь не видать, да и видеть-то, признаться, некого, мало-мальски подходящих нет». Придумал свозить ее к Макарью на ярманку, а оттуда в Ярославль на пароходе прокатиться. Москву после того показать. А до тех пор вздумалось ему свозить Дуню на Ветлугу, в село Воскресенское, к сроднику ее Лещову. Сам-от каждый год он к нему к Нефедову дню на именины ездил. У Лещовых гостей было много, но Дуня никого даже не заметила, но, бывши с отцом в Петров день на старом своем пепелище, в обители матушки Манефы, казанского купчика Петра Степаныча Самоквасова маленько заприметила.

К первому Спасу Марко Данилыч Дуню к Макарью повез, поехала с ними и Дарья Сергевна. Оптовый торг рыбой прямо с судов ведут: потому и не было у Смолокурова в ярманке лавки ни своей, ни наемной, каждый год жилал он на которой-нибудь из баржей, каюты хорошие были в баржах-то устроены. Но нельзя же Дуню на баржу везти, всякий непривычный человек за полверсты от рыбного каравана нос затыкает, уж не хорошо больно попахивает. Поместились в гостинице, на городской стороне, а не на ярманке, там уж очень шумно и беспокойно было.

Устроившись на квартире, Марко Данилыч поехал с Дуней на ярманку. Как ни уговаривал он Дарью Сергевну ехать вместе «под Главный дом», она не согласилась.

Обширное здание Главного дома стоит в самой середине ярманки, под арками его устроены небольшие лавочки с блестящими, быющими в глаза товарами. Тут до самых, невысоких, впрочем, сводов развешаны персидские ковры, закавказские шелковые ткани, роскошные бухарские халаты, кашемировые шали, разложены екатеринбургские работы из малахита, из топазов, аквамаринов, аметистов, бронза, хрусталь, мраморные изваяния. При ярком вечернем освещенье все это горит, блестит, сверкает и переливается радужными лучами. В середине на дощатом возвышении и музыка играет, кругом кишит разнообразная толпа. Теснятся тут и разряженные в пух и прах губернские щеголихи, и дородные купцы с золотыми медалями на шее, и глубокомысленные земские деятели с толстыми супругами под руку, и вертлявые, тоненькие молодые чиновники судебного ведомства, и гордо посматривающие вокруг себя пехотные офицеры. Вот казанские татары в шелковых халатах, с золотыми тюбетейками на бритых головах, важно похаживают с чернозубыми женами, прикрывшими белыми флеровыми чадрами густо набеленные лица; вот длинноносые армяне в высоких бараньих шапках, с патронташами на чекменях⁴⁹ и кинжалами на кожаных с серебряными насечками поясах; вот евреи в засаленных донельзя длиннополых сюртуках, с резко очертанными, своеобразными обличьями; молча, как будто лениво похаживают они, осторожно помахивая тоненькими тросточками; вот расхаживают задумчивые, сдержанные англичане, и возле них трещат и громко хохочут французы с наполеоновскими бородками; вот торжественно-тихо двигаются гладко выбритые, широколицые саратовские немцы; и неподвижно стоят, разинув рты на невиданные диковинки, деревен-

⁴⁹ Чекмень – короткий полукафтан с перехватом.

ские молодницы в московских ситцевых сарафанах с разноцветными шерстяными платками на головах... Разноязычный говор чуть не заглушает музыку, когда не гремит она трескучими трубами, оглушающими литаврами и бьющими дробь барабанами... Ошеломили Дуню и шум, и блеск, и пестрая, тесная толпа. Много людей, ни одного знакомого лица, и там и тут говорят непонятно, не по-русски, везде суетливость, тревожность. Мутится у Дуни в очах, сердце так и стучит, голова кружится, стало ей страшно; тихонько просит она отца удалиться от этого шума и гама. Но не слышит Марко Данилыч дочерних речей, встретив знакомого, пустился с ним в разговоры про цены на икру да на сушь⁵⁰.

Вдруг перед Дуней Петр Степаныч Самоквасов. Поздоровался он с Смолокуровым. Марко Данилыч рад нечаянной встрече. Кончив с знакомцем разговор о судаче, заботливо стал он расспрашивать Самоквасова, давно ли он на ярманке, откуда приехал и долго ль останется у Макарья. Петр Степаныч почтительно и с едва заметной радостью во взоре поклонился Дуне. Просияла она, улыбнулась ясной, открытой улыбкой, потом вспыхнула и опустила синенькие глазки. Заметил Петр Степаныч и улыбку, и разлившийся по лицу румянец, и вдруг стало ему с чего-то весело. Но осторожно и сдержанно выражал он радость, вдруг охватившую душу его. Нежно поглядывая на Дунюшку, рассказывал он Марку Данилычу, что приехал уж с неделю и пробудет на ярманке до флагов⁵¹, что он, после того как виделись на празднике у Манефы, дома в Казани еще не бывал, что поехал тогда по делам в Ярославль да в Москву, там вздумалось ему прокатиться по новой еще тогда железной дороге, сел, поехал, попал в Петербург, да там и застрял на целый месяц.

– А вы давно ли здесь, Марко Данилыч? – спросил Петр Степаныч, кончив рассказ про свою петербургскую поездку.

– С сегодняшним парходом, – ответил Марко Данилыч. – Ярманку дочке хочу показать, – прибавил он, улыбаясь, и с любовью поглядел на Дуню.

– А вы еще никогда не бывали на ярманке? В первый раз? – спросил Самоквасов, быстро повернув голову и взглянув Дуне в лицо.

– В первый раз, – проговорила она и потупилась.

– Что ж, понравилась вам? – опять спросил Петр Степаныч, обливая взором разгоревшееся личико девушки.

– Шумно очень, – ответила она.

– А вы не любите шума? – продолжал он спрашивать.

– Не люблю, – потупив глаза, сказала Дуня.

– Дело непривычное, – улыбаясь на дочь, молвил Марко Данилыч. – Людей-то мало еще видала. Город наш махонький да тихой, на улицах ни души, травой поросли они. Где же Дунюшке было людей видеть?.. Да ничего, обглядится, попривыкнет маленько. Согрешить хочу, в цирк повезу, по театрам поедem.

– Нешто грех? – засмеявшись, спросил Самоквасов.

– А нешто спасенье? – засмеялся Смолокуров.

Расстались. На прощанье узнали друг от друга, что остановились в одной гостинице.

– Значит, соседи, видеться будем. Милости просим нас посетить, чайку когда покушать, – с теплым радушием молвил Самоквасову Марко Данилыч.

– С великим моим удовольствием, – отозвался Петр Степаныч. Скромно, вежливо поклонился он сначала отцу, потом дочери и скрылся в толпе.

– Поедем, тятенька, домой, – сказала Дуня отцу тотчас по уходе Самоквасова.

– Рано еще, всего восьмой час, – молвил Марко Данилыч. – Погуляем... Может, еще кого из знакомых повстречаем.

⁵⁰ Сушеная на солнце рыба.

⁵¹ Спуск ярмарочных флагов 25 августа.

– Что-то голову ломит... С дороги, должно быть... – сказала Дуня.

– Какое с дороги? – сказал Смолокуров. – Ехали недолго, шести часов не ехали, не трясло, не било, ни дождем не мочило... Ты же все лежала на диванчике – с чего бы, кажись, головке разболеться?.. Не продуло ли разве тебя, когда наверх ты выходила?

– Тепло была одета я, – ответила Дуня.

– Это с непривычки. Вишь, народу-то что!.. А музыка-то? Не слыхивала такой? Почище нашего органа? А? Ничего, привыкай, привыкай, Дунюшка, не все же в четырех стенах сидеть, придется и выпрыгнуть из родительского гнездышка.

Не ответила Дуня, но крепко прижалась к отцу. В то время толпа напирала, и прямо перед Дуней стал высокий, чуть не в косую сажень армянин... Устремил он на нее тупоумный сладострастный взор и от восторга причмокивал даже губами. Дрогнула Дуня – слыхала она, что армяне у Макарья молоденьких девушек крадут. Потому и прижалась к отцу. Протеснился Марко Данилыч в сторону, стал у прилавка, где были разложены екатеринбургские вещи.

– Выбери, что по мысли придется, – сказал он, становясь рядом с дочерью.

Продавец тотчас стал снимать с полок замшевые коробочки, сафьяновые укладочки, маленькие ларчики и раскладывать их перед Дуней. Но блестящие, играющие разноцветными лучами самоцветные камни не занимали ее. Дурно ей было, на простор хотелось, а восточный человек не отходит, как вкопанный сбоку прилавка стоит и не сводит жадных глаз с Дуни, а тут еще какой-то офицер с наглым видом уставился глядеть на нее. Робеет Дуня, не глядит на разложенные перед ней вещи и почти сквозь слезы просит отца: «Поедем домой, пожалуйста, поедем!» Согласился Смолокуров, поехали.

Когда воротились, Дарья Сергевна встревожилась, взглянув на названую племянницу... На себя была она не похожа – лицо разгорелось, нижняя губка дрожала. Старалась Дуня успокоить «тетю», делала над собой усилие, чтоб не выказать волнения, принужденно улыбалась, но волнение выступало на лице, дрожащий блеск вспыхивал в синеньких глазках, и невольная слезинка сверкала в темных, длинных ресницах. Перепугался и Марко Данилыч, никогда не видывал он Дуню такую, сама Дуня удивилась, взглянув на себя в зеркало. Засуетились и отец, и Дарья Сергевна... Несмотря на уверенья Дуни, что никакой боли она не чувствует, что только в духоте у нее голова закружилась, Марко Данилыч хотел было за лекарем посылать, но Дарья Сергевна уговорила оставить больную в покое до утра, а там посмотреть, что надо будет делать. Не очень жаловала она лекарей, не хотелось ей, чтоб лечили они Дунюшку.

– Прохватило, должно быть, на пароходе, – вполголоса говорил встревоженный Марко Данилыч Дарье Сергевне, когда Дуня пошла раздеваться. – Сиверко было, как она наверх-от выходила.

– Бог милостив, пройдет, – успокаивала его сама беспокойная Дарья Сергевна. – Горяченьким на ночь ее напою, горчишник приложу. Нельзя же иной раз не прихворнуть.

– Ох, боюсь я, Дарья Сергевна! Ну как, сохрани Господи!.. Что тогда?.. – с отчаяньем говорил Смолокуров, поникнув головой и ходя взад и вперед по комнате.

– Полноте, Марко Данилыч, ничего не видя, убивать себя. Как это не стыдно! А еще мужчина! – уговаривала его Дарья Сергевна. – На таком многолюдстве она еще не бывала, что мудреного, что головка заболела? Бог милостив! Вот разве что? – быстро сказала Дарья Сергевна.

– Что? – вдруг остановясь и зорко глядя на нее, спросил Смолокуров.

– Не сглазил ли ее кто? Мудреного тут нет. Народу много, а на нее, голубоньку, есть на что посмотреть, – молвила Дарья Сергевна. – Спрысну ее через уголек – Бог даст, полегчает... Ложитесь со Христом, Марко Данилыч; утро вечера мудренее... А я, что надо, сделаю над ней.

Смолокуров вошел в комнату дочери проститься на сон грядущий. Как ни уверяла его Дуня, что ей лучше, что голова у ней больше не болит, что совсем она успокоилась, не верил он, и, когда, прощаясь, поцеловал ее в лоб, крупная слеза капнула на лицо Дуни.

– Тятенька! – вскрикнула она. – Что ты?

– Ничего, ничего, моя дорогая, – подавляя волнение, сказал Смолокуров, потом, перекрестя дочь, быстро вышел из комнаты.

Оставшись с Дуней, Дарья Сергевна раздела ее и уложила в постель. В соседней горнице с молитвой налила она в полоскательную чашку чистой воды на уголь, на соль, на печинку⁵² – нарочно на всякий случай ее с собой захватила, – взяла в рот той воды и, войдя к Дуне, невзначай sprysнула ее, а потом оставленную водой принялась умывать ей лицо, шепотом приговаривая:

– От стрешного, поперечного, от лихого человека помилуй, Господи, рабу свою Евдокею! От притки, от приткиной матери, от черного человека, от рыжего, от черемного, завидливого, урочливого, прикошливого, от серого глаза, от карего глаза, от синего глаза, от черного глаза!.. Как заря-Амнитария исходила и потухала, так бы из рабы Божией Евдокеи всякие недуги напущенные исходили и потухали. Как из булату, из синего укладу камнем огонь выбивает, так бы из рабы Божией Евдокеи все недуги и порчи вышибало и выбивало... Притка ты, притка, приткина мать, бблести, уроки, призор очес; подите от рабы Божией Евдокеи во темные леса, на сухй дерева, где народ не ходит, где скот не бродит, где птица не летает, где зверье не рыщет... Соломонида бабушка ^[1] Христоправушка, Христа мыла, правила, нам окатышки оставила!.. Запираю приговор тридевяти тремя замками, тридевяти тремя ключами... Слово мое крепко!.. Аминь.

И, взяв чистую сорочку, подала ее Дуне утереться изнанкой.

Затем, надев чистую сорочку и напоив девушку липовым цветом с малиной, укутала ее с ног до головы и велела тотчас глаза закрыть. Сама, не раздеваясь, возле Дуниной кровати прилегла на диване.

Стихло в гостинице, лишь изредка слышится где-то в дальних коридорах глухой топот по чугунному полу запоздавшего постояльца да либо зазвенит замок отпираемой двери... Прошумело на улице и тотчас стихло, – то перед разводкой моста через Оку возвращались с ярманки последние горожане... Тишина ничем не нарушается, разве где в соседних квартирах чуть слышно раздается храп, либо кто-нибудь впросонках промычит, пробормочет что-то и затем тотчас же стихнет.

На соборной колокольне полночь пробило, пробило час, два... Дуня не спит... Сжавшись под одеялом, лежит она недвижимо, боясь потревожить чуткий сон заботливой Дарьи Сергевны... Вспоминает, что видела в тот день. В первый раз еще на пароходе она ехала, в первый раз и ярманку увидала. Виденное и слышанное одно за другим оживает в ее памяти.

Вот раннее свежее утро, со светом вместе поднялись Смолокуровы в ожиданье бегущего сверху парохода. Небо чисто и ясно, утренняя заря румянцем разливается по небу и, отражаясь в тихих зеркальных водах Оки, обливает их розовым сияньем. Вдали за песчаной косой засвистел пароход, стали спешно укладывать на долгушу чемоданы, сами в коляске съехали к пристани. Все занимает Дуню: и необычное раннее вставанье, и свежесть июльского утра, и кроткое сиянье зари... Вот паром и несколько лодок стоят у пристани, наполняются те лодки молодыцами и девушками с подойниками, крытыми чистыми тряпицами. Идут меж ними шуточные перебранки и веселые разговоры, порой вырываются громкие, визгливые крики. Паром отвалил, за ним и причаленные к нему лодочки поплыли на луговой берег. Ни при городе, ни при слободе, что возле него длинным поселком вытянулась по берегу, ни пяди нет выгонной земли – луга за рекой. Только сольет река с поймы, скот перевозят обонпол⁵³, там и пасется он до поздней осени... Оттого каждый день на утренней заре и перед солнечным закатом бабы да девки ездят за Оку коровушек доить. С детства о том Дуня слыхивала, но доселе еще не видала

⁵² Кусочек глины, выковыренный из связи печных кирпичей.

⁵³ На ту сторону реки.

переезда через реку доильщиц... Жалко ей стало их, и вот теперь в ночной тиши про их труды она думает... Хорошо было ей: ясно, тихо, тепло... А каково бедняжкам в дождь, непогоду, каково им тогда, как по реке ветры разыграются и не только мелкие лодки, даже паром волнами, как мячик, кверху подкидывает... Как помочь, как пособить?... Не придумает Дуня...

С оглушительным свистом подбежал пароход. Причалил, забирает охотников ехать. Робко вступает Дуня на палубу, дрожащей поступью идет за отцом в уютную каюту, садится у окна, глядит на маленький свой городок, что причудливо раскинулся по берегу, полугорьям и на верху высокой кручи... Опять пронзительно свистнуло, Дуня вздрогнула невольно... Раз, два, зашумели колеса, побежал пароход по желто-синему лону Оки... Яркое, приветно сияющее солнце поднимается над горами правого берега. Длинной-предлинной полосой растянутые на вос-точной стороне неба облака серебром засверкали от всплывшего под ними светила, хлынули с небесной высоты золотые лучи и подернули чуть заметную рябь речного лона сверкающими переливами яркого света. Вверху небосклона появились ясные, сероватые облака с нежно-серебристыми краями и над сверкающей золотистыми огнями и багровым отблеском рекой стали недвижно в бездонной лазури...

Шумит, бежит пароход, то и дело меняются виды: высятся крутые горы, то покрытые темно-зеленым орешником, то обнаженные и прорезанные глубокими и далеко уходящими впадинами. Река извивается, и с каждым изгибом ее горы то подходят к воде и стоят над ней красно-бурыми стенами, то удаляются от реки, и от их подошвы широко и привольно раскидываются ярко-зеленые сочные покосы поемных лугов. Там и сям на венце гор чернеют ряды высоких бревенчатых изб, белеют сельские церкви, виднеются помещичьи усадьбы.

Шумит, бежит пароход... Вот на желтых, сыпучих песках обширные слободы сливаются в одно непрерывное селенье... Дома все большие двухэтажные, за ними дымятся заводы, а дальше в густом желто-сером тумане виднеются огромные кирпичные здания, над ними высятся церкви, часовни, минареты, китайские башенки... Реки больше не видать впереди – сплошь заставлена она несчетными рядами разнovidных судов... Направо по горам и по скалам раскинулись сады и здания большого старинного города.

Одно за другим вспоминается не могущей заснуть Дуне. Вспоминается теснота, шум и блеск, что испугали ее на ярманке. Все вспоминается – и пароход, и берега Оки, и бабы, переезжавшие за реку к коровушкам, – но почему-то все сливается с памятью о Петре Степаныче. Его образ то и дело перед душевными очами Дуни. То вдруг вышел он из береговых кустов, то перерезывает реку в легкой лодочке, то входит в ее каюту, то с яростью отталкивает армянина, когда тот нагнулся было к ней и, крепко обняв, хочет целовать ее... Вот он выводит ее из тесной толпы, ведет в какой-то сад, она оглядывается, а это их сад, вот ее грядки, вот ее цветочки, вот и раскрашенная узорчатая беседка, где каждый день сидит она с работой либо с книжкой в руках... Он зовет ее в беседку... Робко и медленно идет она на зов, но – не стало ни его, ни беседки, стоит прилавок с ящиками, аметистами, а тут и армянин с офицером... они хватают ее, куда-то тащат... Какая-то неведомая Дуне барыня, вся в черном, тощая, бледная, спешит к ней издали... Все кружится в глазах Дуни, все туманится, все кроется мраком, за ней гонятся какие-то чудовища с огненными глазами, чарующие огненные взоры черной барыни ровно насквозь пронизывают страдающую девушку, но вдали в слабо мерцающем свете – он. Хочет Дуня бежать к нему, но не может отделить ног от земли, точно приросли они, а черная барыня и страшные чудища ближе и ближе... и опять все кружится, опять все темнеет...

Сняв сапоги, в одних чулках Марко Данилыч всю ночь проходил взад и вперед по соседней горнице, чутко прислушиваясь к тяжелому, прерывистому дыханью дочери и при каждом малейшем шорохе заглядывая в щель неотворенной двери.

* * *

На другой день Дуня поздно поднялась с постели совсем здоровая. Сиял Марко Данилыч, обрадовалась и Дарья Сергевна.

– Говорила я, что сглазу, – разливая чай, сказала она. – Моя правда и вышла: вечер sprыснула ее да водицей с уголька умыла, и все как рукой сняло... Вот Дунюшка теперь у нас и веселенькая и головка не болит у ней.

Но Дуня вовсе не была веселенькою. Улыбалась, ласкалась она и к отцу и к названой тете, но нет-нет да вдруг и задумается, и не то тоской, не то заботой подернется миловидное ее личико. Замолчит, призадумается, но только на минуту. Потом вдруг будто очнется из забытья, вскинет лазурными очами на Марка Данилыча и улыбнется ему кроткой, ясной улыбкой.

– Что ж, Дунюшка, поедем, что ли, сегодня на ярманку? – спросил он, допивая пятый или шестой стакан чаю.

– Нет, тятя, зачем же? Лучше я с тетей посижу, – отвечала Дуня.

– С тетей-то и дома насиделась бы, – молвил Марко Данилыч. – Коль на месте сидеть, так незачем было и на ярманку ехать... Не на то привезена, чтоб взаперти сидеть. Людей надо смотреть, себя показывать.

– Что мне показывать себя? Узоры, что ли, на мне? – улыбнулась Дуня.

– Как зачем? – тоже улыбнулся Смолокуров. – Знали бы люди да ведали, какова у меня дочка выросла: не урод, не ряба, не хрома, не кривобокая.

– Чтой-то ты, тятенька? – зардевшись, молвила Дуня. – Нешто ты меня, ровно товар какой, привез на ярманку продавать?..

– А почему знать, что у нас впереди? – улыбнулся Марко Данилыч. – Думаешь, у Макарья девичьего товара не бывает? Много его в привозе... Каждый год со всех концов купецких девиц возят к Макарию невеститься.

Поникла Дуня головкой и, глубоко вздохнув, замолчала.

– Отовсюду купцы дочерей да племянниц сюда привозят, – шутливо продолжал Смолокуров. – И господа тоже; вот и я тебя привез... Товар у меня без обману, первый сорт!.. Глянька в зеркало – правду ль я говорю?..

Кто-то кашлянул в соседней горнице. Выглянул туда Марко Данилыч.

– Добро пожаловать, – весело сказал он. – А мы еще за чаем. С дороги, должно быть, долгонько, признаться, проспали... Милости просим, пожалуйте сюда!

И ввел Петра Степаныча в ту комнату, где Дуня с Дарьей Сергевной за чаем сидели.

Обе встали, поклонились. Дуня вспыхнула, но глаза просияли. Дарья Сергевна зорко на нее посмотрела.

– Садитесь-ка к столику, Дарья Сергевна, да чайку плесните дорогому гостю. Подвинька, Дунюшка, крендельки-то сюда и баранки сюда же. Аль, может быть, московского калача желаете? – ласково говорил Смолокуров, усаживая Петра Степаныча.

– Напрасно беспокоитесь, – отвечал Самоквасов, – я уж давно отпил.

– От чаю, сударь, не отказываются, – молвил Марко Данилыч, – особенно здесь, у Макарья. Здесь ведь самый главный чайный торг. Ну как дела? Расторговались ли?

– Да ведь я без дела здесь, Марко Данилыч, так попусту проживаю. Покамест не отделен, делов своих у меня нет, и за чужими напоследях что-то неохота и время-то терять.

– Не чужие, кажись бы, дела-то? – молвил Марко Данилыч.

– В Ярославле последнюю дядину порученность выполнил – такой у нас уговор был, – ответил Самоквасов.

– Раздел-от скоро ли? – немножко помолчав, спросил Марко Данилыч.

– Да вот после Макарья, – ответил Петр Степаныч. – Сведет дядя годовые счета, тогда и разделимся.

– Тимофей-от Гордеич приедет на ярманку?

– Ко второму Спасу, – нехотя ответил Петр Степаныч. – Нельзя ему не приехать, расчеты тоже надо свести, долги кой-какие собрать.

– Платежи-то, говорят, ноне будут тугоньки, – заметил Смолокуров.

– Толкуют, что не больно подходящие, – рассеянно отозвался Самоквасов.

– А покончивши с дяденькой, как располагаете?.. Рыбкой не займетесь ли? – с улыбкой спросил гостя Марко Данилыч.

– Не знаю еще, как вам сказать... Больно уж вы меня тогда напугали, в Комарове-то, – ответил Петр Степаныч. – Не совладать, кажись, с таким делом... Непривычно...

– Напрасно так говорите, – покачивая головой, сказал Смолокуров. – По нонешнему времени эта коммерция самая прибыльная – цены, что ни год, все выше да выше, особливо на икру. За границу, слышь, много ее пошло, потому и дорожает.

– Рыбы-то, сказывают, меньше стало, – заметил Петр Степаныч. – Переводится. Пароходы, что ли, ее, слышь, распугали.

– Как на это сказать? – раздумчиво отозвался Марко Данилыч. – Красной рыбы точно что меньше стало. От пароходов ли это, от другого ли чего – Бог ее знает. А частичковой не выловишь. От Царицына по воложкам да по ильменям⁵⁴ страсть ее что, а ниже Астрахани и того больше. У меня хоть на ватагах взять – ловы́ имеют большие, а разве с осетра аль с белужины главную пользу получаю? Не было бы частичку, все бы рыбное дело хоть брось. Первое дело судак, да еще вот бешенка пошла теперь в ход⁵⁵. Вечор справлялся, красной рыбы: осетра, белуги, севрюги, да икры с балыками всего-то сот на шесть тысяч на Гребновской наберется, а частичку больше трех миллионов.

– Все это так... Однако ж для меня все-таки рыбная часть не к руке, Марко Данилыч, – сказал Самоквасов. – Нет, как, Бог даст, отделюсь, так прежним торгом займусь. С чего прадедушка начинал, того и я придерживусь – салцом да кожей промышлять стану.

– Заводы-то как поделите? Ведь их в разны руки нельзя, – спросил Смолокуров.

– Как-нибудь да поделим, – молвил Петр Степаныч. – Я и на то, пожалуй, буду согласен, чтоб деньгами за свою часть в заводах получить... Новы бы тогда построил...

– В Казани же?

– Нет, по нонешним обстоятельствам, с салом сходней будет в Самаре устроиться... Кожей, пожалуй, можно на старом пепелище, – ответил Самоквасов.

– Давай Бог, давай Бог! – радушно промолвил Марко Данилыч. – А по-моему, чего бы лучше рыбная часть... Коммерция эта завсегда с барышом! Право.

– Нет уж увольте, Марко Данилыч, – с улыбкой ответил Петр Степаныч. – По моим обстоятельствам, это дело совсем не подходящее. Ни привычки нет, ни сноровки. Как всего, что по Волге плывет, не переймешь, так и торгов всех в одни руки не забереешь. Чего доброго, зачавши нового искать, старое, пожалуй, потеряешь. Что тогда будет хорошего?

– Ну, как знаете, – с небольшой досадой молвил Смолокуров и, встав со стула, к окну подошел.

– Батюшки светы! Никак Зиновий Алексеич? – вскрикнул он, чуть не до половины высунувшись из окошка. – Он и есть! Вот не чаял-то!

И, подойдя к двери, кликнул коридорного:

⁵⁴ **Воложка** – рукав Волги. **Ильмень** – озеро, образующееся от разлива внешней воды, с берегами, поросшими камышом, тростником и мокрой порослью. Озером на низовье Волги зовут только соленое, пресноводному имя – ильмень.

⁵⁵ Рыба *Cyprinus cultratus*, иначе «волжская сельдь». Ее множество. Прежде считали рыбу эту вредною, стали ловить не больше сорока лет тому назад.

– Слушай-ка, друг любезный, добеги, пожалуйста, до крыльца – тут сейчас купец подъехал, высокий такой, широкоплечий, синий сюртук, седа борода. Узнай, голубчик, не Доронин ли это Зиновий Алексеич. Пожалуйста, сбегай поскорее... Ежели Доронин, молви ему: Марко, мол, Данилыч Смолокуров зовет его к себе.

– Да они у нас в гостинице стоят, – сказал коридорный. – Другу неделю здесь проживают. В двадцать первом и в двадцать втором номере, от вас через три номера. С семейством приехали.

– Как? И с семейством? – вскрикнул Марко Данилыч. – И с женой, и с дочками?

– Так точно-с, и с супругой с ихней, и с двумя барышнями.

– Спасибо, любезный. На-ка тебе.

И, вынув из кармана какую-то мелочь, сунул ее коридорному; тот молча поклонился и тотчас спросил:

– Еще чего не потребуется ли вашему степенству?

– Нет, покамест, кажись, ничего... А вот что: зайди-ка ты к Зиновью-то Алексеичу, молви ему, что и я у вас же пристал.

– Слушаю-с, – сказал коридорный и полетел вон из горницы, ухарски размахивая руками.

– Вот тебе, Дунюшка, и подруги, – молвил Марко Данилыч, весело обращаясь к дочери. – Зиновий Алексеич великий мне приятель. Хозяюшка его, Татьяна Андревна, женщина стоящая, дочки распрекрасные, скромные, разумные, меньшая-то ровесница тебе никак будет, а большенькая годом либо двумя постарше... Вот ужо ознакомитесь... Сегодня же надо будет повидаться с ними.

– Какой это Доронин? – спросил Петр Степаныч. – Не из Волжска ли?

– Волжской, – подтвердил Смолокуров. – Пшеном торгует. А нешто вы его знаете?

– Большого знакомства не имел, а кой у кого встречались, – ответил Петр Степаныч. – Мельница еще у него на Иргизе, как раз возле немецких колоний.

– Самый он и есть, – молвил Марко Данилыч. – Зиновий Алексеич допреж и сам-от на той мельнице жил, да вот годов уж с пяток в городу дом себе поставил. Важный дом, настоящий дворец. А уж в доме – так чего-чего нет...

– С большим, значит, капиталом? – спросил Самоквасов.

– С порядочным, – кивнув вбок головой, слегка наморщив верхнюю губу, сказал Смолокуров. – По тамошним местам он будет из первых. До Сапожниковых далеко, а деньги тоже водятся. Это как-то они, человек с десятка, складчину было сделали да на складочны деньги стеариновый завод завели. Не пошло. Одни только пустые затеи. Другие-то, что с Зиновьем Алексеичем в долях были, хошь кошель через плечо вешай, а он ничего, ровно блоха его укусила.

– Много в Волжске-то таких богачей? – спросил Самоквасов.

– Есть, – ответил Марко Данилыч. – Супротив таких, каков был Злобин аль теперь Сапожников, нет, а вот хоть бы Зиновья Алексеича взять – человек состоятельный, по всей Волге известен.

Такие разговоры вели меж собой Марко Данилыч с Самоквасовым часа два, если не больше. Убрали чай, Дарья Сергевна куда-то вышла, Дуня села в сторонке и принялась вязать шелковый кошелек, изредка вскидывая глаза на Петра Степаныча. В мужские разговоры девице вступать не след, оттого она и молчала. Петр Степаныч и рад бы словечком перекинуться с ней, да тоже нельзя – не водится.

Зато его карие очи были речисты. Каждый украдкой брошенный на Дунюшку взор приводил ее в смущенье. От каждого взгляда сердце у ней ровно вздрагивало, а потом сладостно так трепетало.

Когда Петр Степаныч собрался домой, простившись со Смолокуровым, поклонился он Дуне. Та молча привстала, слегка наклонила головку и взглянула на него такими сияющими,

такими ясными очами, что глубоко вздохнулось добру мблодцу и голубем вострепенулось ретивое его сердце.

– Так вы заходите же к нам, когда удосужитесь... Посидим, покалякаем. Оченно будем рады, – провожая гостя, говорил Марко Данилыч. – По ярманке бы вместе когда погуляли, Зиновья Алексеича в компанию прихватили бы... Милости просим, мы люди простые, и жалуйте к нам попросту, без чинов.

Вышел Петр Степаныч, а Марко Данилыч, пройдясь по комнате, молвил вполголоса:

– Важный парень! И с достатком!

Быстро вскинула глазами на отца Дуня и тотчас их опустила. Кошелек, что ли, не вязался, петли путались, что ли.

– Ты что? – чуть улыбнувшись, спросил ее отец.

– Ничего, – едва слышно промолвила Дуня и пристально стала вглядываться в работу.

Марко Данилыч вышел из комнаты.

Глава пятая

На низовых и каспийских⁵⁶ промыслах рыбу так солят: в «крутой» рассол бузуна⁵⁷ кладут рыбу, а после ее посола свежего рассола не заводят. Прибавят в старый рассол немного соли да нальют туда водицы, в том и солят новую рыбу. Такой рассол, называемый «тузлуком», держат во все время посола, и каждый раз, когда надобно класть свежую рыбу, прибавляют воды и соли. Оттого коренная рыба скоро «доспевает», оттого и делается она таким товаром, который никак нельзя причислить к разряду благовонных. Хоть в соседних озерах бузуну ввек не исчерпать, но соль обложена большой пошлиной, а воровать ее не всегда легко. Оттого рыбным промышленникам и нет расчета для каждого посола свежий рассол заводить. Опять же рыбу, как ни посоли, всю съедят, товар на руках не останется; серому человеку та только рыба и лакома, что хорошо доспела, маленько, значит, пованивает.

Когда рыбный караван приходит к Макарью, ставят его вверх по реке, на Гребновской пристани⁵⁸, подальше ото всего, чтоб не веяло на ярманку и на другие караваны душком «коренной». Баржи расставляются в три либо в четыре ряда, глядя по тому, сколь велик привоз. На караван ездят только те, кому дело до рыбы есть. Поглядеть на вонючие рыбные склады в несколько миллионов пудов из одного любопытства никто не поедет – это не чай, что горами навален вдоль Сибирской пристани.

Целый ряд баржэй стоял на Гребновской с рыбой Марка Данилыча; запоздал маленько в пути караван его, оттого и стоял он позадь других, чуть не у самого стрежня Оки. Хозяева обыкновенно каждый день наезжают на Гребновскую пристань... У прорезей⁵⁹, что стоят возле ярманочного моста, гребцы на косной со смолокуровского каравана ждали Марка Данилыча. В первый еще раз плыл он на свой караван.

Величаво и медленно спустился по ступенькам с моста на плашкот Марко Данилыч, молча уселся на ковер, разостланный на средней лавочке лодки, слегка приподнял картуз в ответ на приветствие гребцов, разодетых на его счет в красные кумачовые рубахи и с шляпами на головах, украшенными алыми лентами. В пути молчал Смолокуров, когда удалые гребцы, бойко, редко, но з́араз, будто по команде, взмахивали веслами и легкая косная быстро неслась по стрежню Оки, направляя путь к Гребновской пристани. Молчит хозяин, молчат и гребцы, знают они, что без нужного дела заводить разговоры с Марком Данилычем – только прогневлять его. Суров, неречист бывал он с подначальными... Поглядеть на него в косной аль потом в караване, поверить нельзя, чтоб этот сумрачный, грозный купчина был тот самый Марко Данилыч, что, дó свету вплоть, в одних чулках проходил по горнице, отирая слезы при одной мысли об опасности нежно любимой Дуни.

Подъезжает к каравану Марко Данилыч. Издали узнал косную и своего хозяина главный его приказчик, длинный, сухой, сильно оспой побитый Василий Фадеев. Был он в длиннополом, спереди насквозь просаленном нанковом сюртуке, с бумажным плáтом на шее – значит, не по древлему благочестию: истый старовер плáта на шею ни за что не взденет, то фряжский обычай, святыми отцами не благословенный. Увидав подъезжавшего хозяина, Фадеев стремглав бросился в размазанную разными красками казенку⁶⁰, стоявшую в виде беседки на кормовой части крайней баржи. Там, наскоро порывшись в разложенных по столу бумагах, взял одну и подошел к трапу, ожидая подъезда Марка Данилыча.

⁵⁶ Низовыми называются в Волге, каспийскими – в море.

⁵⁷ Озерная самосадочная соль.

⁵⁸ Гребновская пристань на левом берегу Оки, выше Железной.

⁵⁹ Садки с живой рыбой.

⁶⁰ Рубка или каютка на речном судне, в ней живет хозяин или приказчик, хранятся деньги, паспорта и разные бумаги.

– Хозяин плывет! – мимоходом молвил лоцману Василий Фадеев. Тот бегом в казенку на второй барже и там наскоро вздел красну рубаху, чтоб достойным образом встретить впервые приехавшего на караван такого хозяина, что любит хороший порядок, любит его во всем от мала до велика. Пробегая к казенке, лоцман повестил проходившего мимо водолива о приезде хозяина, и тотчас на всех восьми баржах смолокуровского каравана раздались голоса:

– Хозяин плывет! Смолокуров! Крепи трап-от ладнее!.. Эй, ну вы, ребята, вылезай на волю! Хозяин!

И полезли рабочие на палубы из одной мурьи⁶¹, из другой, из третьей, на всех восьми баржах полезли наверх и становились вдоль бортов посмотреть-поглядеть на хозяина. Никто из рабочих еще не видывал его, а уж все до единого были злы на него. Четвертый день, как они поставили баржи в пристани как следует, но, несмотря на мольбы, просьбы, крики, брань и ругань, не могут получить заслуженных денег от Василия Фадеева. На том уперся приказчик, что, покамест сам хозяин баржей не осмотрит, ни одному рабочему он копейки не даст.

Подъехал Смолокуров, лоцман с водоливом подали трап на косную и приняли под руки поднимавшегося хозяина. Почтительно сняв картуз, Василий Фадеев молча подал ему «лепортицию». Молча и Марко Данилыч просмотрел ее и медленными шагами пошел вдоль по палубе. На всем караване примолкли: и лоцмана, и водоливы, и рабочий люд – все стояли без шапок... Наперед повестил Василий Фадеев всех, кто не знал еще Марка Данилыча, что у него на глазах горло зря распускать не годится и, пока не велит он головы крыть, стой без шапок, потому что любит почет и блюдет порядок во всем.

– Был кто за рыбой? – отрывисто спросил Василия Фадеева Смолокуров, не поднимая глаза с бумаги и взглядом даже не отвечая на отдаваемые со всех сторон ему поклоны.

– Вчерашний день от Маркеловых приезжали, – подобострастно ответил приказчик.

– Ну?

– Дешевенько-с, – вертя указательными пальцами и вскидывая плутовскими взглядами на хозяина, молвил Василий Фадеев.

– Почему?

– Девять гривен судак, два с четвертью коренная, других сортов не спрашивали.

– Жирно будет, – сквозь зубы процедил Марко Данилыч, не глядя на приказчика, и сунул в карман его «лепортицию».

– Ладно ль пароход-от поставили? – насупясь, спросил у приказчика Марко Данилыч.

– Как следует-с, – отвечал Василий Фадеев, судорожно вертя в руках синий бумажный платок.

– Много ль народу на нем?

– Капитан, лоцман, водолив да пять человек рабочих.

– Рассчитаны?

– По день прихода рассчитаны-с.

– Которо место пароход поставили?

– К низу, с самого краю⁶².

– Для че так далеко?

– Ближе-то водяной не пускает, там, дескать, место для пассажирских, а вам, говорит, где ни стоять – все едино...

– Все едино! Известно, им все едино, ихни же солдаты крайни пароходы обкрадывают... Трех рабочих еще туда поставь, караул бы был бессменный: день и ночь караулили бы.

⁶¹ **Мурья** – трюм, пространство между грузом и палубой, где укрываются бурлаки во время непогоды и где у них лежит лишняя одежда и другой скарб.

⁶² Когда баржи с грузом поставят на место в Гребновской или в другой какой-либо макарьевской пристани, пароходы отводят на другую пристань ниже по течению Волги – под кремль и под Егорьевский съезд. Это делается для безопасности от огня.

– Слушаю-с, – молвил Василий Фадеев.

По доскам, положенным с борта на борт, перешли на вторую баржу.

– На баржах много ль народу? – спросил Марко Данилыч, быстро оглядывая все, что ни лежало на палубе.

– Сто двадцать восемь человек, – ответил Фадеев и сдержанно кашлянул в сторону, прикрывая рот ладонью.

– Денег в пути давал?

– Помаленьку иные получали, – отвечал приказчик.

– Для чего?

– Надобности кой-какие бывали... у них... – запинаясь, отвечал приказчик. – У кого обувь порвалась, кому рубаху надо было исправить... Не помногу давано-с.

– Баловство! – недовольно промолвил Марко Данилыч.

– Пристают, – робко проговорил приказчик.

– Мало ль что пристают! А тебе б их не слушать. Дай им, чертям, поблажку, после не справишься с ними... Заборы-то записаны?

– Как же-с! Все в книге значится, и с ихними расписками.

– Лепортицу об этом сготовь.

– Слушаю-с.

И перешли на третью баржу.

Грузный, кудлатый щенок выскочил из казенки. С ласковым визгом и радостным бреханьем, быстро вертя хвостиком и припадая всем телом к полу, бросился он к ногам вступивших на палубу.

– Кто смел в караване собак разводить? – грозно вскрикнул Марко Данилыч, изо всей силы пихнув сапогом кутяшку. С жалобным визгом взлетела собачонка кверху, ударилась о пол и, поджав хвост, прихрамывая, поплелась в казенку.

– Чей пес? – продолжал кричать Смолокуров.

– Водолива, должно быть, – тихо, вполголоса промолвил Василий Фадеев.

– Должно быть! – передразнил приказчика Марко Данилыч. – Все должен знать, что у тебя в караване. И как мог ты допустить на баржах псов разводить?.. А?.. Рыбу крали да кормили?.. Где водолив?

Водолив немножко выдвинулся вперед.

– Виноват, батюшка Марко Данилыч, – боязливо промолвил он, чуть не в землю кланяясь Смолокурову. – Всего-то вчерашний день завел, тонул, сердечный, жалко стало песика – вынул его из воды... Простите великодушно!.. Виноват, Марко Данилыч.

– То-то виноват!.. Из твоей вины мне не шубу шить! – вскрикнул Смолокуров. – Чтоб духу ее не было... За борт, назад в воду ее, проклятую. Ишь ты выдумали! Ах вы, разбойники!..

И, обругав водолива, молча перешел с Фадеевым на четвертую баржу.

– Это судак? – спросил Марко Данилыч приказчика.

– Первы три баржи все с судаком-с, – молвил Василий Фадеев.

– С соленым?

– Так точно-с.

– Бешенка где?

– На пятой-с.

– На четвертой что?

– Сушь.

– Вся?

– Вся-с.

– Коренная где?

– На шестой белужина с севрюгой, на седьмой осетер. Икра тоже на седьмой-с, пробойки, жиры, молоки.

– На восьмой, значит, вóрвань?⁶³

– Так точно-с.

Замолчали и молча прошли на другую баржу... Набрался тут смелости Василий Фадеев, молвил хозяину:

– Расчету рабочие требуют, Марко Данилыч.

Промолчал, ровно не ему говорят, Марко Данилыч.

– Галдят, четвертый, дескать, день простой идет, харчимся, дескать, понапрасну, работу у других хозяев упускаем.

Опять промолчал Марко Данилыч.

– Говорю им, обождите немножко, вот, мол, хозяин подъедет, без хозяина, говорю, я не могу вам расчетов дать, да и денег при мне столько не имеется, чтобы всех убогатворить... И слушать не хотят-с... Вечор даже бунта чуть не подняли, насили улестил их, чтобы хоть до сегодняшнего-то дня обождали.

– Это все судак? – спросил, не слушая Фадеева, Марко Данилыч.

– Так точно-с.

– Зачем ворвань далеко поставили? С того бы краю сподручнее было.

– Не велят-с, – встряхнув волосами, молвил приказчик. – Духу, дескать, очень много... Железняки, слышь, жалобились⁶⁴.

– Гм! – промычал Марко Данилыч. – Не отвалились бы у них носы-то. Тебе бы водяному⁶⁵ поклониться.

– Кланялся... Не берут-с, – быстро вскинув глазами на хозяина, молвил приказчик.

– Гм!.. – опять промычал Марко Данилыч. – Покажь-ка сушь-то.

– Мироныч! – крикнул Василий Фадеев ходившему вслед за ними лоцману. – Сýши достань из мурьи каждого сорта по рыбине; и судака, и леща, и сазана, и воблы – всего... Да живей у меня!..

Ни слова не молвил, бегом побежал толстый Мироныч, нырнул в мурью и минуты через четыре поднес Марку Данилычу четыре рыбины.

Смолокуров молча осмотрел каждую, поковырял ногтями и, отведав по кусочку, поколотил каждой рыбиной о причал⁶⁶ баржи, прислушиваясь к звукам.

– Жидка! Плохо сушена, – строго молвил он Василию Фадееву.

– Солнцóв⁶⁷ мало было, Марко Данилыч, все время дожди шли неумные! – поникнув головой, отвечал приказчик.

– Солнцóв мало! – передразнил его Смолокуров. – Знаю я, какие дожди-то шли!.. Ленъ! Вот что! Гуляли, пьянствовали! Вам бы все кой-как да как-нибудь! Раченья до хозяйского добра нет. Вот что!

– Помилуйте, Марко Данилыч, мы бы со всяким нашим усердием, да не наша вина-с... Супротив Божьей воли ничего не поделаешь!..

– Воли Божьей тут не было. Ленъ ваша была, а не Божья воля, – сурово молвил Смолокуров, гневно посмотрев на приказчика. – Про погоду мне из Астрахани каждую неделю отписывали... Так ты не ври.

– Да помилуйте... – начал было совсем оробевший приказчик.

⁶³ Тюлений жир.

⁶⁴ Железный караван станоят на Оке рядом с рыбным, недалеке.

⁶⁵ Начальник пристани.

⁶⁶ Кол на палубе для причала баржи.

⁶⁷ Солнечного припеку.

– А тебе бы нишкнуть, коли хозяин разговаривает! – крикнул Марко Данилыч, швырнув в приказчика бывшим у него в руке лещом. – Перечить!.. Я задам вам, мошенникам!.. Что это за сушь?.. Глянь-ка, пощупай!.. Копейки на две против других будет дешевле!.. Недобор доправлю – ты это знай!..

– Власть ваша, Марко Данилыч, – дрожащим голосом проговорил приказчик, – а только вот, как перед самым истинным Богом, мы тут нисколько не причинны... Хоша весь караван извольте обойти – у всех сушь жидковата, твердой в нынешнем году нигде не найдете.

– И обойду, и посмотрю, и на весах прикину и свою, и чужую, – гневно говорил Смолокуров. – А уж копейки разбойнику не спущу... Знаю я вас, не первый год с вами хорожусь!.. Только и норовят, бездельники, чтобы как ни на есть хозяину в шапку накласть...

Замолчал приказчик. По опыту знал он, что чем больше говорить с Марком Данилычем, тем хуже. Примолк и Марко Данилыч. Обойдя восьмую баржу, спросил он:

– У других продавали?

– Перед постом с ореховских баржей самую малость свезли соленого... Лодок с пяток... В лавку на ярманку брали да в Обжорный ряд.

– Почему?

– Таят-с. Уж я было пытал спрашивать – не сказывают.

– Узнать! – повелительно молвил Смолокуров.

– Не скажут-с.

– А ты кого ни на есть из ихних приказчиков в трактир сведи да чайком попой, закуской угости, – приказывал Марко Данилыч. И, вынув из бумажника рублевую, примолвил: – Получай на угощение!..

С кислой улыбкой принял приказчик рублевую. Цены-то ореховские он уже знал, но не сказал хозяину, чтоб хоть рублишком с него поживиться. «С паршивой собаки хоть шерсти клок», – думал Василий Фадеев, кладя бумажку в карман.

– Ко мне на квартиру зайди, расценочну ведомость дам, – молвил Смолокуров. – Да чтоб никто ее не видал... Слышишь?

– Слушаю, Марко Данилыч, – отвечал приказчик.

– Эй ты! – крикнул Смолокуров стоявшему вблизи рабочему. – Пробеги на первую баржу, молви гребцам, косную-то сюда бы подвели, да трап притащи.

Видя, что хозяин собирается уехать, трое рабочих робко подошли к нему и, низко поклонясь, стали.

– Чего вам? – угрюмо спросил их Марко Данилыч.

– До вашей милости, – робко заминаясь, проговорил стоявший впереди рослый, молодой, чуть не дочерна загоревший парень в синей пестрядинной рубахе с расстегнутым воротом.

– Ну?

– Расчетец бы нам, – проговорил загорелый парень.

– Тебя как звать-то? – почти ласково спросил его Марко Данилыч.

– Сидором.

– По батюшке как?

– Аверьянов.

– Здешний аль низовый?

– Сызранский. Села Елшанки.

– Так... Знаю я вашу Елшанку – село хорошее.

– Живет, – молвил загорелый парень.

– А ты откуда? – обратился Марко Данилыч к приземистому, коренастому пожилому рабочему, весело глядевшему на него своими маленькими серенькими глазами.

– Мы-то? Мы здешни, Балахонского уезда, из-под Городца, – Кобылиху деревню слыхал?

– Нет, не слыхал, и зовут-то тебя как?

– Меня-то?.. А Карп Егорыч.

– А тебя как? – спросил третьего рабочего Марко Данилыч.

– Его-то... А племянник мне-ка по хозяйке будет, – добродушно ответил за него Карп Егоров. – Софронкой звать, Бориса Моркелыча знаешь?.. Сынок ему... Он у нас грамотей, письма даже писать маракует. Вот у Василья Фадеича, у твоего приказчика, в книге за всех расписывается, которы в путине заборы забирали.

– Так чего ж вам от меня надо? – спросил Марко Данилыч.

– Деньжонок бы надо, ваше степенство, – сказал Карп Егоров. – Расчетец бы получить. Шутка ли?.. Четвертый день, как мы твой караван на место поставили.

– Так что же что четвертый день? Хоть бы шестой был али седьмой, так и то невелика беда, – сказал Смолокуров.

– Как же не беда? – молвил Карп Егоров. – Что ж нам попусту-то у тебя проживаться, ваше степенство? На други бы места пора поступать.

– Поспеешь... – молвил Смолокуров и повернул от рабочих.

– Хорошо вашей милости так говорить! – сказал Сидор Аверьянов. – А поспрошать бы нас, нам-то каково...

– Подождешь, успеешь! – сказал с досадой Марко Данилыч и отвернулся от рабочих; но те все трое в один голос смелее стали просить расчета.

– Ведь ты, батюшка, за эти за лишни-то дни платы нам не положишь, – добродушно молвил Карп Егоров.

– Не положу, – спокойно ответил Марко Данилыч.

– Так почто же нам харчиться-то да работу у других хозяев упущать? – громко заговорили все рабочие. – Власть ваша, а это уж не порядки. Рассчитайте нас, как следует.

– Это вы что вздумали?.. Бунт поднимать?.. А?.. – наступая на рабочих, крикнул Смолокуров. – Да я вас...

Рабочие немного попятились, но униматься не унимались.

– Своего, заслуженного просим!.. Вели рассчитать нас, как следует!.. Что же это за порядки будут!.. Задаром людей держать!.. Аль на тебя и управы нет? – громче прежнего кричали рабочие, гуще и гуще толпясь на палубе. С семи первых баржей, друг дружку перегоняя, бежали на шум остальные бурлаки, и все становились перед Марком Данилычем, кричали и бранились один громче другого.

– Нечего нам у тебя проживаться. Расчет подавай! Просили, просили приказчика, четвертый день прошел, а рассчитывать нас не рассчитывает... Так сам рассчитай – ты хозяин, дело твое...

– Так вы так-то, кособрюхие! – зычным голосом крикнул на них Смолокуров. – Ах вы, анафемы!.. Сейчас к водяному поеду, он вас переберет по-своему!.. По местам, разбойники!

Но разбойники по местам не пошли, толпа росла, и вскоре почти вся палуба покрылась рабочими. Гомон поднялся страшный. По всему каравану рабочие других хозяев выбегали на палубы смотреть да слушать, что деется на смолокуровских баржах. Плывшие мимо избылецкие⁶⁸ лодки с малиной и смородиной остановились на речном стрежне, а сидевшие в них бабы с любопытством смотрели на шумевших рабочих.

– Расчет давай!.. Сейчас расчет!.. Нечего отлынивать-то!.. Жила ты этакой!.. Бедных людей обирать!.. Не бойсь, не дадут тебе потачки... И на тебя суд найдем!.. Расчет подавай!..

Клики громче и громче. Сильней и сильней напирают рабочие на Марка Данилыча. Приказчик, конторщик, лоцман, водоливы, понутив головы, отошли в сторону. Смолокуров был окружен шумевшей и галдевшей толпой. Рабочий, что первый завел речь о расчете, картуз

⁶⁸ **Избылец** – село на Оке возле города Горбатова. В нем много садов. Яблоки и ягоды отправляют оттуда каждый почти день в лодках на Макарьевскую ярманку в огромном количестве. Возят ягоды и яблоки больше бабы.

надел и фертом подбоченился. Глядя на него, другой надел картуз, третий, четвертый – все... Иные стали рукава засучивать.

– Сейчас же расчет!.. Сию же минуту!.. – кричали рабочие, и за криками их нельзя было расслышать, что им на ответ кричал Смолокуров.

Косная меж тем подгребла под восьмую баржу, но рабочий, что притащил трап, не мог продрасться сквозь толпу, загородившую борт. Узнав, в чем дело, бросил он трап на палубу, а сам, надев шапку, выпучил глаза на хозяина и во всю мочь крикнул:

– Расчет подавай, такой-этакой!

Расходилась толпа, что волна. Нет уйму. Ни брань, ни угрозы, ни уговоры Смолокурова не в силах остановить расходившегося волнения. Но не сробел, шагом не попятился назад Марко Данилыч. Скрестив руки на груди, гневен и грозен стоял он недвижно перед толпою.

– Молчать! – крикнул он. – Молчать! Слушай, что хочу говорить.

Передние грубо, с задором ему отвечают:

– Чего еще скажешь?.. Ну, говори... Эй, ребята, полно галдеть – слушай, что он скажет... Перестань же, ребята!.. Нишкни!.. Что глотку-то дерешь, чертовой матери сын, – зарычали передние на кричавшего пуще всех Сидора Аверьянова из сызранской Елшанки.

А Марко Данилыч по-прежнему стоит, скрестив руки на груди. Сам ни слова.

Унялась толпа, последним горлопанам, что не хотели уняться, от своей же братьи досталось вдоволь и взрывников, и подзатыльников. Стихли.

– Сказывай, что хотел говорить, – говорили передние Марку Данилычу. – Слушаем!..

– А вот что я хотел говорить, – ровным, твердым голосом начал протяжно речь свою Марко Данилыч. – Кто сейчас, сию же минуту, на свое место пойдет, тот часа через два деньги получит сполна. И за четыре дня, что лишнего простояли, получит... А кто не пойдет, не уймется от буйства, не от меня тот деньги получит, а от водяного – ему предоставлю с теми рассчитываться, и за четыре простоящих дня тот грош не получит... Сидор Аверьянов, Карп Егоров, Софрон Борисов – вы зачинали, вы и унимайте буянов!.. Имена ваши знаю – плохо вам будет, коли не уймете товарищей!.. Лозаны у водяного здоровые!.. А кто по местам пойдет, для тех сию минуту за деньгами поеду – при мне нет, а что есть у Василия Фадеева, того на всех не хватит. Первые, кто на свои места пойдут, тем до моего возврата Василий Фадеев деньги выдаст и пачпорты... Слышали?

Пуще прежнего зашумели рабочие, но крики и брань их шли уже не к хозяину, между собой стали они браниться – одни хотят идти по местам, другие не желают с места тронуться.

Где один другого за шиворот, где друг друга в зубы – и пошла на барже драка, но добрая доля рабочих пошла по местам, говоря приказчику:

– Василий Фадееч, пиши нас по именам, да деньги сейчас подавай – мы тотчас же пошли по приказу хозяйскому.

Пользуясь сумятицей, перемахнул Марко Данилыч за борт, спустился по канату в косную и, немного отплыв, крикнул на баржу:

– Фадеев! Денег никому не давать!.. Погодите вы у меня, разбойники!.. Я с вами расправлюсь, с мошенниками!.. Сейчас же привезу водяного.

– Упустили! – в один голос крикнули бурлаки, оставшиеся на восьмой барже... И полились брань и ругань на удалявшегося Марка Данилыча. Быстро неслась косная вниз по течению.

– Теперь он, собака, прямехонько к водяному!.. Сунет ему, а тот нас совсем завинит, – так говорил толпе плечистый рабочий с сивой окладистой бородой, с черными, как уголь, глазами. Вся артель его уважала, рабочие звали его «дядей Архипом». – Снаряжай, Сидор, спину-то: тебе, парень, в первую голову отвечать придется.

– Посмотрим еще, кто кого! – бодрился Сидор, а у самого душа в пятки ушла. Линьки у водяных солдат были ему знакомы. Макарьевских только покамест не пробовал.

– И порют же здесь, братцы! – весело подхватил молодой парень, присевши на брус переобуться. – Летось об эту самую пору меня анафемы угощали... В Самаре здорово порют, и в Казани хорошо, а супротив здешнего и самарские розги и казанские звания не стоят.

– А за что мне в перву-то голову отвечать? – тоскливо заговорил Сидор Аверьянов, хорошо знакомый и с Казанью, и с Самарой. – Что я первый заговорил с проклятым жидом... Так что же?.. А галдеть да буянить, разве я один буянил?.. Тут надо по-божески. По-справедливому, значит... Все галдели, все буянили – так-то.

– Вестимо, все, – подтвердил Карп Егоров, тоже помышляя о линьках макарьевских.

– Всех перепороть нельзя, – спокойно молвил переобувшийся парень. – Линьки перепортишь, да и солдатики притомятся.

– Знамо, всех нельзя, не следует, – согласились с ним все другие бурлаки.

– А ведь не даст он, собака, за простой ни копеечки, не то что нам, а и тем, кто его послушал, по местам с первого слова пошел, – заметил один рабочий.

– Известно, не даст, – все согласились с ним. – Это он только ради отводу молвил, чтоб утечь, значит. А мы, дураки, и упустили...

И много тосковали, и долго промеж себя толковали про то, чему быть и чего не отбыть...

Много спустя, когда рабочие утомонились и, почесывая спины, укоряли друг друга в бунте, подошел к ним Василий Фадеев.

– Что?.. Небось теперь присмирели? – с усмешкой сказал он. – Обождите-ка до вечера, узнаете тогда, как бунты в караване заводить! Земля-то ведь здесь не бессудная – хозяин управу найдет. Со Смолокуровым вашему брату тягаться не рука, он не то что с водяным, с самим губернатором он водит хлеб-соль. Его на вас, голопятых, начальство не сменяет...

– Да что ж это такое будет, Василий Фадееч?.. – заговорили двое-трое из рабочих. – Вечор ты сам учил нас говорить покрепче с хозяином, а теперь вон что зачал толковать. Нешто это по-божески?

– Так нешто я вас бунтовать учил? – вспыхнул приказчик. – Говорил я вам, чтоб вы его просили покрепче, значит, пожалостливей, а вы, чертовы куклы, горланить вздумали, ругаться, рукава даже стали засучивать, бестии... Этому, что ли, учил я вас?.. А?

– Вестимо, не тому, Василий Фадееч, – почесывая в затылках, отвечали бурлаки. – Твои слова шли к добру, учил ты нас по-хорошему. А мы-то, гляди-ка, чего сдуру-то наделали... Гля-кась, како дело вышло!.. Что теперича нам за это будет? Ты, Василий Фадееч, человек знающий, все законы произошел, скажи, Христа ради, что нам за это будет?

– Перепорют, – равнодушно ответил приказчик.

– Ежели только перепорют, это еще не беда – спина-то ведь не на базаре куплена, – молвил один рабочий. – А вот как в кутузку засадят да продержат в ней с неделю али ден с десять!..

– Дольше продержат, – молвил Василий Фадеев. – В один день сто двадцать человек не перепорешь... Этого нельзя.

– То-то вот и есть, – жалобно и грустно ответил рабочий. – Ведь десять-то ден мало-мальски три целковых надо положить, да здесь вот еще четыре дня простою. Ведь это, милый человек, четыре целковых – вот что посуди.

– Верно, – подтвердил Василий Фадеев. – По нынешним ценам у Макарья, пожалуй, и больше четырех-то целковых пришлось бы. Плотники ноне по рублю да рублю двадцати на серебро брали, крючники по полтине да по шести гривен, солоносы по семи... Вот каки нынешним годом Господь цены устроил... Да!

– Василий Фадееч! Будь отец родной, яви Божеску милость, научи дураков уму-разуму, присоветуй, как бы нам ладненько к хозяину-то?.. Смириться бы как?.. – стали приставать рабочие, в ноги даже кланялись приказчику.

– Смирится он!.. Как же! Растопырь карман-от! – с усмешкой ответил Василий Фадеев. – Не на таковского, брат, напали... Наш хозяин и в малом потакать не любит, а тут шутка ль, что вы наделали?.. Бунт!.. Рукава засучивать на него начали, обстали со всех сторон. Ведь мало бы еще, так вы бы его в потасовку... Нечего тут и думать пустого – не смирится он с вами... Так дойдет, что до гроба жизни будете нонешний день поминать...

– Ахти, Господи батюшка, истинный Христов!.. Да что ж это такое будет? – тосковали бурлаки, понутив с отчаянья головы.

Крепко задумавшись, Сидор Аверьянов сидел одаль, на косяке⁶⁹. Вдруг быстро вскочил и шепнул, подойдя к приказчику:

– Подь-ка со мной к сторонке, Василий Фадееч.

Приказчик отошел с ним к самой корме.

– Так как мне теперича доводится без трех гривен шесть целковых... – начал Сидор.

– Ну? – спросил приказчик, когда тот немного замялся.

– Возьми ты их себе, Василий Фадееч, эти самые деньги... Поступаюсь ими, пачпорт только выдай – я бы котомку на плечи да айда домой. Ну вас тут и с караваном-то!..

– Мудрено, брат, придумал, – засмеялся приказчик. – Ну, выдам я тебе пачпорт, отпущу, как же деньги-то твои добуду?.. Хозяин-то ведь, чать, расписку тоже спросит с меня. У него, брат, не как у других – без расписок ни единому человеку медной полушки не велит давать, а за всякий прочет, ежели случится, с меня вычитает... Нет, Сидорка, про то не моги и думать.

– Эх, горе-то какое! – вздохнул Сидорка. – Ну ин вот что: сапоги-то, что я в Казани купил, три целкача дал, вовсе не хожены. Возьми ты их за пачпорт, а деньги, ну их к бесу – пропадай они совсем, подавись ими кровопийца окаянный, чтоб ему ни дна, ни крышишки.

Василий Фадееч раздумывал, пристально разглядывая Сидоровы сапоги.

– Полно-ка пустое-то городить, – молвил он, маленько помолчав. – Ну что у тебя за сапоги? Стоит ли из-за них грех на душу брать?.. Нет уж, брательник, неча делать, готовь спину под линьки да посиди потом недельки с две в кутузке. Что станешь делать?.. Такой уж грех приключился... А он тебя беспрерывно заводчиком выставит... Пожалуй еще, вспороть-то тебя вспорют да на придачу по этапу на родину пошлют. Со всякими тогда, братец, острогами дорогой-тоознакомишься.

– Мерлушчату шапку на придачу. Знатная шапка, настоящая мурашкинская... И совсем как есть новенькая... Двух-то целковых стоит. Христа ради, Василий Фадееч, будь аки Бог, вызволь меня из беды неминучей...

– Полно-ка ты, перестань! Что вздор-от молоть, понапрасну?.. – молвил Василий Фадеев и, повернувшись, пошел к казанке.

Сидор за ним. Стал у дверей. В казенку рабочим ходу нет, не посмел и Сидор войти туда за приказчиком.

– Помилосердуй, Василий Фадееч, – слезно молил он, стоя на пороге у притолоки. – Плат бумажный дам на придачу. Больше, ей-Богу, нет у меня ничего... И рад бы что дать, да нечего, родной... При случае встретились бы где, угостил бы я тебя и деньжонок аль чего-нибудь еще дал бы... Мне бы только на волю-то выйти, тотчас раздобудусь деньгами. У меня тут купцы знакомые на ярманке есть, седни же найду работу... Не оставь, Василий Фадееч, Христом Богом прошу тебя.

И повалился в ноги, и завопил, не поднимая головы от полу.

– Эх ты!.. – с досадой молвил ему приказчик. – Да не валяйся – увидят... Подь сюда в казенку.

Сидор встал и подошел к приказчику. Тот сказал ему:

⁶⁹ Толстый канат, на котором кабестанный, иначе шкивной, пароход тянет подачу.

– Хозяину-то что скажу? Об этом-то подумал ли ты? Скажет: Сидор всему бунту зачинщик, а куда он девался? Что я скажу?

– Сбежал, мол.

– А пачпорт спросит?

– А пачпорт спросит... – задумался Сидор. – А ты скажи, что я был из слепеньких... Ведь есть же у нас на баржах слепеньки-то⁷⁰.

– Так при водяном-то и сказать? Хорошо вздумал – нечего! – усмехнулся Василий Фадеич.

– Допрежь ему молви, упреди... Аль не знает, что на его баржах слепые-то водятся?

– Знать-то знает... как не знать... Только, право, не придумаю, как бы это сделать... – задумался приказчик. – Ну, была не была! – воскликнул он, еще немножко подумавши. – Тащи шапку, скидай сапоги. Так уж и быть, избавлю тебя, потому знаю, что человек ты добрый – языком только горазд лишнее болтать. Вот хоть сегодняшнее взять – ну какой черт совал тебя первым к нему лезть?

– Брательники просили, ты-де всех речистей, потому-де самому ты и зачинай. С общего, значит, совета всей артели мы с Карпом да с Софронкой пошли. Что ж, ведь я, кажись, говорил с ним по-хорошему?

– По-хорошему! А как загалдели, так орал пуще всех да еще рукава засучал... – сказал приказчик.

– Рукавов я не засучивал, Василий Фадеич, а что кричать, точно кричал... Так разве я один? – говорил Сидор.

– Полно растабарывать-то. Неси скорей, а я пачпорт отыщу.

Сиял от радости Сидор, сбежал в мурью и минут через десять вылез оттуда в истоптанных лаптях, с котомкой за плечами и с сапогами в руках. Войдя в казенку, поставил он сапоги на пол, а шапку и платок на стол положил. Молча подал приказчик Сидору паспорт, внимательно осмотрев перед тем каждую вещь.

Сидор взял паспорт, приосанился и уж не так робко и покорно, как прежде, сказал:

– Ты уж мне, Василий Фадеич, какую-нибудь шапчонку пожертвуй.

– Где мне про тебя шапок-то набраться? – строго взглянув на него, воскликнул приказчик. – Вот еще что вздумал!

– Да как же я по ярманке-то без шапки пойду? Там казаки по улицам так и шныряют, – пожалуй, как раз заподозрят в чем да стащут меня...

– Слезь в мурью да украдь у кого-нибудь картуз либо шапку, – молвил Василий Фадеев. – А то вдруг шапку ему пожертвуй. Выдумает же!

– И то, видно, украсть... Счастливо оставаться, Василий Фадеич, – сказал Сидор.

– С Богом, – пробурчал приказчик, взял перо и наклонился над бумагами.

Сидор в лаптях, в краденном картузе, с котомкой за плечами, попросил одного из рабочих, закадычного своего приятеля, довезти его в лодке до берега. Проходя мимо рабочих, все еще стоявших кучками и толковавших про то, что будет, крикнул им:

– Прощайте, братцы!

– Куда ты, Сидор, куда? – закричали рабочие, прибегая к нему.

– Сбежать задумал, – молвил Сидор. – Так-то сходнее: и спина целей, и за работу седни же...

– А деньги-то?

– Пес с ними! Пущай анафема Маркушка ими подавится, – молвил Сидор. – Денег-то за ним не сполна шесть целковых осталось, а как засадят недели на две, так по четыре только

⁷⁰ Слепыми у бурлаков зовутся не имеющие письменного вида, беспаспортные.

гривенника поденщину считай, значит, пять рублей шесть гривен. Один гривенник убытку понесу. Так нешто спина гривенника-то не стоит.

Рабочие захохотали.

– Ну, прощай, Сидор Аверьяныч, прощай, милый человек, – заговорили они, прощаясь с товарищем.

– А пачпорт-от как же? – спросил его Карп Егоров.

– Пес с ним! – молвил Сидор. – И без него проживу ярманку-то. У меня купцы есть знакомые – примут и слепого.

И, сев в косную, поплыл к песчаному берегу.

– А ведь Сидорка-от умно рассудил, – молвил парень, что знаком был с линьками самарскими, казанскими и макарьевскими. – Чего в самом деле?.. Айда, ребята, сбежим гуртом... Веселее!.. Пушай Маркушка лопнет с досады!

– А расчет-от? А деньги-то? – заговорили рабочие.

– Мне всего три целковых получки... А как засадят, так в самом деле накладно будет... Дороже обойдется... Я сбегу.

– А пачпорт-от как же?.. Васька Фадеев нешто отдаст? – спрашивали у него.

– Я из слепых, да и Сидорка-то тоже никак. Эй, ребята!.. Кто слепой да у кого денег много забрано – айда!..

И полез в мурью снаряжаться.

С ним сбежало еще десятеро слепых. Те слепые, у которых мало денег было в заборе, не пошли за Сидоркой, остались. Он крикнул им из лодки:

– Дурни!.. Хоть бы и вовсе заборов не было, и задатков ежели бы вы не взяли, все же сходнее сбежать. Ярманке еще целый месяц стоять – плохо-плохо четвертную заработаешь, а без пачпорта-то тебя водяной в острог засадит да по этапу оттуда. Разве к зиме до домов-то доплететесь... Плюнуть бы вам, братцы слепые!.. Эй, помянете мое слово!..

– А ведь он дело сказал, – заговорили рабочие.

– Сбежать точно что будет сходнее, – толковали они.

– Что ж, ребята?.. Айда, что ли?.. – почти уж у берега закричал отплывший слепой.

– Айда!.. Айда, ребята! – закричали зычные голоса, и много бурлаков кинулись в мурьи собраться в путь-дорогу.

На шум вышел из казенки заснувший было там Василий Фадеев.

– Что такое? – спросил он.

– Слепые сбежали, – ответили ему.

Взглянул приказчик на реку – видит, ото всех баржей плывут к берегу лодки, на каждой человек по семи, по восьми сидит. Слепых в смолокуровском караване было наполовину. На всем Низовье по городам, в Камышах⁷¹ и на рыбных ватагах исстари много народу без глаз⁷² проживает. Про Астрахань, что бурлаками Разгуляй-городок прозвана, в путевой бурлацкой песне поется:

Кому плыть в Камыши —
Тот паспорт не пиши.
Кто захочет в Разгуляй —
И билет не выправляй.

Рыбные промышленники, судохозяева и всякого другого рода хозяева с большой охотой нанимают слепых: и берут они дешевле, и обсчитывать их сподручней, и своим судом можно с

⁷¹ Камышами называются берега Волги и острова на ней в Астраханской губернии.

⁷² Глаза – паспорт на языке бурлаков, а также на языке московских жуликов, петербургских мазуриков.

ними расправиться, хоть бы даже и посечь, коли до того доведется. Кому без глаз-то пойдет он жалобиться? Еще вдосталь наклоняется, только, батюшки, отпустите. Марко Данилыч слепыми не брезговал – у него и на ловлях, и на баржах завсегда их вдоволь бывало... Потому, выгодно.

– Ах, дуй их горой! – вскрикнул Василий Фадеев. – Лодки-то, подлецы, на берегу покинут!.. Ну, так и есть... Осталась ли хоть одна косная?.. Слава Богу, не все захватили... Миронныч, в косную!.. Приплавьте, ребята, лодки-то... Покинули их бестии, и весла по берегу разбросали... Ах, чтоб вам рóзорвало!.. Ишь что вздумали!.. Поди вот тут – ищи их... Ах, разбойники, разбойники!.. Вот вздрать-то бы всех до единого. Гля-кась, что наделали!..

Василий Фадеев не горевал: и хозяин не в убытке, и он не внакладе. Притом же хлопот да привязок от водяного за слепых избыли. А то пошла бы переборка рабочих да дознались бы, что на баржах больше шестидесяти человек беспаспортных, может, из Сибири беглых да из полков, – тогда бы дешево-то, пожалуй, и не разделались. А теперь слава Богу, всем хорошо, всем выгодно: и хозяину, и приказчику, и слепым. Зрячим только не было выгоды: пригорюнились они, особенно Карп Егоров с племянником. Вместе с Сидором зачинщиками Марко Данилыч их обозвал – им первым отвечать.

– Батюшка, Василий Фадееч, пожалей ты нас, дураков, умоли Марка Данилыча, преклони гнев его на милость!.. – вопили они, валяясь в ногах у приказчика.

Другие бурлаки тоже не чаяли добра от водяного. Понадеясь на свои паспорта, они громче других кричали, больше наступали на хозяина, они же и по местам не пошли. Теперь закручинились. Придется, сидя в кутузке, рабочие дни терять.

– Ничего я тут не могу сделать, – говорил Василий Фадеев бурлакам.

– Как же не можешь? Вся сила в тебе... Ты всему каравану голова... Кого же ему, как не тебя, слушать! – кланялись и молили его рабочие.

– Сговоришь с ним!.. Как же!.. – молвил Василий Фадеев. – Не в примету разве вам было, как он, ничего не видя, никакого дела не разобравши, за сушь-то меня обругал? И мошенник-от я у него, и разбойник-от! Жиденька!.. Веслом, что ли, небо-то расшевырять, коли солнцѳв нет... Собака так собака и есть!.. Подойди-ка я теперь к нему да заведи речь про ваши дела, так он и не знай что со мной поделает... Ей-Богу!

– Нет, уж ты, Василий Фадееч, яви Божеску милость, попечалуйся за нас, беззаступных, – приставали рабочие. – Мы бы тебя вот как уважили!.. Без гостинца, милый человек, не остался бы!.. Ты не думай, чтобы мы на шаромыгу!..

– Полноте-ка, ребята, чепуху-то нести, – молвил, отходя от них, приказчик. – Да и некогда мне с вами растабарывать, лепортицу велел сготовить, кто сколько денег из вас перебрал, а я грехом проспал маленько... Пойти сготовить поскорее, не то приедет с водяным – разлутуется.

И ушел в свою казенку.

Стоят на месте бурлаки, понутив думные головы. Дело, куда ни верни, со всех сторон никуда не годится. Ни линьков, ни великих убытков никак не избыть. Кто-то сказал, что приказчик только ломается, а ежели поклониться ему полтиной с души, пожалуй, упросит хозяина.

– На полтину с брата согласен не будет, – молвил дядя Архип. – Считай-ка, сколь нас осталось.

Стали считать, насчитали как раз шестьдесят человек.

– Всего, значит, тридцать целковых, – сказал дядя Архип. – И подумать не захочет... Целковых по два собрать, тогда, может статья, возьмется, и то навряд...

Зашумели рабочие, у кого много забрано денег, те кричат, что по два целковых будет накладно, другие на том стоят, что можно и больше двух целковых приказчику дать, ежели станет требовать. Без перекуров и перебранок сходка не стоит. Согласились наконец дать приказчику сто целковых. Так порешив, стали смекать, по скольку на брата придется; по пальцам считали, на бирках резали, чурочками да щепочками метали; наконец добрались, что с каждого по целковому да по шестидесяти копеек надо. Ради верности по рукам чурочки да

щепочки разобрали и потом в грудку метали их. Рты разинули от удивленья, когда, пересчитав чурочки, увидели, что целых сорока копеек не хватает. Опять зачались толки да споры, куда сорок копеек девались.

Сладились наконец. Дядя Архип робко подошел к казенке и, став в дверях, молвил сидевшему за лепортицей приказчику:

– Батюшка, Василий Фадеич, прикажи слово молвить.

– Чего еще? – с досадой крикнул приказчик. – Мешаете только! Делом заняться нельзя с вами, буянами.

– Да я все насчет того же, порадей ты об нас, помоги в нашей беде, – говорил дядя Архип.

– Сказано ведь вам; так нет, лезут!

– По рублику бы с брата мы поклонились вашей милости – шестидесятью целковыми... Прими, сударь, не ломайся!.. Только выручи, Христа ради!.. При расчете с каждого человека ты бы по целковому взял себе, и дело бы с концом.

– Ишь что еще вздумали! – гневно вскрикнул приказчик. – Стану из-за такой малости я руки марать!.. Пошел прочь!.. Говорят тебе, не мешай.

– Ты, Василий Фадеич, не гневись. Скажи свою цену. Бог даст, сойдемся как-нибудь, – не трогаясь с места, говорил дядя Архип.

Замолк Василий Фадеев, стал писать свою лепортицу, а дядя Архип не отходит от дверей казенки.

– Полтора! – вполголоса пробурчал приказчик после короткого молчанья, кладя перо и глядя в упор на дядю Архипа.

– Не много ли будет, Василий Фадеич?.. – посмелей прежнего заговорил дядя Архип. – Пожалей нас хоть маленько, не под силу будет такой суймой⁷³ нам поступиться твоей милости.

– Полтора, – еще тише промолвил приказчик и снова взялся за перо.

Помялся на месте дядя Архип. Протягивая в казенку руку, сказал:

– Так и быть, куда ни шло, получай три четвертухи, семьдесят пять целковых, значит.

Молчит Фадеев.

– Будет с тебя, милый человек, ей-Богу, будет, – продолжал Архип, переминаясь и вертя в руках оборванную шляпенку. – Мы бы сейчас же разверстали, по скольку на брата придется, и велели бы Софронке в книге расписаться: получили, мол, в Казани по стольку-то, аль там в Симбирске, что ли, что уж, тебе виднее, как надо писать.

– Сколько вас? – не поднимая с бумаги глаз, спросил приказчик.

– Шестидесят человек, – ответил дядя Архип.

– По два целковых с брата, – чуть слышно проговорил Василий Фадеев.

– Нет, уж ты сделай такую милость, возьми три четвертухи, пожалей нас, родимый, ведь кровь свою отдаем – ты это подумай, – умолял дядя Архип.

– Как задержат у водяного да по этапу домой погонят, так не по два целковых убытку примете, – шепотом почти сказал Фадеев.

– Да, оно так-то так, что про это говорить. Вестимо, больше потерпишь, да уж ты помилосердуй, заставь за себя Бога молить... Ведь ты наша заступа, на тебя наша надежда – как Бог, так и ты. Сделай милость, пожалей нас, Василий Фадеич, – слезно умолял дядя Архип приказчика.

Сладились наконец. Сошлись на сотне. Дядя Архип пошел к рабочим, все еще галдевшим на седьмой барже, и объявил им о сделке. Тотчас один за другим стали Софронке руки давать, и паренек, склонив голову, робко пошел за Архипом в приказчикову казенку. В полчаса дело покончили, и Василий Фадеев, кончивший меж тем свою лепортицу, вырядился в

⁷³ Сумма.

праздничную одежду, сел в косную и, сопровождаемый громкими напутствиями рабочих, поплыл в город.

Меж тем во всем караване кашевары ужин сготовили. Пользуясь отъездом Василия Фадеева и тем, что водоливы с лоцманом, усевшись на восьмой барже, засаленными, полуразорванными картами стали играть в три листика, рабочие подсластили последнюю свою ужину – вдоволь накрави рыбы и навалили ее во щи. На шестой да на седьмой баржах щи были всех вкусней – с севрюгой, с осетриной, с белужиной. Супротив других обижены были рабочие на восьмой барже – там нельзя было воровать: у самого лаза в мурью лоцман сидел с водоливами за картами; да и кладь-то к еде была неспособная – ворвань... Хорошо поужинали, на руку было рабочим, что вдвое супротив обычного ели, щи-то заварены и каша засыпана были еще до того, как слепые сбежали. Иным и в рот уже не лезло, да не оставлять же добро – понатужились и все дочиста поели.

Две трети рабочих, наевшись, тотчас же спать завалились, человек с двадцать в кучу собралось. Опять пошло галденье.

Как на каменную стену надеялись они на Василия Фадеева и больше не боялись ни водяного, ни кутузки, ни отправки домой по этапу; веселый час накатиł, стали ребята забавляться: боролись, на палках тянулись, дрались на кулачки, а под конец громкую песню запели:

Как споем же мы, ребята, про кормилицу,
Про кормилицу про нашу, Волгу-матушку,
Ах, ну! Ох ты мне! Волгу-матушку.
Мы поплавали по матушке и вдоль, и поперек,
Истоптали мы, ребята, ее круты бережки,
Ах, ну! Ох ты мне! Ее круты бережки.
Исходили мы на лямке все ее желты пески,
Коли плыли мы, ребята, от Рыбной к Костроме.
Ах, ну! Ох ты мне! Как от Рыбной к Костроме.
А вот город Кострома – гульливая сторона,
А пониже ее Плес, чтоб шайтан его пронес.
Ах, ну! Ох ты мне! Чтоб шайтан его пронес.
За ним Кинешма да Решма – тамой девушки не честны,
А вот город Юрьевец – что ни парень, то подлец.
Ах, ну! Ох ты мне! Что ни парень, то подлец.
В Городце-то на горе по три девки на дворе,
А вот город Балахна – стоят полы распахня.
Ах, ну! Ох ты мне! Стоят полы распахня.
А вот село Козино – много девок свезено,
Еще Сормово село – соромники наголо.
Ах, ну! Ох ты мне! Соромники наголо.
А вот Нижний городок – ходи, гуляй в погребок,
Вот Куманино село, в три дуги меня свело.
Ах, ну! Ох ты мне! В три дуги меня свело!
А вот Кстово-то Христово, развеселое село,
Хоша чарочка маленька, да винцо хорошо.
Ах, ну! Ох ты мне! Да винцо хорошо.
Вот село Великий Враг – в каждом доме там кабак,
А за ним село Безводно – живут девушки зазорно.
Ах, ну! Ох ты мне! Живут девушки зазорно.
Рядом тут село Работки – покупай, хозяин, водки.

Вот Слопинец да Татинец – всем мошенникам кормилец.
Ах, ну! Ох ты мне! Всем мошенникам кормилец⁷⁴...

Громче и громче раздается по каравану уда́лая песня. Дядя Архип молча и думчиво сидит у борта и втихомолку ковыряет лапотки из лык, украденных на барже соседнего каравана. На своем красть неловко – кулаки у рабочих, пожалуй, расходятся.

– Чего заорали, чертовы угодники? Забыли, что здесь не в плесу? – крикнул он распевшимся ребятам. – Город здесь, ярманка!.. Оглянуться не успеешь, как съедут с берега архангелы да линьками горла́-то заткнут. Одну беду избыли, на другую рветесь!.. Спины-то по плетям, видно, больно соскучились!..

Смолкли певуны, не допели разудалой бурлацкой песни, что поминает все побережье Волги-матушки от Рыбной до Астрахани, поминает соблазны и заманчивые искушенья, большею частью рабочему люду недоступные, потому что у каждого в кармане-то не очень густо живет. Не вскинься на певунов дядя Архип, спели б они про «Суру реку важную – донышко серебряно, кру́ты бе́режки позолоченные, а на тех бережках вдовы, девушки живут сговорчивые», спели бы, сердечные, про свияжан-лещевников, про казанских плаксивых сирот, про то, как в Тютешах городничий лапотъ плел, спели бы про симбирцев гробокрадов, кочанников, про сызранцев ухорезов, про то, как саратовцы собор с молотка продавали, а чилимники⁷⁵, тухлая ворвань, астраханцы кобылятину вместо белой рыбыцы в Новгород слали. До самой Бирючей Косы пропели бы, да вот дядя Архип помешал.

И дело говорил он, на пользу речь вел. И в больших городах и на ярманках так у нас повелось, что чуть не на каждом шагу нестерпимо гудят захожие немцы в свои волынки, наигрывают на шарманках итальянцы, бренчат на цимбалах жида, но раздайся громко русская песня – в кутузку певцов.

Смолкли рабочие, нахмурясь, кругом озирались, а больше на желтый сыпучий песок кунавинского берега; не идет ли в самом деле посуленный дядей Архипом архангел. Беда, однако, не грянула.

Иные забавы пошли у рабочих. Скучно.

Здоровенный, приземистый, но ширь в плечах парень, ровно из перекатного железа скроенный, Яшка Моргун, первый возвеселил братию, первый нову забаву придумал. Опрокинул порожнюю из-под сельдей кадку, сел на нее и крепко обвил ногами. Вызывает охотников треснуть его кулаком во всю ширь аль набтмашь, как кому сподручнее: свалится с кадки, платит семитку⁷⁶, усидит – семитка ему; свалится вместе с кадушкой, ног с нее не спуская – ни в чью. Сыскались охотники, восемь раз Моргун не свалился, два раза кадка свалилась под ним, и повалился он плашмя, не выпустив кадки из ног. Четвертак без малого у Яшки в кармане, – за косушкой послал.

– Хочешь, ребята, стану орехи лбом колотить? – так после подвигов Яшки голосом зычным на всю артель крикнул рябой, краснощекий, поджаристый, но крепко сколоченный Спирька, Бешеным Горлом его прозывали, на всех караванах первый силач. – Не простые орехи, грецкие стану сшибать. Что расшибу, то мое, а который не разобью, за то получаю по плухе – хошь ладонью, хошь всем кулаком.

С шумом, с криком, со смехом артель приняла вызов Спирьки. Софронку к бабенке перекупке на бе́рег послали, два фунта грецких орехов Софронка принес; шесть оплеух, все кулаком, Бешену Горлу достались, остальными орехами Спирька вдоволь наладомился.

⁷⁴ Путевая бурлацкая песня. В ней больше чем тремстам местностям от Рыбинска до Бирючей Косы (ниже Астрахани на взморье) даются более или менее верные приметы.

⁷⁵ **Чилим** – водяные орехи, Tгра patans.

⁷⁶ Двухкопеечная медная монета.

Кузьма Ядреный, родом алатырец, сильный, мощный крепыш, слова не молвя, на палубу ринулся навзничь. Звонко затылком хватился о смоленые гладкие доски. Лежа на спине, он так похвалялся:

– Катай поленом по брюху, по грошу за раз.

Весело захохотали рабочие и, нахватав поленьев, принялись за работу. Дядя Архип стал было их останавливать: что-де вы, лешие, убийства, что ли, хотите?

– Дурень ты, дядя, – крикнул Кузьма Ядреный ему на ответ. – Спина, что ли, брюхо-то?.. Кости в нем, что ли?.. Духу наберусь, вспучу живот – что твой пузырь. Катай, ребяташки, не слушай его!..

И катали ребята. На целу косушку выиграл Кузька Ядреный и встал как ни в чем не бывало.

И долго еще, пока не стемнело, так забавлялся, так потешался рабочий народ. Не хитры затеи, дики забавы, да что же делать, когда нет иных налицо. Надо же душу чем-нибудь отвести...

Поздно, к самой полночи, воротился на баржи приказчик. Безмолвной, тяжело вздыхающей толпой бурлаки его обступили. Двигаясь важно к казенке, отрывисто молвил Василий Фадеев:

– Милости ждите. Завтра расчет.

И в ночной тиши раздались радостные клики по всему смолокуровскому каравану.

Глава шестая

Себя не помня, на легкой косной стрелой летел разъяренный Марко Данилыч. К устью Оки путь его был. Там на песчаной низменной стрелке⁷⁷, среди балаганов и горами наваленных громоздких товаров, стоял деревянный, невзрачный, в дикую краску окрашенный домик с белыми пристенными столбами и с широким крыльцом на набережную. Возле домика стоял высокий шест, на верхушке его веял флаг, белый с зелеными полосами, нашитыми крестом с угла на угол. В том домике хозяева судов и кладчики предъявляли накладные и паспорта, платили судоходные пошлины и разделялись по иным статьям. Тут же чинились суд и расправа... Вздерут, бывало, забудыжного буяна-бурлака как сидорову козу, да ему же велят грош-другой на розги пожертвовать, потому что место казенное, розги дело покупное, а на них из казны сумм не полагается.

На грязном донельзя крыльце молча сидел одетый в белый холщовый китель молодой солдат из евреев. Штопал израилев сын рваный суконный мундир с зеленой выпушкой. Вкруг крыльца на сыпучем песке, переминаясь с ноги на ногу, жарясь под лучами полуденного солнца и тихонько ругаясь крепкой русскою бранью, толпился серый народ, поджидая «водяного». Были тут судовщики, были кладчики, были приказчики, лоцмана, водоливы и многое множество простого рабочего люда. Тщетно, однако, все ожидали, – тем утром чайники, отпев благодарный молебен Макарию за исправный приход баржей с кяхтинским чаем, собирались на радостях у Никиты⁷⁸ и завтраком кормили у него «начальство». Смотрителю судоходства, стало быть, не до просителей. Нет его в «канцелярии», а на нет и суда нет...

Краем уха не слушая юркого, торопливого еврейчика, с жаром уверявшего, что «его благородия гасшпадина капитана нема́», Марко Данилыч степенно прошел в канцелярию, где до десятка мрачных, с жадными взорами, вольнонаемных писцов перебирали бумаги, стучали на счетах и что-то записывали в просаленные насквозь толстые книги. Никто не хотел сказать ему, где «водяной» и скоро ли он воротится. Ровно все оглохли и с досадой отмахивались рукою – отвяжись, мол, не до тебя. Двугривенный развязал язык одному писцу, узнал от него Марко Данилыч, что лучше побывать вечерком, потому что капитан с праздника раньше шести часов не воротится, да и то будет «устамши». Досадно, да нечего делать: иди с чем пришел. В чайные другого двугривенного, а глядя по делу и целого рублевика, проглаголавший писарь вскочил поспешно со стула, отвел Марка Данилыча в сторону и, раболепно нагнувшись к плечу его, вполголоса стал уговаривать, чтоб он рассказал свою надобность, уверяя, что и без капитана он всякое дело может обделать. Не таково было дельце Марка Данилыча, чтоб говорить о нем с писарями. Слова не молвив в ответ, важно он повернулся и вышел. Сморщился писарь, злобно взглянул на купчину и, сплюнув в сторону, отер рукавом нанкового сюртука пот, от духоты выступавший на сизо-красном лице его. Потом, поглядев в окно, не воротится ли проситель, сел с досадой на место, крикнул сердито и снова принялся за бумажную работу.

Слова домашним не молвил Марко Данилыч о том, что случилось с ним в караване. Тепел, любезен бывал он во всякое время к дочке любимой, но теперь встретил угрюмо ее... На ласки Дуни, на приветы ее отмалчивался, только что гладил жесткой рукой по нежной головке да только раз холодно поцеловал белоснежное чело ненаглядной своей красавицы... Зло разбирало его. Кипела душа, туманила ум, только и думы – как бы покрепче, как бы покруче расправиться с бунтовщиками... Всем доставалось – клял и ругал в уме своем Марко Данилыч бурлаков, клял и ругал водяного за то, что уехал на завтрак, чайников клял-проклинал, что

⁷⁷ Стрелка (в старину «стрелица») – острая, долгая коса у слияния двух рек.

⁷⁸ Лучший у Макарья ресторан.

вздумали в самый тот день завтраком задобрить начальство, даже Никиту клял и ругал, зачем завтрак сготовил... Всем сестрам по серьгам!

А Дуня вьется вокруг отца, увивается.

– Соскучилась я без тебя, тятя. Глаза проглядела. Все смотрела, не едешь ли ты...

Так чистым голубем ворковала красавица Дуня, ласкаясь к отцу... Но только и могла добиться сухого:

– Спасибо, доченька!.. Спасибо.

Сама еще не вполне сознавая неправду, Дуня сказала, что без отца на нее скука напала. Напала та скука с иной стороны. Много думала Дуня о запоздавшем к обеду отце, часто взглядывала в окошко, но на память ее приходил не родитель, а совсем чужой человек – Петр Степаных. Безотвязно представал он в ее воспоминаньях... Светлый образ красивого купчика в ярком, блестящем, радужном свете она созерцала...

Обед прошел в строгом молчанье, не было веселой застольной беседы. Мерны в ухе сурские стерляди, но Марку Данилычу мстится⁷⁹, будто навар в ней не вкусен... Сочна и жирна осетрина, но не приглядна ему; вкусны картофельные оладьи с подливой из свежих грибов, но вспало на ум Марку Данилычу, что повар разбойник нарочно злодейскую шутку с ними сшутил, в великие дни госпожинок на скоромном масле оладьи изжарил. Досадливо ни за что ни про что ворчал Смолокуров на угодливого полового, но голоса не возвышал – у дочери на глазах никогда не давал он воли гневным порывам своим.

Лишь тогда, как на смену плотного обеда был принесен полведерный самовар и Марко Данилыч с наслаждением хлебнул душистого лянсину, мысли его прояснились, думы в порядок пришли. Лицо просияло. Весело зачал он с дочерью шутки шутить; повеселела и Дуня.

Лицо ее новым отцу показалось. Глаза ни с того ни с сего вспыхивали дрожащим блеском, а томная, будто усталая улыбка с румяных пухленьких губ не сходила. Полсамовара покончили, когда вошел Самоквасов. Радостно вспыхнула Дуня, взглянув на него, и тотчас опустила заискрившиеся глазки... Тщетно силилась она скрыть свою радость, напрасно хотела затуманить ясные взоры, подавить улыбку светлого счастья... Нет, не могла. Замялась с минуту и, тихо с места поднявшись, пошла в свою комнату... «Ровно ангел Господень с даром небесным прошел», – так подумалось Петру Степановичу, когда глядел он вслед уходившей красавицы.

Помолчав немножко и оправившись от минутного смущенья, бойко, развязно молвил он Марку Данилычу:

– А я к вам с известьем. Сейчас пили чай вместе с Зиновьем Алексеичем. К вам собирается с Татьяной Андревной и с дочками.

– Милости просим. Рады гостям дорогим, – радушно ответил Марко Данилыч. – Дарья Сергевна, велите-ка свеженький самоварчик собрать да хорошенького чайку заварите... Лянсин фу-чу-фу! Понимаете? Распервейший чтобы был сорт, по восьми рублей фунт! А вы садитесь-ка, Петр Степаных, погостите у нас.

Дарья Сергевна вышла Дуню принарядить и по хозяйству распорядиться. Самоквасов остался вдвоем с Марком Данилычем.

Чтоб угодить ему, Петр Степаных завел любимый его разговор про рыбную часть, но тем напомнил ему про бунт в караване... Подавляя злобу в душе, угрюмо нахмурив чело, о том помышлял теперь Марко Данилыч, что вот часа через два надо будет ехать к водяному, суда да расправы искать. И оттого не совсем охотно отвечал он Самоквасову, спросившему: есть ли на рыбу покупатели?

– Какие тут покупатели? – промолвил он.

– Давеча встретился я с одним знакомым, он сказывал, будто бы на орошинском караване дела зачинаются, – молвил Петр Степаных.

⁷⁹ Мститься – мерещиться, казаться, чудиться... Северо-восточное слово.

– То Орошин, а то мы! – нехотя промолвил Марко Данилыч. – Всяк по своему расчету ведет дела. Орошину, значит, расчет, а нам его нет.

И вдруг замолк. Крепко стиснув зубы, пальцами стал по столу барабанить, – бурлаки у него из головы не шли. Минуты две длилось молчанье. Не по себе стало, наконец, Петру Степанычу, не может он придумать, что случилось с Марком Данилычем; всегда с ним был он ласков и разговорчив, а тут ровно что на него накатило. «Не осерчал ли, что частенько ходить к нему повадился?» – думает Самоквасов. И, взглянув на диван, увидел на нем шелковый голубенький платочек... Вздогнул весь – будь он один в комнате, так бы и расцеловал его... «Не приметил ли разве чего Марко Данилыч? – продолжал он думать про себя. – Эти отцы ух какие зоркие – насквозь тебя видят... Что же?.. Разве дурное на мыслях держу?.. И она ровно бы сердитая, только вошел я – тотчас из горницы вон». И грустно, и досадно стало Петру Степанычу, а на что досадно, сам того не знает.

– Вечерком опять на ярманку? – робко спросил он смолкшего Марка Данилыча.

– Еще не знаю, – мрачно отвечал ему Смолокуров. – Гости к нам будут, да еще мне съездить надо кое-куда... Ненадолго, а надобно съездить... Хотелось бы повеселить мою баловницу, – прибавил Марко Данилыч после короткого молчанья, – да не знай, удосужусь ли.

– Всем бы вместе ехать, – молвил Самоквасов, робко взглянув на угрюмого Марка Данилыча. – Дорониным и вам бы с семейством. Ежели угодно, я бы и коляски достал... У меня тут извозчики есть знакомые, а без знакомых трудно здесь хорошую коляску достать...

– На всякий случай похлопочите, – небрежно выронил слово Марко Данилыч.

– Трех-, четырехместных будет достаточно? – быстро спросил Петр Степаныч на радостях от ласкового взгляда Смолокурова.

– За глаза, – отвечал тот. – В самом деле, вместе-то ехать будет охотнее... Да вот не знай сам-от, удосужусь ли.

И снова подумалось Петру Степанычу, что Марко Данилыч осерчал на него... И оттого словно черная хмара разлилась по лицу его... В это самое время вошли Доронины.

– Друг любезный!.. Марко Данилыч!.. – весело и громко здоровался Зиновий Алексеич и, приняв друга в широкие объятия, трижды поликовался с ним со щеки на щеку.

– Здравствуй, Зиновий Алексеич!.. Вот где Господь привел свидеться! – радостным голосом говорил Марко Данилыч. – Татьяна Андревна, здравствуйте, сударыня! Давненько с вами не видались... Барышни, Лизавета Зиновьевна, Наталья Зиновьевна!.. Выросли-то как!.. Господи!.. Да какие стали красавицы!.. Дуня, а Дуня! Подь скорее, примай подружек, привечай барышен-то... Дарья Сергевна, пожалуйста-ка сюда, матушка!

Показалась в дверях Дуня и зарделась, как маков цвет. Положив здоровенную ладонь на круглое, пышное плечико дочери, Марко Данилыч подвел ее к Татьяне Андревне, а потом к дочерям ее. И Дарью Сергевну с Татьяной Андревной познакомил.

Перецеловались, как водится. Дарья Сергевна тотчас увела Татьяну Андревну в соседнюю комнату поближе к самоварчику и там разговорилась с ней о том, какво хорошо огурцы уродились и какое-то Господь яблокам совершенье пошлет... Затем домовитые хозяйки повели нескончаемую беседу про то, с чем лучше капусту рубить, с анисом аль с тмином, сколько надо селитры класть, чтобы солонина казалась пригляднее, каким способом лучше наливки настаивать, варенья варить, соленья готовить. Дошло дело и до квасу на семи солодах и до того, как надо печь папушники, чтоб были они повсхожее да попышнее, затем перевели речь на поварское дело – тут уж ни конца, ни краю не виделось разговорам хозяйошек.

В приемной комнате девицы, усевшись на широком, хоть и не очень мягком диване, отрывисто перебрасывались тихими, скромными речами, а Марко Данилыч сел с приятелем у открытого окна и завел речь про торговые дела у Макарья. Волей-неволей и Петр Степаныч присоединился к ним. Охотней сел бы он в девичий круг, да не повелось того за обычаем у людей старого завета... Зазорно у них молодому да притом еще холостому на людях в разго-

воры вступать с девицами, ежели с ними из старших кто-нибудь не сидит. Украдкой мечет Самоквасов на Дуню страстные взоры, а сам то и дело оглядывается, не заметил бы отец. И, когда его взоры встречались со взорами Дуни, ярким багрецом рделись свежие ее ланиты и, хмуря слегка белое, ровно кипень, чело, стыдливо глаза она опускала, либо спешила скорее в сторону их отвести.

Не может налюбоваться на Дуню Наташа, меньшая Дорониных дочь, но не может и понять, отчего так она волнуется, отчего беспокойно на месте сидит – нет-нет да и вспыхнет вся, ровно маков цвет раскраснеется... Чиста, непорочна Наташа была, сердечных тревог еще не извела – ее пора еще не пришла. Но Лизавета Зиновьевна, что постарше своей сестрицы была и много поопытнее, кое-что сразу заметила, – не скрылось от взоров ее ничего. С теплым, добрым участием смотрела она то на таявшего в безмолвье Самоквасова, то на рдевшую от его взглядов Авдотью Марковну. Тихая, ясная, хоть и грустная несколько улыбка скользила по пурпурным устам старшей Дорониной. «Так вот отчего он целое утро у нас про нее одну говорил». Так думала Лизавета Зиновьевна, глядя на Дуню кроткими своими очами.

– А что, Марко Данилыч? Как у вас, примерно сказать, будет насчет тюленьего жиру? – спрашивал между тем Зиновий Алексеич у приятеля, принимая поднесенный ему стакан редкостного лянсина фу-чу-фу.

– А тебе что? – усмехнулся Марко Данилыч. – Закупать не хочешь ли?... Не советую – дело по нонешнем временам бросовое.

– Стану я на новы дела метаться!.. – степенно вскрикнул Доронин. – И заведенными остаемся, слава Богу, довольны.

– Так что ж тебе за дело до тюленя? – пристально посмотрев на приятеля, спросил Марко Данилыч.

– Человек у меня есть. Для него спрашиваю, – ответил Доронин, смотря на что-то в окошко.

– Что за человек такой? – прищуря глаза, спросил Смолокуров.

– Человек хороший, – молвил Зиновий Алексеич. – На низу у него много-много-таки этого тюленьего жиру. И рыбий есть – топил из бешенки... Да делишки-то у него маленько теперь позамялись – до сей поры не весь еще товар на баржи погружен. Разве, разве к Рождеству Богородицы прибудет сюда.

Не очень бы, казалось, занятен был девицам разговор про тюлений жир, но две из них смутились: Дуня оттого, что нечаянно взглядами с Самоквасовым встретила, Лизавета Зиновьевна – кто ее знает с чего. Сидела она, наклонившись над прошивками Дуниной работы, и вдруг во весь стан выпрямилась. Широко раскрытыми голубыми глазами с незаметной для других мольбой посмотрела она на отца.

– Не след бы мне про тюлений-то жир тебе рассказывать, – сказал Марко Данилыч, – у самого этого треклятого товару целая баржа на Гребновской стоит. Да уж так и быть, ради милого дружка и сережка из ушка. Желаете знать напрямик, по правде, то есть по чистой совести?... Так вот что скажу: от тюленя, чтоб ему дохнуть, прибыли не прятки. Самое последнее дело... Плюнуть на него не стоит – вот оно что.

Лизавета Зиновьевна вдруг схватила из рук сестры зонтик и стала то открывать, то закрывать его.

Чуть-чуть покачал головой Зиновий Алексеич и, крякнув с досады, крикнул жене в соседнюю комнату:

– Татьяна Андревна! А Татьяна Андревна! Подь-ка сюда на словечко.

Медленно встала со стула Татьяна Андревна, тихо к дверям подошла, стала в них и пытливыми глазами посмотрела на мужа.

– Слышь, что Марк-от Данилыч сказал? – молвил Доронин. – Тюлень-от, слышь, плевка ноне не стоит... Вот оно что!..

На миг, на один только миг, сверкнули искры в очах Татьяны Андревны и дрогнули губы. Пригорюнилась она и тихим, чуть слышным голосом покорно промолвила:

– Власть Господня!..

И затем тихою поступью пошла к Дарье Сергевне, остановившейся на какой-то кулебяке с рыбой и гречневой кашей. Закусив нижнюю губку, чуть удерживая слезы, Лизавета Зиновьевна за матерью пошла.

– Да, – продолжал Смолокуров, – этот тюлень теперича самое последнее дело. Не рад, что и польстился на такую дрянь – всего только третий год стал им займаться... Смолоду у меня не лежало сердце к этому промыслу. Знаешь ведь, что от этого от самого тюленя брательнику моему, царство ему небесное, кончина приключилась: в море потоп...

В соседней комнате стук послышался. Чайную чашку выронила из рук Дарья Сергевна, а та разбилась вдребезги.

– Колотите больше, – усмехнулся Марко Данилыч. – Это, говорят, на счастье.

Ни слова не ответила Дарья Сергевна.

– Уж как мне противен был этот тюлень, – продолжал свое Смолокуров. – Говорить даже про него не люблю, а вот поди ж ты тут – пустился на него... Орошин, дуй его горой, соблазнил... Смутил, пес... И вот теперь по его милости совсем я завязался. Не поверишь, Зиновий Алексеич, как не рад я тюленьему промыслу, пропадай он совсем!.. Убытки одни... Рыба – дело иное: к Успеньеву дню расторгнемся, надо думать, а с тюленем до самой последней поры придется руки сложивши сидеть. И то половины с рук не сойдет.

– Отчего ж это так? – спросил Зиновий Алексеич.

– Новый тариф!.. – с досадой ответил Марко Данилыч.

– Какое же в новом тарифе может быть касательство до тюленьего жира? Не из чужих краев его везут; свое добро, российское.

– Свое-то свое, да ведь не с кашей его есть, – молвил Марко Данилыч. – На ситцевы фабрики жир-от идет, в краску, а с этим тарифом, – чтоб тем, кто писал его, ни дна ни покрышки, – того и гляди, что наполовину фабрик закроется. К тому ж ноне и хлопку что-то мало в Петербург привезли, а это тюленьему жиру тоже большая вреда... Потому, куда ж его денешь, как не на ситцевы фабрики?.. На мыло, думаешь?.. Так немца какого-то, пес его знает, бес угораздил какую-то кислоту олеинову выдумать... От стеариновых свечей остается; на выброс бы ее следовало, а немцы, бесовы дети, мыло стали из нее варить. А допрежь тюлений жир на мыло много требовался. От эвтих от самых причин в нонешнем году его и подкузьмило. Того и гляди, весь на руках останется... Понял? В коммерции-то ведь каждая вещь одна за другую цепляется, одна другой держится. Все едино, что часы, – попорть одно колесико, все станут.

– Да, поди-ка вот тут! – думчиво молвил Доронин.

– Во всем так, друг любезный, Зиновий Алексеич, во всем, до чего ни коснись, – продолжал Смолокуров. – Вечор под Главным домом повстречался я с купцом из Сундучного ряда. Здешний торговец, недалний, от Старого Макарья. Что, спрашиваю, как ваши промысла? «Какие, говорит, наши промысла, убыток один, дело хоть брось». Как так? – спрашиваю. «Да вот, говорит, в Китае не то война, не то бунт поднялся, шут их знает, а нашему брату хоть голову в петлю клади».

– Какое же касательство может быть Китаю до сундучников? – с удивленьем и почти с недоверьем спросил Зиновий Алексеич. – Пуцай бы их там себе воевали на здоровье, нам-то какое тут дело?

– То-то вот и есть... – молвил Смолокуров. – Вот оно что означает коммерция-то. Сундуки-то к киргизам идут и дальше за ихние степи, к тем народам, что китайцу подвластны. Как пошла у них там завороха, сундуков-то им и не надо. От войны, известно дело, одно разоренье, в сундуки-то чего тогда станешь класть?.. Вот, поди, и распутывай дела: в Китае дерутся, а у Старого Макарья «караул» кричат. Вот оно что такое коммерция означает!

– Значит, плохо будет тюленю? – маленько помолчав, еще раз спросил Зиновий Алексеич.

– Плохо, – отозвался Марко Данилыч. – Хоть бы Господь привел бы на двадцать на четыре месяца, и то бы слава Богу...

Сморщился Доронин и смолк. Кинул он мимолетный взгляд на вышедшую от Дарьи Сергевны дочь, и заботливое беспокойство отразилось в глазах его. Не подходя к дивану, где сидели Дуня с Наташей, Лизавета Зиновьевна подошла к раскрытому окну и, глаз не сводя, стала смотреть на волжские струи и темно-синюю даль заволжских лесов...

– А много ль жиру-то у твоего знаконца? – немного помолчав, спросил у Доронина Марко Данилыч.

– Баржи на три... Почти весь капитал усадил, – ответил Доронин.

– Плохо, – молвил Марко Данилыч. – Здорово не выдерется... Да кто таков? Я промышленников всех знаю, и рыбных и тюленых.

– Маркелов Никита Федорыч, саратовский, – ответил Доронин.

– Молоденький-от? Что в кургузом-то сюртучишке стал щеголять? Ровно собаки у него полы-то обгрызли? – отозвался Марко Данилыч. – Дрянцо! Ветрогон! С ног до головы никуда не годится! К тому же и в вере не крепок – повелся с колонистами, с нехристью дружбу завел, богоборную их веру похваляет... Не больно знаю его, да и знать не имею желания... Родителя его, Федора Меркулыча, знал достаточно, иной год соседями по ватагам бывали, в Юсуповских водах⁸⁰ участки рядом снимали. Обстоятельный был человек, благочестивый, к истинной, старой, значит, вере большую ревность имел. И деды были таковы же и прадеды. Со дней Николова гоненья до дня блаженной кончины Федора Меркулыча у них в доме канонницы на один час не переводились, негасимую по усопшим читали, божественные службы правили. И священство древлего благочестия у Меркуловых в доме завсегда пребывало. Преисполнен был дом благочестия, а вот какому блудному сыну достался он! Да еще блудному нераскаянному! Чем бы святые, древлеписанные иконы собирать, смехотворные картины да языческих богов изображения скупает! Чем бы хорошие книги покупать, он – скоморошные, нечестивые, богоотметные!.. Совсем пропащий человек!

Быстро откинувшись от окна Лизавета Зиновьевна. Лицо ее пылало, ярим блеском глаза загорелись. Гневно окинув очами Марка Данилыча, строго, спокойно, молча прошла она к Дарье Сергевне.

– Да, Федор Меркулыч человек был мудрый и благочестивый, – продолжал Смолокуров. – Оттого и тюленем не займвался, опричь рыбы никогда ничего не лавливал. И бешенку на жир не топил, «грешно, говорил, таку погань в народ пускать, для того что вкушать ее не показано...». Сынок-от не в батюшку пошел. В тюленя весь капитал засадить... Умно, неча сказать... Променял шило на свайку... Нет, дружище, ежели и вперед он так пойдет, так, едучи в лодке, пуще, чем в бане, угорит.

– А как по-твоему? Можно поправить его дела? – спросил Зиновий Алексеич.

– Умненько надо вперед поступать, тем только и можно их поправить, – ответил Марко Данилыч. – Завсегда так надо делать, чтобы каждого сорта товар хоть по сколько-нибудь, хоть по самой малости налицо был. На одном принял убыток, на другом вернешь его... Понял?.. А он ни с того ни с сего весь капитал ухнул в тюленя!.. Ну, не дурова ли голова?.. Сядет только малый на бобах, беспрерывно сядет... А капитал-от у родителя был изрядный, тысяч ста полтора, надо полагать. Много ль сыновей-то после Федора Меркулыча осталось?

– Один всего только и есть, – ответил Доронин. – Сестра еще была, да та еще при жизни родителя выделена... Матери нет... Так ему проторговаться, говоришь?

⁸⁰ Юсуповские воды находятся в Поморье, от Синего Морца к северу. Они обыкновенно сдаются на откуп участками.

– Не миновать, – молвил Марко Данилыч. – Говорю тебе: нет на тюленя покупателей и вперед не предвидится.

Пуще прежнего насутился Зиновий Алексеич.

– Неужто ж дело его совсем непоправное? – после долгого молчанья спросил Доронин.

– Как тебе сказать?.. – молвил Марко Данилыч. – Бывает, и курица петухом поет, бывает, и свинья кашлит. Может, чудом каким и найдет покупателей... Только навряд... Да у тебя векселя, что ли, на него есть?

– Какие векселя! – отозвался Зиновий Алексеич.

– Так что ж тебе сухотиться?.. Сам кашу заварил, сам и расхлебывай, – сказал Смолокуров.

– Парня-то было жаль. Парень-от хорош больно, – с сердечным участием промолвил Доронин.

– Какое хорош! – с досадой сказал Марко Данилыч. – Как есть шалыган, повеса... С еретиками съякшался, с колонистами!..

– С покойным его родителем мы больше тридцати годов хлеб-соль важивали, в приятельстве были... – продолжал Зиновий Алексеич. – На моих глазах Никитушка и вырос. Жалко тоже!.. А уж добрый какой да разумный.

– Разумный! – насмешливо возразил Марко Данилыч. – Где ж у него ты разум-от нашел? В том нешто, что весь капитал в тюленя усадил?

– Это уж его несчастье. Со всяким такое может случиться, – продолжал Зиновий Алексеич защищать Меркулова. – А что умен он, так умен, это уж кого хочешь спроси – на весь Саратов пошлюсь.

– Умен, да не догадлив, – усмехнулся Марко Данилыч. – А ум без догади⁸¹ – шут ли в нем? И по Волге плывешь, так без догади-то как раз в заманиху⁸² попадешь. А не хватило у самого догади, старых бы людей спросил... Посоветовался бы с кем... Так нет – мы-де, молодые, смыслим больше стариков, им-де нас не учить. А на поверку и вышло, что Никитушка ровно молодой журавль – взлетел высоко, а сел низенько. А все нечестие! Все оттого, что в вере повихнулся, с нехристью повязался... Безбожных, нечестивых колонистов, в истинного Бога не верующих, похваляет!.. А! Чего еще тебе?.. Теперь при его несчастье кто из нашего благочестия руку помощи ему протянет? Кто из беды выручит? А нечестивцы себе на уме, им бы только барыш взять, а упавшего поднять – не их дело!.. Да... Ну что бы ему с кем из нашего брата посоветоваться? Добрым словом не оставили бы... То-то и есть: молодые-то люди что новы горшки – то и дело бьются, а наш-от старый горшок хоть берестой повит, да три века живет. Мблоды опенки, да черви в них, а стар дуб, да корень свеж... А вы, сударь Петр Степаныч, к стариковским-то речам прислушайтесь, да ежели вздумаете что затевать, с бывалыми людьми посоветуйтесь – не пришлось бы после плакать, как вот теперь Меркулову...

– Сами знаете, Марко Данилыч, что не падок я на новости. Дело, дедами насиженное, и то дай Бог вести, – молвил Самоквасов.

– Ну, рыбну-то часть я бы вам советовал, – возразил Марко Данилыч. – Очень бы даже не мешало ее испробовать... У вас же нашлись бы люди, что на первых помогли бы советом... Вы ведь не Меркулов, шалопайства за вами, кажись, не видится, опять же и в благочестии не шатаетесь... Оттого, что бы там по вашим делам ни случилось, ото всех наших во всякое время скорая вам будет помощь... В каку ямину ни попадете – на руках, батюшка, вытащим, потому что от старой веры не отшатываетесь. Будьте в том уповательны – только по греховным стопам не ходите... Только это одно.

⁸¹ То же, что и догадка. Употребляется в нагорном Поволжье, в Пензенской и Тамбовской губерниях.

⁸² **Заманиха** – глухое русло, ложный фарватер, глубина, замкнутая с трех сторон невидимыми, подводными отмелями.

– Нет, уж от рыбного-то дела увольте, Марко Данилыч, – весело смеясь, сказал Петр Самоквасов. – Гривна в кармане дороже рубля за морем.

– Молод телом, а старенок, видно, делом, – кивнув на Петра Степаныча, заметил Зиновий Алексеич, напрасно стараясь вызвать улыбку на затуманившемся лице своем.

– Что ж? За это хвалю, – молвил Марко Данилыч, – но все-таки, – прибавил, обращаясь к Самоквасову, – по рыбной-то части попробовать бы вам. Рыба не тюлень... На ней всегда барыши...

– Нет уж, Марко Данилыч, какие б миллионы на рыбе ни нажить, а все-таки я буду не согласен, – с беззаботной улыбкой ответил Самоквасов.

– Напрасно, – слегка хмурясь, сказал Марко Данилыч и свел разговор на другое.

– А что, Зиновий Алексеич, возил ли хозяйюшку с дочками на ярманку? – спросил он у Доронина.

– Показал маленько, – отозвался Зиновий Алексеич. – Всю, почитай, объехали: на Сибирской⁸³ были, Пароходную смотрели, под Главным домом раз пяток гуляли, музыку там слушали, по бульвару и по Модной линии хаживали. Показывал им и церкви иноверные, собор, армянскую, в мечеть не попали, женский пол, видишь, туда не пускают, да и посмотреть-то нечего там, одни голы стены... В городу – на Откосе гуляли, с Гребешка на ярманку смотрели, по Волге катались.

– Ишь как разгулялись! – молвил Марко Данилыч. – А в театрах?

– Нет еще, а грешным делом собираюсь, – отвечал Доронин. – Стоящие люди заверяют, что хоша там и бесу служат, а бесчиния нет, и девицам, слышь, быть там не зазорно... Думаю повеселить дочек-то, свожу когда-нибудь... Поедем-ка вместе, Марко Данилыч!

– Со всяким моим удовольствием, – отвечал Смолокуров. – Ты без нас уж не ездил. Не поверишь, сколь я рад, видевшись с тобой да с Татьяной Андревной... Видишь ли, у меня Дарья Сергевна, покойника брата Мокея невеста – по хозяйству золото, а по этой части совсем никуда не годится... Смиреница, постница, богомольница, что твоя инокиня... Ни за что на свете не поедет она не токма в театр, а хоша б и под Главный дом... А без старшей из женского полу как девицу в люди везти?.. А с Татьяной-то Андревной оно и можно... Ты уж сделай милость, Зиновий Алексеич, с сей минуты от нас ни на пядь... По старой дружбе не откажи, пожалуйста.

– Радехонек, Марко Данилыч, – отвечал Доронин. – И девицам-то вместе поваднее будет.

– Главное, на людях-то было бы пристойно да обычливо, – поддакнул Марко Данилыч. – Вот и Петра Степаныча прихватим, – с улыбкой прибавил он.

Быстро с места вскочил Самоквасов и с сияющими глазами стал благодарить и Марка Данилыча, и Зиновья Алексеича, что не забыли его.

Решили на другой же день в театр ехать. Петр Степаныч взялся и билеты достать.

– Вот и согрешим, – с довольством потирая руки и ходя по комнате, говорил Марко Данилыч. – Наше от нас не уйдет; а воротимся домой, как-нибудь от этих грехов отмолимся. Не то керженским старицам закажем молиться. Здесь же недалеко... Там, брат, на этот счет ух какие мастерицы!.. Первый сорт!..

– По-моему, и грех-от не больно велик, – отозвался Зиновий Алексеич. – Опять же ярманка!

– Конечно, – согласился Марко Данилыч. – А потом выберем денек, да к ловцам рыбу ловить. Косных у меня вдоволь... Вверх по Оке махнем, не то на Волгу покатым... Уху на бережку сварганим, похлебаем на прохладе!.. Так али нет, Зиновий Алексеич? – прибавил он, хлопнув по плечу друга-приятеля.

– Идет, – весело ответил Зиновий Алексеич. – Песенников не прихватить ли?

⁸³ Сибирская пристань на Волге, где, между прочим, разгружаются чаи.

– Можно и песенников, – согласился Смолокуров. – У Петра Степаныча ноги молодые да прыткие, а делов на ярманке нет никаких. Он сам и смастерит. Так али нет, Петр Степаныч?

Самоквасов с радостью согласился. Об одном только просил – не мешали бы ему и ни в чем не спорили. Согласились на то Смолокуров с Дорониным.

Вплоть до сумерек просидели гости у Марка Данилыча. Не удосужилось ему съездить к водяному. «Делать нечего, подумал, завтра пораньше поеду».

Только что вышли гости, показался в передней Василий Фадеев. Разрядился он в длинно-полую сибирку тонкого синего сукна, с мелкими борами назади, на шею повязал красный шелковый платок с голубыми разводами, вздел зеленые замшевые перчатки, в одной руке пуховую шляпу держит, в другой «лепортицу». Ровно гусь, вытянул он из двери длинную шею свою, зорко, но робко поглядывая на хозяина, пока Марко Данилыч не сказал ему:

– Войди!

Фадеев вошел и стал глядеть по углам, отыскивая глазами икону. Увидев, наконец, под самым потолком крохотный, невзрачный образок и положив перед ним три низких поклона, еще пониже, с подобострастной ужимкой поклонился хозяину, затем, согнувши спину в три погибели, подал ему «лепортицу».

– Насчет рабочих давеча поутрú приказали сготовить, – сказал он сладеньким и подленьким голосом. – Насчет, значит, ихних заборов.

Молча взял бумагу Марко Данилыч. Быстро просмотрел ее и, вскинув глазами на приказчика, строго спросил:

– Это что у тебя за отметки? Сбежал, сбежал, сбежал.

– Давеча, только что изволили съехать с баржей, они гурьбой-с!.. – пожима левым плечом и слегка откинув правую руку, ответил грозному хозяину Фадеев. – Цела половина сбежала-с. Шестьдесят человек.

– А пáчпорты как же? – спросил Марко Данилыч.

– Слепые были-с, – не разгибая спины, но понизив голос, молвил Василий Фадеев.

– Все шестьдесят?

– Так точно-с, – ответил Фадеев. Заискивающим взором только что побитой собаки робко, умильно взглядывал он на хозяина.

– Гм! – под нос себе промышчал Смолокуров и, потирая губу о губу, продолжал рассматривать «лепортицу», чистенько переписанную, разлинованную, разграфленную – хоть самому губернатору подавай.

– Более четырехсот целковых экономии-с, – хихикнул Василий Фадеев.

– Жаловаться не стали бы, – думчиво молвил Марко Данилыч.

– Как же смеют они жаловаться?.. Помилуйте-с!.. – возразил Василий Фадеев. – Ни у кого никакого вида нет-с... Жалобиться им никак невозможно. В остроге сидеть аль по этапу домой отправляться тоже не охота. Помилуйте! – говорил Фадеев.

– А другие что? – спросил Марко Данилыч.

– Смирились-с. На всю вашу волю полагаются. Оченно просят вашу милость, простили б их супротивленье, – умиленным голосом и с покорным видом наклонясь, говорил Василий Фадеев.

– А тот сызранский-от? Из Елшанки, Сидор Аверьянов? – спросил Марко Данилыч.

– Сбежал-с, – тряхнув головой и погладив прилизанные виски, быстро ответил Фадеев и, ровно в чем провинился, уставился на хозяина широкими глазами.

– Без вида был?

– Как есть-с...

Замолчал Смолокуров.

– Самый буянственный человек, – на все стороны оглядываясь, говорил Василий Фадеев. – От него вся беда вышла... Он, осмелюсь доложить вашей милости, Марко Данилыч,

на все искусства завсегда первым заводчиком был. Чуть что не по нем, тотчас всю артель взбудоражит. Вот и теперь – только что отплыли вы, еще в виду косная-то ваша была, Сидорка, не говоря ни слова, котомку на плечи да на берег. За ним все слепые валом так и повалили.

– Впрямь сызранский он? – спросил Марко Данилыч.

– Наверяд-с... – тряхнув головой, ответил Фадеев. – По речам надо быть ему ярославцем... Из служивых, должно быть, солдатик горемычный... беглый... попросту сказать.

– То-то, солдатик. А ты будь пооглядчивей да поопасливей... – внушительно сказал приказчику Марко Данилыч. – Не ровен час – могут неприятности последовать. Больно-то много слепых не набирай.

– Вашей же милости сходнее, Марко Данилыч, – пожав плечами, с плутовской ужимкой, ответил Василий Фадеев. – Слепые-то супротив зрячих много дешевле. Опять же слепенького, когда понадобится, и укротить сподручнее; жалобиться не пойдет, значит, из него хоть веревку вей... Вот хоша бы сегодняшна ваторга⁸⁴ – будь они с пачпортами-то, всей бы оравой сейчас к водяному, а не то и к самому губернатору. Судьбище пошло бы, вам неприятности от начальства, а теперича и жалобщиков нет, и без малого пятьсот целковых в экономии.

– Так-то оно так, а все-таки промеж дверей пальца не тычь, – сказал Марко Данилыч. – Нынче, брат, не прежнее время... Строгости!..

– Известно, по нынешним годам много строже пошло, – встряхнув волосами, молвил приказчик. – Однако ж никто как Господь... Бог милостив.

Марко Данилыч отвернулся от Фадеева, молча прошел к окну и стал разглядывать улицу. После короткого молчанья Фадеев, неслышно шаг за шагом ступая вперед и вытянув шею погусиному, спросил вполголоса Марка Данилыча:

– Насчет остальных какое будет от вашей милости приказание?

Ни слова не ответил Марко Данилыч.

– Дрожмя дрожат-с, до конца сробели... Милости просят, – немножко помолчав, опять стал клянчить у хозяина Василий Фадеев.

– А те?... Дядя-то с племянником, что в первых были? – спросил Смолокуров, продолжая глядеть в окошко.

– Не они были зачинщиками, Марко Данилыч, – проворно отвечал Фадеев. – Всему делу голова Сидорка. Он всю ваторгу затеял; он всех подбил, а Карпушка с племянником люди тихие, смирные... Им бы и в голову не могло прийти, чтобы супротив хозяина буйство поднять... Карпушка-то придурковат маленько; Сидорка ему и пригрозил: не полезешь, дескать, вперед, в воду тебя кину... Он сдуру-то и поверь, да по глупости своей и полез. Ежели б не Сидорка, Карп словечка не молвил бы, потому человек он не смелый... А Софронка, племянник-от его, и вовсе рта не разевал. Мальчишка еще глупый – куда ему?... Просто разиня рот возле дяди стоял.

– Кто ж, опричь Сидорки, больше всех бунтовал? – спросил Марко Данилыч, все еще не повертываясь к приказчику.

– У меня они все переписаны, – быстро сказал Василий Фадеев и, вынув из кармана записочку, стал читать по ней: – Лукьян Носачев, Пахомка Заплавной, Федька Квасник, Калина Затиркин да Евлашка Кособрюхов... Только их теперь донять невозможно.

– Отчего? – повернувшись к Фадееву, спросил Смолокуров.

– Сбежали-с. Тоже из слепеньких были, – проворно перебирая пальцами, с плутовской ужимкой молвил приказчик.

Опять к окну повернулся Марко Данилыч, опять на улице начал прохожих считать.

⁸⁴ Ваторга – шум, буйство, драка.

– По правде сказать, как я уж вам и докладывал, одни слепые и озорничали, – после короткого молчания заискивающим голосом опять заговорил Фадеев. – Останные, кажись бы, стояли смирнехонько... Потому нельзя им буйства заводить – пачпорты.

Молчал Смолокуров.

– Опять же и то взять, – опять помолчав, продолжал свое нести Фадеев. – Только что приказали вы идти каждому к своему месту, слепые с места не шелохнулись и пуще прежнего зачали буйнить, а которы с видами, те, надеясь от вашего здоровья милости, по первому слову пошли по местам... Самым главнеющим озорникам, Сидорке во-первых, Лукьяну Носачеву, Пахомке Заплавному, они же после в шею наклали. «Из-за вас, говорят, из-за разбойников, нам всем отвечать...» Народ смирный-с.

И покорно поник головой, и глубоко вздохнул Василий Фадеев.

– Много ль народу осталось? – спросил Смолокуров.

– Шестьдесят человек ровнехонько.

– На разделку хватит?

– Должно бы хватить.

– Разочти завтра, – молвил Марко Данилыч.

– Слушаю-с, – ответил приказчик и, прокашлявшись в руку, спросил, глядя в сторону: – За простойные дни как прикажете?

– Черт с ними, отдай! – сказал Смолокуров.

– Слушаю-с, – молвил Василий Фадеев и после короткого молчания спросил: – Не будет ли еще каких приказаний?

– Никаких, – угрюмо молвил Марко Данилыч.

Сбираясь уходить, Фадеев, как водится, стал креститься на угол, на едва видимый образ.

– Постой, погоди, – остановил его Смолокуров. – Завтра явись ко мне за расценочной ведомостью, поутру, часу в девятом, а теперь сейчас на баржи... Смотри, на ярманке не загуляй; отсель прямо на караван... Да чтобы все у меня было тихо. Понял?

– Слушаю-с, – приниженным голосом ответил Фадеев и, бойко положив три поясничных поклона перед образом, низко-пренизко поклонился хозяину, промолвивши:

– Засим счастливо оставаться-с.

Вышел было за дверь, но Смолокуров его воротил.

– На тюленя как цены? – отрывисто спросил у него.

– Еще не обозначились-с, – быстро мигая, проговорил Фадеев.

– Дурак!.. Не обозначились!.. Без тебя знают, что не обозначились, – крикнул на него Марко Данилыч. – Что на этот счет говорят по караванам? Вот про что тебя, болвана, спрашивают... Слухи какие ходят для этого предмету?.. На других-то есть караваных?

– Розно толкуют-с, – перебирая пальцами и глядя в сторону, ответил Фадеев. – На орошинских баржах был намерен разговор, что тюленю надо быть рубля на два, а по другим караванам толкуют, что будет два с гривной, даже двух рублей с четвертаком ожидают. Дело закрытое-с...

– Примечай, – мотнув головой, промолвил Марко Данилыч.

– Слушаю-с.

– Чуть что услышишь, тотчас ко мне.

– Слушаю-с.

– С Богом! – махнув рукой, сказал Смолокуров.

Сызнава Фадеев помолился на образок, сызнава отвесил низкий поклон хозяину, быстро юркнув за дверь, осторожно притворил ее за собою.

Долго после его ухода Марко Данилыч сидел у окна, долго ногтями тихонько по стеклу барабанил... Сходил в свою спальную комнату, вынес оттуда счета и с полчаса щелкал на них костями. Что-то высчитывал, над чем-то раздумывал, вдруг его ровно ветром с места

сорвало... Вскочил и с радостным взором не то что прошелся, а чуть не пробежал раз и другой взад и вперед по комнате. Потом к Дуне прошел, нежно простился с ней и, обещав привезти гостинца с ярманки, торопливо схватил картуз и спешно, чуть не бегом, выбежал вон из гостиницы.

– На ярманку!.. – громко крикнул извозчику, садясь в широкие на лежащих рессорах дрожки, порядочно, впрочем, потерянные.

Бойкий кузнечевец⁸⁵ быстро тронулся с места. Через несколько минут въехав на мост через Оку, он спросил седока:

– Которо место в ярманке прикажете?

– В трактир пошел!.. В тот, куда рыбны торговцы по вечерам чай ходят пить, – сказал ему Марко Данилыч.

– А в коем же трактире они чай-от пьют?

– Как же ты этого не знаешь!.. Какой же ты после этого извозчик! – с досадой крикнул Смолокуров.

– А как же нашему брату знать, где какое купечество чаи распивает? – спокойно ответил кузнечевец. – Здесь, ваше степенство, трактиров не перечесть. Кто их знает, кто куда ходит.

– А ты поменьше говори да поменьше умничай! – с досадой молвил Марко Данилыч.

– Нисколько мы не умничаем, господин купец, – продолжал нести свое извозчик. – А ежели нашему брату до всех до этих ваших делов доходить вплотную, где то есть каждый из вас чаи распивает аль обедает, так этого нам уж никак невозможно. Наше дело – сказал седок ехать куда, вези и деньги по такции получай. А ежели хозяин добрый, он тебе бесприменно и посверх такции на чаек прибавит. Наше дело все в том только и заключается.

– Говорят тебе: много не разговаривай! – крикнул Марко Данилыч. – Чем лясы-то распускать, лучше бы поспрошал у кого-нибудь, где тот трактир...

– Вот что дело, то дело, – согласился невозмутимый кузнечевец. – Поспрошать, это можно. Мост-от переехавши, куда же ворочать-то? Направо аль налево?

– К Гребновской пристани ближе ступай... Там спросим.

Хлестнул извозчик добрую красивую обвенку⁸⁶, и дробной рысцой побежала она по шоссейной дороге Сундучного ряда... После долгих расспросов, после многих переездов от одного трактира к другому Марко Данилыч отыскал наконец тот, где в этом году рыбные торговцы по вечерам собирались...

⁸⁵ В Нижнем большая часть легковых извозчиков из подгородных деревень, преимущественно из Кузнечихи.

⁸⁶ Порода небольших, кругленьких, крепких, доброезжих и очень выносливых лошадей. Называются по реке Обве (Пермской губернии), где разведены Петром Великим.

Глава седьмая

Из крупных торговцев, из тузов, что ездят к Макарью, больше половины московских. Оттого на ярманке и порядки все московские. Тех порядков держатся там и сибиряки, и уральцы, народ верховый и низовый – словом, все «городовые»⁸⁷. Как и в московском городе, все торговые сделки ладятся по трактирам. И хозяева, и приказчики из лавки целый день ни ногой, но, только что смеркается, только что зажгут фонари, валом повалят по трактирам. Огонь в лавках воспрещен, а в палатках над ними, где купцы живут, хоть и дозволяют держать огонь часов до одиннадцати, но самовары запрещены. Правда, на эти запреты никто почти внимания не обращает, в каждой лавке ставят самовары и курят табак безо всякой опаски, однако ж по привычке купцы все-таки каждый вечер расходятся по трактирам чайком побаловаться да, кстати, и дельцо, ежели подвернется, обладать.

По вечерам и ярманочные, и городские трактиры битком набиты. Чаю выпивают количество непомерное. После, как водится, пойдут в ход закуски, конечно, с прибавленьем. В Москве – в Новотроицком, у Лопашева и в других излюбленных купечеством трактирах – можно только чай пить, но закусывать, а пуще того винца рюмочку выпить – сохрани Господи и помилуй!.. Зазорное дело!.. У Макарья не то: там и московским, и городовым купцам, яко в пути находящимся, по все дни и по вся ночи – разрешения на вся.

На сто восемьдесят миллионов, а годами и больше того товару на Макарьевскую свозится, на сто шестьдесят и больше продается, и все обороты делаются по трактирам. Лет шестьдесят тому, когда ставили ярманку возле Нижнего, строитель ее, ни словечка по-русски не разумевавший, а народных обычаев и вовсе не знавший⁸⁸, пожелал, чтоб ярманочные дела на новом месте пошли на ту же стать, на какую они в чужих краях идут. Для того прежде всего позаботился он выстроить огромный дом, наподобие не то амстердамской, не то гамбургской биржи, и назвал тот дом «Главным домом». Двери и окна его разукрасил кадуцеями Меркурия; теперь они уже сняты... В верхнем ярусе Главного дома устроил семь ли восемь обширных зал да еще внизу четыре, и в каждой из них приказал быть ежедневно собраниям купцов. Возле зал небольшие комнатки для маклерских дел устроены были. И все убрали, все разукрасили роскошно, одних зеркал больше пятисот поставили в Главном доме... Все бы, кажется, было приспособлено к потребностям торговцев, обо всем подумали, ни о чем не забыли, но, к изумлению строителя, купцы в Главный дом не пошли, а облюбовали себе трактиры, памятуя пословицу, что еще у Старого Макарья на Желтых Песках сложилась: «Съездить к Макарью – два дела сделать: поторговать да покуливать». Поминая Петра Великого, властный чужеземец к строгостям было вздумал прибегнуть: по его велению чуть не палками купцов в Главный дом загоняли... Не помогло. Так дом и остался пустым. Благо, что лет через десять на городской стороне Оки сгорел деревянный летний дом, где на время ярманки жила губернатор. В пустой, ни на что не нужный Главный дом посадили тогда губернатора – не пропадать же даром казенному месту. Кадуцей с дверей и с окон сняли, может быть потому, что губернатору торговать не полагается. На всякий случай для биржи оставили одну залу. И до сих пор в ней собираются разные комитеты, но торговых сделок никогда не бывает.

А биржа появилась-таки на ярманке, но сама собой и не там, где было указано. По всякой торговле было удобно сделки в трактирах кончать, но хлебным торговцам это было не с руки. У них – главное дело поставки, им надо бурлаков рядить, с артелями толковать, в трактир их с собой не потащишь. И стали они каждый день толпами сходиться на берегу, возле моста. По времени хлебные торговцы не только стали тут рабочих нанимать, но и всю торговлю свою

⁸⁷ Городовыми как в Москве, так и у Макарья называются купцы не московские.

⁸⁸ Генерал Бетанкур.

туда перевели. Хлебная биржа с каждым годом становилась люднее, густые толпы неповоротливых бурлаков мешали свободному движению людей, обозов и экипажей, и потому у мостовых перил над самой Окой деревянный навес поставили. Стоял тот навес на длинных шестах; в хороший ветер его со всеми людьми могло бы сдунуть в самую глубь реки. Перевели биржу на берег, устроили для нее красивый дом из железа, тут она и уселась. И теперь каждый день в положенные часы собираются туда кучи народа. Бурлаков уж нет: пароходство убило их промысел, зато явились владельцы пароходов, капитаны, компанейские директора, из банковых контор доверенные, и стали в железном доме ладиться дела миллионные. А без трактира все-таки не обошлось – бок о бок с железным домом на самом юру, ровно гриб, вырос трех- либо четырехъярусный каменный трактир ермолаевский. На бирже потолкуют, с делом уладятся, а концы сводить пойдут к Ермолаеву. Там за чайком, за водочкой аль за стерляжьей селяночкой и стали дела вершать.

Стоном стоят голоса в многочисленных, обширных, ярко освещенных комнатах Рыбного трактира. Сверху из мезонина несутся дикие, визгливые крики цыганок и дрожмя дрожит потолок под дробным топотом беснующихся плясунов. Внизу смазливые немки, с наглыми, вызывающими взорами, поют осиплыми голосами, играют на струнных инструментах, а потом докучливо надоедают, ходя с нотами от столика к столику за подаяньем. Не чив степенный торговец до немецких певуний, с досадой отмахивается он от их назойливых требований «на ноты», но голосистые немки не унывают... Не со вчерашнего дня знают они, что, стоит только купецкой молодежи раскуражиться, кучами полетят на ноты разноцветные бумажки... Ровно с цепи сорвавшись, во все стороны мечутся ярославцы в белых миткалевых рубашках, с белыми полотенцами чрез плечо, в смазных со скрипом сапожках... Разносят они чайники с чашками, графинчики с рюмками, пышные подовые пироги, московские селянки, разварную осетрину, паровые стерлядки – кому что на потребу... Топот толпы бегающих половых, стук ложками и ножами, говор, гомон по всем комнатам не перемежаются ни на минуту. Изредка раздается хлопанье пробки от «холодненького» – это значит сделку покончили.

Степенной походкой вошел Марко Данилыч, слегка отстранив от себя ярославцев, хотевших было с его степенства верхнюю одежду снять. Медленными шагами прошел он в «дворянскую» – так назывались в каждом макарьевском трактире особые комнаты, где было прибрано почище, чем в остальных. Туда не всякого пускали, а только по выбору.

Зоркий глаз Марка Данилыча разом приметил в углу, за большим столом, сидевших рыбных торговцев. Они угощались двенадцатью парами чая.

– Марку Данилычу наше наиглубочайшее! – с легкой одышкой, сиплым голосом промолвил тучный, жиром оплывший купчина, отирая красным платком градом выступивший пот на лице и по всей плешивой до самого затылка голове.

Быстро подскочил половой и подставил стул для Марка Данилыча.

– Чай да сахар! – молвил Смолокуров, здороваясь со знакомцами.

– К чаю милости просим, – отвечал тучный лысый купчина и приказал половому: – Тащика, любезный, еще шесть парочек. Да спроси у хозяина самого наилучшего лянсину. Не то, мол, гости назад отошлют и денег копейки не заплатят.

Что есть мочи размахивая руками, быстро кинулся половой вон из комнаты.

– Давно ли пожаловали? – спросил Марка Данилыча седой старый купец в щеголеватом, наглухо застегнутом кафтане тонкого синего сукна и в глянцевах сапогах с напуском. Ростом он был не велик, но из себя коренаст. Здоровое красное лицо, ровно камчатским бобром, опущенное окладистой, темно-русой, с седой искрой бородой, было надменно и горделиво, в глазах виднелись высокомерье и кичливая спесь. То был самый богатый, самый значительный из всех рыбников – Онисим Самойлыч Орошин. Считали его в пяти миллионах – потому великий почет ему отдавали, а ему на всех наплевать...

– Вечор только прибыли, – кладя на окошко картуз, мягко, приветливо ответил Орошину Марко Данилыч. – Вы давненько ли в здешних местах, Онисим Самойлыч?

– Шестой день без пути здесь болтаемся. Делов еще нет. Надоело до смерти! – молвил Орошин.

– Без того нельзя, – заметил Смолокуров.

– Вестимо, нельзя, – отозвался Сусалин Степан Федорыч, тот лысый тучный купчина, что первый встретил приветом Марка Данилыча. То же промолвил Иван Ермолаич Седов, борода-тый широкоплечий купчина лет пятидесяти, богатырь богатырем... Поглядеть на него – протодьяконом бы реветь ему, ан нет: пищит, визжит, ровно старая девка. Был тут еще Веденеев Дмитрий Петрович, человек молодой, всего друго лето стал вести дела по смерти родителя. Посмотреть на него – загляденье: пригож лицом, хорош умом, одевается в сюртуки по-немецкому, по праздникам даже на фраки дерзает, за что старуха бабушка клянет его, проклинает всеми святыми отцами и всеми соборами: «Забываешь-де ты, непутный, древнее благочестие, ересями прельщаешься, приемлешь противное Богу одеяние нечестивых...» Капиталец у Веденеева был кругленький: дела он вел на широкую руку и ни разу не давал оплошки; теперь у него на Гребновской караван в пять баржэй стоял... По молодости Веденеева старые рыбаки обращались с ним немножко свысока, особенно Орошин. Хоть Марко Данилыч негодовал на Меркулова за то, что с колонистами водится и ходит в кургузой одеже, но на богатом Веденееве будто не замечал ее...

И Орошин и другие рыбаки Митенькой звали Веденеева, хоть этот Митенька ростом был вершков тринадцати, а возрастом далеко за двадцать лет. Но как не был еще сполна хозяином, хозяйкой то есть пока не обзавелся, то и оставался покудова Митенькой. Он кой-чему учился, видел пошире, глядел на дела пояснее, чем старые рыбаки. Родитель его не то чтобы по своему изволенью и не то чтоб по желанью сына, а по приказу губернатора отдал его учиться в Коммерческую академию. Заметив в маленьком Веденееве способности, начальник губернии безо всяких обиняков объявил его отцу, что не утвердит за ним каких-то выгодных подрядов, ежели не пошлет он сына учиться в академию. Подряд, по всем расчетам, должен был озолотить старика, – делать нечего, свез сына в Москву, не слушая ни вопля жены, ни проклятий матери. Новым человеком воротился в свой город Дмитрий Петрович. А приехал он на родину уж единственным наследником после умерших вскоре один за другим отца, старшего бездетного брата и матери. Хоть и молод, хоть и ученый, а не бросил он дела родительского, не порвал старых торговых связей, к старым рыбакам был угодлив и почтителен, а сам вел живую переписку со школьными товарищами, что сидели теперь в первостатейных конторах, вели широкие дела или набирались уму-разуму в заграничных поездках... Старого закала рыбаки понять не могли, отчего это у Митеньки так все спорится, отчего это он умеет вовремя купить, вовремя продать, и хоть бы раз споткнулся на чем-нибудь. «Счастье, видно, такое, – говорили они, – такой уж, видно, талант ему от Бога дан, а все за молитвы родительские».

Разбитной половой подал шесть пар «отменного лянсину». Митенька стал разливать, с особенным вниманием обращаясь к Марку Данилычу.

– Где пристал? – спросил Орошин у Смолокурова. – На караване, что ль?

– Нельзя мне нынешний год на караване жить, – прихлебывая чай, отвечал Марко Данилыч. – Дочку привез с собой, хочу ей показать Макарьевскую. В каюте было бы ей беспокойно. Опять же наши товары на этот счет не больно подходящие – не больно пригоже пахивают.

– Есть того дела, точно что есть, – тоненьким голосом весело захихикал копне подобный Седов Иван Ермолаич, – товарищ наш девичью носу по нутру не придется. Скривит его девка, ежели понюхает.

Ровно кольнуло что Марка Данилыча. Слегка нахмурился он, гневно очами сверкнув, но не ответил ни слова Седову. Простой был человек Смолокуров, тонкостям и вежливостям обучен не был, но, обожая свою Дуню, не мог равнодушно сносить самой безобидной насчет

ее шутки. Другой кто скажи такие слова, быть бы великому шуму, но Седов капиталом мало чем уступал Смолокурову – тут поневоле смолчишь, особенно ежели не все векселя учтены... Круто поворотясь к Орошину, Марко Данилыч спросил:

– Что, Онисим Самойлыч?.. Как будут ваши делишки? Какие цены на рыбу хотите установить?

– Тебя спросить надо, – лукаво подмигнув собеседникам, отвечал Орошин. – У тебя на Гребновской-то восемь баржей, а у меня четыре. Значит, ты вдвое сильнее меня...

– А в ходу-то сколько у тебя? Тех, видно, не считаешь!.. Забыл, должно быть? – тоже подмигнув собеседникам, молвил Марко Данилыч.

– Что на ходу, то еще в руце Божией, а твой товар на месте стоит да покупателя ждет... – насмешливо улыбаясь, ответил Орошин. – Значит, мне равняться с тобой не приходится.

– Не приходится!.. Эко ты слово молвил, – с досадной усмешкой сказал Смолокуров. – По всей Волге, по всей, можно сказать, России всякому известно, что рыбному делу ты здесь голова. На всех пошлюсь, – прибавил он, обводя глазами собеседников. – Соврать не дадут.

– Знамо дело, – один за другим проговорили и пискливый Седов, и осипший Сусалин. Веденеев смолчал.

– Одна пустая намовка, – с важностью, пожимаясь, молвил Орошин. – Вот нашей песни запевало, – прибавил он, указывая пальцем на Марка Данилыча. – Шутка сказать!.. Восемь баржей!..

– Одну-то выкинь – порожняя! – молвил Смолокуров. – А у тебя четыре на месте да шесть либо семь в ходу. Тут, сударь мой, разница не маленькая.

– А когда придут? Скажи, коли с Богом беседовал, – с досады мотнув головой, отрезал Орошин. – По нашему простому человеческому разумению, разве что после Рождества Богородицы придут мои баржи на Гребновскую, значит, когда уже квартальные с ярманки народ сгонят...

– С пристаней-то не сгонят, – возразил Смолокуров.

– Что ж из того?.. – ответил Орошин. – Все-таки рыбно решение о ту пору будет покончено. Тогда, хочешь не хочешь, продавай по той цене, каку ты нашему брату установишь... Так-то, сударь, Марко Данилыч!.. Мы теперича все тобой только и дышим... Какие цены ни установишь, поневоле тех будем держаться... Вся Гребновская у тебя теперь под рукой...

– Больно уж много ты меня возвеличиваешь, – пытаясь с досады, отозвался Марко Данилыч. – Такие речи и за смех можно почесть. Все мы, сколько нас ни на есть, – мелки лодочки, ты один изо всех – большущий корабль.

– Полно-ко вам друг дружку-то корить, – запищал Седов-богатырь, заметив, что тузы очень уж обозлились. – В чужи карманы неча глядеть – в своем хорошенько смотри. А не лучше ль, господа, насчет закусочки теперь нам потолковать?.. Онисим Самойлыч, Марко Данилыч, Степан Федорыч, какие ваши мысли на этот счет будут?.. Теперь госпожинки, значит, нашим же товаром будут нас и потчевать...

– В нонешнем посту рыба-то, кажись, не полагается, – молвил Сусалин. – По правилам святых отец, грибы да капуста ноне положены.

– Грибам не род, капуста не доспела, – с усмешкой пискнул Седов. – опять же мы не дома. А в пути сущим пост разрешается. Так ли, Марко Данилыч?.. Ты ведь в Писании боек – разреши спор...

– Есть такое правило, – сухо ответил Марко Данилыч.

– Значит, по этому самому правилу мы холодненькой осетрины либо стерлядок в разваре закажем... Аль другого чего? – ровно сытый кот щуря глазами, пищал слоновидный Седов.

– Не будет ли вкуснее московска селянка из стерлядок? – ласковым взором всех обводя, молвил Веденеев. – Майонез бы еще из судака...

– Ну тебя с твоей немецкой едой! – с усмешкой пропищал Седов. – Сразу-то и не вымолвишь, какое он кушанье называл... Мы ведь, Митенька, люди православные, потому и снесь давай нам православную. Так-то! А ты и не весть что выдумал...

– Так селянка селянкой, а еще-то чего потребуем?.. Осетринки, что ли? – добродушно улыбаясь, молвил Веденеев.

– Что ж, и селянка не вредит, и осетрины пожевать противного нет, – молвил Сусалин. – Еще-то чего?

– Банкет, что ль, затеваете?.. – сумрачно молвил Орошин. – Будет и осетрины с селянкой...

– Судаки у них, я видел, хороши. Живехонькие в лохани плавают. Лещи тоже, – сказал Веденеев.

– Всей рыбы не переешь, – решил Орошин. – Осетрины да селянку... Так уж и быть – тебя ради, Митенька, судак куда ни шел. Пожует и судака... А леща, ну его к Богу – костлив больно... Еще коим грехом да подавишься.

Заказали, а покамест готовят ужину, водочки велели себе подать, икорки зернистой, огурчиков малосольных, балыка уральского.

– Народец-от здесь продувной! – поднимаясь с места, сказал Веденеев. – Того и норовят, чтобы как-нибудь поднадуть кого... Не посмотреть за ними, такую тебе стерлядь сготовят, что только выплюнуть... Схожу-ка я сам да выберу стерлядей и ножом их для приметы пристукну. Дело-то будет вернее...

– Подь-ка, в самом деле, Митенька, – ласково пропищал Седов. – Пометь, в самом деле, стерлядок-то, да и прочую рыбу подбери... При тебе бы повар и заготовку сделал... А то в самом деле плутоват здесь народ-от...

Веденеев ушел. В это время подлетела к рыбникам одна из трактирных певиц...

– На ноты! – приседая и умильно улыбаясь, проговорила молоденькая немочка в розовой юбке, с черным бархатным корсажем.

Рыбники враждебно на нее покосились.

– Не подаем, – молвил Орошин, грубо отстраняя немку широкой ладонью.

Та кисло улыбнулась и пошла к соседнему столику.

– Что этого гаду развелось ноне на ярманке! – заворчал Орошин. – Бренчат, еретицы, воют себе по-собачьему – дела только делать мешают. В какой трактир ни зайди, ни в едином от этих шутовок покою нет.

И плюнул в ту сторону, куда немка пошла.

– Кто нас с тобой помоложе, Онисим Самойлыч, тем эти девки по нраву, – усмехнувшись, пискнул Седов.

– Оттого и пошла теперь молодежь глаза протирать родительским денежкам... Не то, что в наше время, – заметил Сусалин.

Под эти слова вернулся Веденеев и объявил, что выбрал двух важнейших стерлядок и припятил их ножом, чтобы не было обмана.

Вслед подбежал за Веденеевым юркий размашистый половой с водкой, с зернистой икрой, с московским калачом, с уральским балыком и с малосольными огурцами. Выкушали по одной. По малом времени повторили, а потом Седов сладеньким голоском пропищал, что без троицы дом не строится.

Когда принялись за жирную, сочную осетрину, Орошин спросил Смолокурова:

– Давеча молвил ты, Марко Данилыч, что у тебя на Гребновской одна баржа порожняя... Нешто продал одну-то?

– Хвоста судачьего не продаывал, – с досадой ответил Марко Данилыч. – Всего пятый день караван на место поставили. Какой тут торг?.. Запоздал – поздно пришел, на самом стрежне вон меня поставили.

– Отчего ж у тебя баржа-то пустует?.. – продолжал свои расспросы Орошин. – Не порожнюю же ведь гнал. Аль по пути продавал?..

– Пустовать баржа не пустует, а все едино, что ее нет, – ответил Марко Данилыч. – Товарец такой у меня стоит, что только в Оку покидать.

– Как так? – спросил Орошин, зорко глядя на Смолокурова. – До сей поры про такие товары мне что-то не доводилось слышать... Стоят же чего-нибудь?..

– Тюлений жир. В нонешню ярманку на него цен не будет, – сказал Марко Данилыч.

– Отчего ж вы это думаете? – с удивленьем спросил Веденеев.

– Некому покупать, – молвил Марко Данилыч. – Хлопку в привозе нет, значит, красному товару застой. На мыло тюленя не требуется – его с мыловарен-то кислота прогнала. Кому его нужно?

– Понадобится, – сказал Веденеев.

– Жди!.. Как же!.. Толокном Волгу прежде замесишь, чем этот окаянный товар с рук сбудешь! – отозвался Смолокуров.

– Продай мне, Марко Данилыч. Весь без остатку возьму, – молвил Орошин.

Подумал маленько Марко Данилыч, отвечает:

– Для че не продать, ежели сходную цену дашь.

– Рубль восемь гривен, – молвил Орошин.

Марко Данилыч только головой мотнул. Помолчавши немного, с усмешкой сказал он:

– Сходней в Оку покидать.

– Без гривны два.

– Ну тебя к Богу, Онисим Самойлыч! Сам знаешь, что не дело говоришь, – отвернувшись от Орошина, с досадой проговорил Смолокуров.

– Два целковых идет?

Ни слова не говоря, Марко Данилыч только головой помотал.

– Два с четвертаком?

Молчит Марко Данилыч, с удивленьем поглядывает на Орошина, а сам про себя думает: «Эк расшутился, собака! Аль у него в голове-то с водки стало мутиться».

– Два рубля тридцать – последнее слово, – сказал Орошин, протягивая широкую ладонь Марку Данилычу.

У того в глазах зарябило.

– Идет? – приставал Орошин.

Марко Данилыч рукой махнул. Думает, что шутки вздумал Орошин шутить.

– Два рубля тридцать пять, больше ни полукопейки, – настойчиво продолжал свой торг Орошин.

Разгорелись глаза у Марка Данилыча. То на Орошина взглянет, то других обведет вызывающим взглядом. Не может понять, что бы значили слова Орошина. И Седов, и Сусалин хоть сами тюленем не занимались, а цены ему знали. И они с удивленьем посматривали на расходившегося Орошина и то же, что Марко Данилыч, думали: «Либо спятил, либо в головушке хмель зашумел».

– Пять копеечек и я б с своей стороны прикинул! – ровным, спокойным голосом самоуверенно сказал Веденеев, обращаясь к Марку Данилычу.

Как вскинется на него Орошин, как напустится. Так закричал, что все сидевшие в «дворянской» оборотились в их сторону.

– Куда суешься?.. Кто тебя спрашивает?.. Знай сверчок свой шесток – слышал это?.. Куда лезешь-то, скажи? Ишь какой важный торговец у нас проявился! Здесь, брат, не переторжка!.. Как же тебе, молодому человеку, перебивать меня, старика... Два рубля сорок пять копеек, так и быть, дам... – прибавил Орошин, обращаясь к Марку Данилычу.

Ровно красным кумачом подернуло свежее лицо Веденеева, задрожали у него побледневшие губы и гневом сверкнули глаза... Обидно было слушать окрик надменного самодура.

– Даст и с полтинкой, и с шестью гривнами даст! – с злорадным смехом сказал он Смолокурову. – Оплести ему вас хочется, Марко Данилыч. Вот что!.. Не поддавайтесь...

– Замолчишь ли?.. – из себя выходя, во все горло закричал Орошин и так стукнул по столу кулаком, что вся посуда на нем ходенем заходила. – Чего смыслишь в этом деле?.. Какое тут есть твое понимание?..

– Вы, Онисим Самойлыч, должно быть, так о себе представляете, что почта из Питера только для вас одних ходит, – лукаво прищутив глаза, с язвительной усмешкой сказал Веденеев. – Слушайте, Марко Данилыч, настоящее дело вам расскажу: у меня на баржах тюленя нет ни пуда; значит, мне все равно – есть на него цена, нет ли ее... А помня завсегда, что тятеньке покойнику вы были приятелем, хлеб-соль с ним важивали и, кажется, даже бывали у вас общие дела, хочу на сей раз вам услужить. Натек-ка вот, почитайте, что пишут из Питера. Сегодня перед вечером только что получил.

И, вынув письма из бумажника, подал одно Смолокурову.

Читает Марко Данилыч: ждут в Петербург из Ливерпуля целых пять кораблей с американским хлопком, а перед концом навигации еще немалого привоза ожидают... «Стало быть, и ситцы, и кумачи пойдут, и пряжу станут красить у Баранова, только матерьялу подавай».

Таковыми словами заключил письмо веденеевский приятель.

Прочитав его, Марко Данилыч отдал Веденееву и с поклоном сказал ему:

– Покорно вас благодарю. Вовеки не забуду вашей услуги... Завсегда по всяким делам буду вашим готовым услужником. Жалуй к нам, Митень... Ох, бишь, Дмитрий Петрович... Жалуйте, сударь, к нам, пожалуйста... На Нижнем базаре у Бубнова в гостинице остановились, седьмой, восьмой да девятый номера... Жалуй когда чайку откушать, побеседовать... У нас же теперь каждый день гости – Доронины из Вольска в той же гостинице пристали, Самоквасов Петр Степаныч...

– Это что с дядей-то судиться хочет? Казанский? – пропищал Седов.

– Судиться он не думает, – заметил Марко Данилыч, – а свою часть, которая следует ему, получить желает.

– Шиша не получит! – молвил Седов. – Знаю я дядю-то его Тимофея Гордеича – кремень. Обдерет племянника, что липочку, медного гроша не даст ему.

– Суд на то есть, закон, – вступился Веденеев.

– Что суд?.. Рассказывай тут! – усмехнулся Седов. – По делу-то племянник и выйдет прав, а по бумаге в ответе останется. А бумажна вина у нас ведь не прощенная – хуже всех семи смертных грехов.

Меж тем взбешенный Орошин, не доужинав и не сказав никому ни слова, схватил картуз и вон из трактира.

Завязалась у рыбаков беседа до полночи. Поздравляли «холодненьким» с барышами Марка Данилыча, хвалили Веденеева, что ловко умел Орошину рог сшибить, издевались над спесью Орошина и над тем, что дело с тюленем у него не выгорело. Не любили товарищи Онисима Самойлыча, не жаловали его за чванство, за гордость, а пуще всего за то, что не в меру завистлив был. Кто ни подвернись, каждого бы ему в дураки оплести, у всякого бы дело разбить. Тем еще много досаждал всем Орошин, что года по четыре сряду всю рыбу у Макарья скупал, барыши в карман клал богатые, а другим оставлял только объедьшки.

Когда засидевшиеся в трактире рыбаки поднялись с мест, чтоб отправляться на покой, в «дворянской» было почти уж пусто. Но только что вышли они в соседнюю комнату, как со всех сторон раздались разноязычные пьяные крики, хохот и визг немецких певуний, а сверху доносились дикие гортанные звуки ярманочной цыганской песни:

Здесь ярманка так просто чудо.
Одна лишь только в ней беда —
Что к нам не жалуют покуда
С карманом толстым господа!..

— А что, Митенька, не туда ли? — с усмешкой пропищал Седов, подмигнув левым глазом и указав на лестницу, что вела наверх к цыганкам.

Веденеев не сразу ответил. Промелькнула по лицу его легкая нерешительность, маленькая борьба. Но сдержался... Презрительно махнув рукою, он молвил:

— Ну их к шуту!.. Невидаль!.. Спать пора...

— И умно. По-моему, право умно, — сказал Марко Данилыч. — Что там, грех один — беса тешить... Лучше милости просим завтрашний день ко мне чаи распивать... Может статься, и гулянку устроим. Не этой чета...

Веденеев обещался быть непременно.

Вышли на крыльцо. Тут новый Содом и Гомор. Десятка полтора извозчиков, ломя и толкая друг друга, ровно звери, с дикими криками кинулись на вышедших.

— Куда ехать?.. Куда, господин купец?.. Вот со мной на серой!.. На хорошей!

Пробраться сквозь крикливую толпу было почти невозможно. А там подальше новая толпа, новый содом, новые крики и толкотня... Подгулявший серый люд с песнями, с криками, с хохотом, с руганью проходил куда-то мимо, должно быть, еще маленько пображничать. Впереди, покачиваясь со стороны на сторону и прижав правую ладонь к уху, что есть мочи заливался молодой малый в растерзанном кафтане:

Нам трактиры надоели,
Много денежек поели —
Пойдем в белую харчевню
Да вспомним про деревню,
Наше родное село!

Насилу выбрались рыбники. Но не отъехали они от трактира и ста сажений, как вдруг смолкли шумные клики. Тихо... Ярманка дремлет. Лишь издали от тех мест, где театры, трактиры и разные увеселительные заведения, доносятся глухие, нестройные звуки, или вдруг откуда-нибудь раздастся пьяный крик: «Караул!...» А ближе только и слышна тоскливая песня караульщика-татарина, что всю ночь напролет просидит на полу галереи возле хозяйской лавки с длинной дубиной в руках.

Въехал на мост Марко Данилыч. Гулко и звонко раздаются удары копыт и шум колес. Длинным серебристым столбом отражается луна в речных дрожащих струях и на золотых главах соседнего монастыря, великанами поднимаются темные горы правого берега, там и сям мерцают сигнальные фонари пароходов, пышут к небу пламенные столбы из труб стальных заводов... Чудная картина — редко где такую увидишь, но не любит ее на нее Марко Данилыч, не видит даже ее. Смежив очи, думает он сам про себя: «А ведь ежели б не Митенька Веденеев, он бы, старый хрен, объегорил меня... Кого бы мне теперь обработать, пока еще не пошли в огласку петербургские новости?...»

* * *

Когда Смолокуров домой воротился, Дуня давно уж спала. Не снимая платья, он осторожно разулся и, тихонечко войдя в соседнюю комнату, бережно и беззвучно положил Дуне на столик обещанный гостинец — десяток спелых розовых персиков и большую, душистую дыню.

канталупку, купленные им при выходе из трактира. Потом минуты две постоял он над крепко, безмятежным сном заснувшей девушкой и, сотворив над ее изголовьем молитву, тихонько вышел на цыпочках вон.

Долго после того сидел он один. Все на счетах выкладывал, все в бумагах справлялся. Свеча догорала, в ночном небе давно уж белело, когда, сложив бумаги, с расцветшим от какой-то неведомой радости лицом и весело потирая руки, прошелся он несколько раз взад и вперед по комнате. Потом тихонько растворил до половины дверь в Дунину комнату, еще раз издали полюбовался на озаренное слабым неровным светом мерцавшей у образов лампадки лицо ее и, взяв в руку сафьянную лестовку, стал на молитву.

Немного пришлось отдыха на его долю. Еще к ранним обедням не начинали благовеста, как, наспех одевшись, чуть не бегом побежал он к Доронину. Зиновий Алексеич один еще был на ногах. Когда вошел к нему Марко Данилыч, он только что хотел усесться за столик, где уж кипел самовар.

– А я к тебе спозаранок, ни свет ни заря, – говорил Смолокуров, здороваясь с Зиновьем Алексеичем.

– Просим милости, – радушно ответил Доронин. – Дорогим гостям завсегда рады: рано ли, поздно ли, и в полночь и за полночь... Чайку чашечку!

– От чаю, от сахару отказу у меня не бывает, – молвил Марко Данилыч, – я ж и не пил еще – оно будет и кстати. Так вот как мы!.. Встал, умылся, Богу помолился, да и в гости. Вот как мы ноне, Зиновий Алексеич.

– Что ж? Дело доброе. Пока мои не встали, покалякаем на досуге, – сказал Доронин.

– И то ведь я пришел покалякать с тобой, – ответил Марко Данилыч, принимаясь за налитую чашку. – Скажи ты мне, Зиновий Алексеич, по самой сущей, по истинной правде, вот как перед Богом... Что это у тебя вечер так гребтело, когда мы с тобой насчет этого Меркулова толковали.

– Паренек-от, говорю тебе, хороший... Жалко... По человечеству жалко! – как бы нехотя отвечал Зиновий Алексеич.

– Только-то? – слегка прищурясь и зорко поглядев на приятеля, протяжно и с лукавой усмешкой проговорил Марко Данилыч. – А я думал, что у тебя с ним какие дела зачинаются.

– Какие дела?.. Ни с ним, ни с родителем его дел у меня никаких не бывало, – маленько, чуть-чуть смутившись, ответил Доронин. – По человечеству, говорю, жалко. А то чего же еще? Парень он добрый, хороший – воды не замутит, ровно красная девица.

– А я полагал, что ты затеваешь с ним дело какое? – прихлебывая чай, протяжно проговорил Марко Данилыч.

Пуще прежнего замялся Доронин. Хотел что-то сказать, но придержался, не вымолвил.

– Никаких теперь у меня делов с Никитой Федорычем нет... – твердо и решительно сказал он. – Ничего у нас с ним не затеяно. А что впереди будет, как про то знать?.. Сам понимаешь, что торговому человеку вперед нельзя загадывать. Как знать, с кем в каком деле будешь?..

– Так... – протянул Марко Данилыч. – А я вечер с нашими рыбаками в трактире сидел. Чуть не до полночи прокаляли... Про меркуловские дела тоже говорили... Получил кой-какие вести... Кажись бы, полезные для Меркулова...

Просиял Зиновий Алексеич.

– Все в один голос его жалеют... Ведь он не женат еще? – вдруг спросил Марко Данилыч.

– Холостой, – ответил Доронин.

Зорко глядя на приятеля, думает сам про себя Смолокуров: «Врешь, не обманешь, Лизавету за него ладишь. Насквозь вижу тебя... Недаром вечер она, ровно береста на огне, корчилась, как речь зашла про Меркулова».

– Хозяйку бы ему добрую, говорят наши рыбники, – молвил, глядя в сторону, Марко Данилыч. – Да тестя бы разумного, чтобы было кому научить молодого व्यюношу, да чтобы он не давал ему всего капитала в тюленя садить... Налей-ка чашечку еще, Зиновий Алексеич.

Поспешно налил чашку Доронин и подал ее Марку Данилычу.

– Ноне на ярманке эвта кантонка, прах ее побери, куда как шибко пошла... – небрежно закинул иную речь Марко Данилыч. – Звания чаю нет, просто-напросто наша сенная труха, а поди-ка ты, как пошла... Дешева – потому... Пробовал ли ты, Зиновий Алексеич, эту кантонку?

– Доводилось, – ответил Доронин.

– Брандахлыст, – решил Марко Данилыч.

– Почти одно, что наша копорка⁸⁹, – заметил Доронин.

– За копорку-то по головке не гладят, в тюрьму даже сажают, а на кантонку пошлины сбавили. Вот тут поди и суди!.. – молвил Марко Данилыч.

– Соображения!

– Вестимо, соображения! – согласился Марко Данилыч. – А много ль капиталу Меркулов в тюленя-то усадил?

– Много, – покачав головой, ответил Доронин.

– Однако как?

– Тысяч до шестидесяти.

– Не пустячные деньги! – покачал головою и Марко Данилыч. – Да неужто у него только шестьдесят тысяч и было? – спросил он после короткого молчанья. – Отец-то ведь у него в хорошем капитале был...

– Еще столько же наберется, может, и побольше, – сказал Зиновий Алексеич. – К слову ведь только говорится, что весь капитал засадил. Всего-то не засаживал... Как же это возможно?

– А много ль пудов?.. Тюленя-то? – спросил Смолокуров, как бы от нечего говорить.

– Пятьдесят ли, пятьдесят ли пять тысяч, наверно сказать не могу, – ответил Зиновий Алексеич.

– А сюда не ближе сентября будет?

– Сказывал он, что прежде Рождества Богородицы никакими способами ему не управиться, – молвил Доронин.

– Нешто пишет? – спросил Смолокуров.

– Неза́долго до нашего отъезда был он в Вольском, три дня у меня выгостил, – сказал Доронин. – Ну, и кучился тогда, не подыщу ль ему на ярманке покупателя, а ежели приищу, за́продал бы товар-от... Теперь пишет, спрашивает, не нашел ли покупателя... А где мне сыскать?.. Мое дело по рыбной части слепое, а ты еще вот заверяешь, что тюлень-от и вовсе без продажи останется.

– Ежели у него теперича пятьдесят тысяч пудов на шестьдесят тысяч рублей, значит, пуд-от по рублю с двумя гривнами обойдется, – рассчитывал Марко Данилыч.

– Должно быть, что так, – подтвердил Зиновий Алексеич.

– А он тебе только на словах говорил, чтоб до его приезда тюленя запродать?

– Доверенность на всякий случай дал. Доверенность у меня есть, – отвечал Доронин.

– Так!.. – протянул Марко Данилыч. – Прянь – и доверенность дал... Что ж, искал ты покупателей-то? – спросил он потом, немножко помолчавши.

– Да ведь говорю я тебе!.. Где я буду их искать? – отозвался Зиновий Алексеич. – До твоего приезда спрашивал кой у кого из рыбников. И от них те же речи, что от тебя.

⁸⁹ **Копорка, иван-чай** – растение *Epilobium angustifolium*. Его собирали, сушили, преимущественно в Петербургской губернии, и мешали с кяхтинским чаем. Такая подделка строго преследовалась.

– Кого спрашивал-то?

– Да кого я спрашивал? Сусалина спрашивал, Седова, еще кой-кого... Все в одно слово: никаких, говорят, в нынешнюю ярманку цен не будет.

– Верно!.. Еще, пожалуй, в убыток продашь... Вот какова она, наша-то коммерция... Самое плевое дело!.. – молвил Марко Данилыч.

– К Орошину думаю съездить, – после недолгого молчания сказал Доронин. – Он ведь у вас главный скупщик – не один раз весь рыбный товар до последнего пуда на ярманке скупал. Он не возьмет ли?

– Постой, погоди! – спешно перебил Смолокуров. – Денек-другой подожди, не езди к Орошину... Может, я сам тебе это дельце облажу... Дай только сроку... Только уж наперед тебе говорю – что тут ни делай, каких штук ни выкидывай – а без убытков не обойтись. По рублю по двадцати копеек и думать нечего взять.

– Да уж хоть сколько бынибудь да взять... Не в воду ж в самом деле товар-то кидать!.. Похлопочи, сделай милость, Марко Данилыч, яви Божескую милость... Век не забуду твоего одолженья.

– Эк как возлюбил ты этого Меркулова... Ровно об сыне хлопчешь, – лукаво улыбнувшись, молвил Смолокуров. – Не тужи, Бог даст, сварганим. Одно только, к Орошину ни под каким видом не езди, иначе все дело изгадишь. Встретишься с ним, и речи про тюленя не заводи. И с другим с кем из рыбников свидишься и тем ничего не говори. Прощай, однако ж, закалякался я с тобой, а мне давно на караван пора.

Воротясь на квартиру, Марко Данилыч тотчас за счеты. Долго щелкал костями, то задумываясь, то самодовольно улыбаясь. Ловкий оборот затевал. Баш⁹⁰ на баш, пожалуй, возьмет...

И нимало не совестно было ему перед другом-приятелем, хоть он и догадывался, что Меркулов скоро своим будет Доронину. «Почище обработаю, чем Орошину хотелось меня... – думает Марко Данилыч, расхаживая по комнате. – Обьегорю!.. Что ж?.. До кого ни доведись, всяк бы то же сделал... Купец что стрелец – оплошного ждет... Друзья мы приятели с Зиновьем Алексеичем – так что ж из этого?.. Сват сватом, брат братом, а денежки не родня... Все ведь так, все... Упусти-ка я случай насчет ближнего погреться – меня же дураком обзовут... А обдуй кого-нибудь получше, над ним смеяться станут – учись, мол, плати за науку... Да что мне до людей!.. Ну их... Мне бы только Дунюшке, Дунюшке, моей голубке, побольше накопить... А то что мне люди? Плевать!»

⁹⁰ **Баш** – по-татарски голова. Взять баш на баш – взять рубль на рубль. Выражение употребительно в Поволжье.

Глава восьмая

Доронина в мильоне считали. Был он одним из самых сильных хлебных торговцев. Тысяч до двух десятин земли у него засевалось в Самарском заволжье, близ Балаковской пристани, да без малого тысяча возле Сызрани. За Волгой пшеницу он сеял, в сызранской окольности – просо. Муку молот на десятипоставной мельнице-крупчатке, что была строена еще его родителем на реке на Иргизе, а просо шастал на пшено на двенадцати круподерках, что сам вокруг Сызрани поставил. И чужого хлеба немало скупал, часть его перемалывал на иргизской мельнице; муку и зерно на своих расшивах ставил в Рыбную и другие верховые города. Хлеб и в Москву, а годами и в Питер на Калашникову пристань возил, а у Макарья торговал больше пшеном. Супротив Доронина по пшену на всей Волге не было ни единого человека.

Сыновьями не благословил Бог Зиновья Алексеича, не было у него по делам родного, кровного помощника, на кого бы он мог, как на самого себя, во всем положиться. Весь труд, все заботы ему довелось на одних своих плечах выносить. Наемным приказчикам большой веры не давал; хоть и добрый был человек, благодушный и всякому был рад помощь оказать, но приказчикам на волос не верил. «Ему что? – говаривал Зиновий Алексеич. – Как ему довериться? Ноне не старые годы, народ стал плут плутом – каждый обойдет, что мертвой рукой обведет, надует тебя, ровно козий мех. Мигнуть не успеешь, как он тебя обобрал да и прочь отошел. Ищи, дескать, на меня, только меня-то не сыщешь». Дальних людей к большим делам не приставлял; пробовал, да от каждой пробы сундук тощал. Из ближних взять было некого, народ все ненадежный, недаром про него исстари пословицы ведутся. «В Хвалыне ухорезы, в Сызрани головорезы», а во славной слободке Малыковке двух раз вздохнуть не поспеешь, как самый закадычный приятель твой обогреет тебя много лучше, чем разбойник на большой дороге. Не имея надежных помощников, чуть не круглый год Зиновий Алексеич мыкался из стороны в сторону, все в разъездах да в разъездах, все от семьи в отлучке; то на севе, то на жниве, то на иргизской мельнице, то на сызранских круподерках, не то в Рыбной, в Питере, в Москве, у Макарья. А в родном насиженном гнездышке светил Зиновий Алексеич, ровно молодой месяц: покажется да тотчас и спрячется. К жене, к дочерям, ровно званный гость, наезжал на великие только праздники да на чьи-нибудь именины. Дом же господарский, гнездо свое семейное свил Зиновий Алексеич чуть не на самом краю так называемых Гор, в раскинувшемся привольно по правому берегу Волги, красиво обстроенном Вольске. Доронинский дом, каменный, двухъярусный, с зеркальными стеклами, с ярко горевшими на солнце оконными приборами, с цветниками перед жильем, с плодовыми деревьями назади, чуть ли не был лучшим во всем городе. В любую столицу можно было поставить доронинский домик – улиц не испортил бы.

У русского простонародья нет летописных записей, ни повестей временных лет, ни иных писанных памятей про то, как люди допрежь нас живали, какие достатки, богатства себе добывали, кто чем разжился, что богатеет тому аль другому помогло сделаться. Но есть живучие преданья: народная память их молвой по белу свету разносит... Строго, правдиво молва говорит, но безобидно, ибо бесстрастна она. Спокойный дух народа в молве о былых временах сказывается; нет у русского человека ни наследственной злобы, ни вражды родовой, ни сословной ненависти... Добр, незлопамятен русский человек; для него что прошло, то минуло, что было, то былью поросло; дедовских грехов на внуках он не взыщет ни словом, ни делом. Про начало доронинских достатков молва ходила не славная, но никто не корил Зиновья Алексеича за несправедные стяжанья родительские.

С сотню годов и побольше того, когда еще красивый Вольск был дворцовой слободой Малыковкой, дедушка Зиновья Алексеича перебивался с копейки на копейку, а в пугачевщину и совсем разорился. Сын его, родитель Зиновья Алексеича, жил в бедной, ветхой, полуразва-

лившейся избенке на самом всполье. Промысел его не из важных был; в дырявых лаптях, в рваной рубаше, с ляжкой на груди каждое лето он раза по два и по три грузными шагами мерил неровный глинистый бечевник Волги от Саратова до Старого Макарья али до Рыбной. Бурлачил, в коренных ходил и в добавочных⁹¹, раза два кашеваром был, но та должность ему не по нраву прилась: недоваришь – от своей братьи на орехи достанется, переваришь – хуже того; недосолишь – не беда, только поругают; пересолил, ременного масла беспрерывно отведаешь. Бывал Доронин и в косных, был мастак и на дерево лазить, и по райнам ходить, и бечеву ссавивать; но до дяди, за пьянством, не доходил, ни разу в шишках даже не бывал¹². На плесу⁹² человек был бедовый, а дома самый смиренный, ровно с него взята была волжская поговорка: «дома баран, а на плесу буян». Горемыке-бурлаку как деньгу на черный день заработать? А у Алешки Доронина к тому ж был обычай: на плесу, коли шапка либо рвань какая-нибудь от рубахи не пропита, ни единого кабака не минует. Пропащая, бесшабашная был голова... Так и звали его «Алешка беспутный», другого имени не было.

Сплыл один год бесшабашный Алешка в Астрахань, поплыл из дому ранней весной с ледоходом. После того нигде по пристаням его не видали; слухи, как в яму, вести, как в воду, – никто ничего про Алешку не знал. Сгиб да пропал человек. Поговаривали, что где-то в пьяной драке зашибли его, болтали, что деревом пришибло его до смерти, ходили слухи, что пьяный свернулся он с расшивы и потонул, но верного никто не знал. Год толковали, на другой – перестали, – новые толки в народе явились, старые разводить было не к чему, да и некогда. Совсем позабыли про Алешку беспутного. А меж тем домишко у него сторел, жена с ребятишками пошла по миру и, схоронив детей, сама померла в одночасье... И, как метлой, смело память о Дорониных.

На седьмой год воротился Доронин на родину, воротился не Алешкой беспутным, а «почтеннейшим Алексеем Степанычем». Не в истерзанном рубище, не с котомкой за плечами явился он в родном городе, а с возами дорогих товаров, с туго набитой мошной, в синей тонкого сукна сибирке, в шелковой алой рубаше. В возах были у него не одна сотня кусков канаса и термаламы, бухарские да кашемировые шали, бирюза, индийские кисеи и разные другие азиатские ткани. А деньги, что привез, были не наши, не русские, а все золотые туманы да тилле, серебряные кираны да рупии⁹³. Отколь у бурлака такое богатство? Новые толки, новые пересуды пошли, и опять-таки не было в них ничего, кроме бестолочи. Кто говорил, что Доронин по Волге в разбое ходил, сначала-де был в есаулах, потом в атаманы попал; кто уверял, что разжился он мягкой денежкой⁹⁴, кто божился, клялся, что где-то на большой дороге богатого купца уходил он... Нашлись и такие, что образ со стены снимали, заверяя, что Доронин попал в полон к тухменцам, продан был в Хиву и там, будучи в приближении у царя, опоил его сонным зельем, обокрал казначейство и с басурманскими деньгами на Русь вышел... Слушая такие небылицы, припоминали, однако, ходившие когда-то и потом скоро загложившие слухи, что Доронина в Мертвом Култуке⁹⁵ видали. Мудрено ль оттуда в хивинский полон попасть, мудрено ль и дослужиться у неверного царя до почестей!.. Бывали примеры!.. Было же, что пленная мешанка из Красного Яра Матрена Васильева, угодив хану печеньем пирогов, попала в тайные советницы его хивинского величества!

А на Мертвом Култуке Доронин в самом деле каждое лето бывал. Ходил он туда на промысла, только не рыбные.

⁹¹ **Коренными** бурлаками зовут порывавшихся на всю путину и взявших при этом задатки; **добавочными** – взявших на пути, где понадобится, без срока и без задатка.

⁹² То есть на Волге. Собственно плес – часть реки от одного изгиба до другого.

⁹³ **Туман** или **томан** – персидская золотая монета в 2 р. 80 к.; **тилле** – бухарская золотая в 3 р. 90 к.; **киран** – серебряная персидская в 30 к.; **рупия** – индийская серебряная в 60 к.

⁹⁴ **Мягкая деньга** – фальшивая.

⁹⁵ **Мертвый Кулдук** – залив в северо-восточной стороне Каспийского моря.

Около того времени, как француз на Москву ходил, серебряный рубль целковый стал в четыре рубля ассигнациями, а медные пятаки да гривны в прежней цене оставались. А медные екатерининские деньги не теперешним были чета; из пуда меди только на шестнадцать рублей ассигнациями их выбивали. Персиане за пуд денежной меди с радостью по сороку да по пятидесяти рублей ассигнациями давали, платя больше своими товарами. И стали русские пятаки да гривны пропадать бесследно; зорко стали тогда присматривать за медниками, за литейщиками, за колокольными заводчиками; не нашлось, однако, на них никакого подозренья. Да и как каждый год по несколько сотен тысяч пудов медных денег тайком перелить? В каком подполье, в каком овраге такие горны наделаешь? Со временем приметили, что гривны да пятаки вниз по Волге плывут и назад в середку России не ворочаются, а в Астрахани стали они чуть не реже золотых. Вся мелкая торговля там на персидские да на бухарские товары пошла. Съестного надо купить, сдачу сдать с синенькой, либо с целкового, давали отрезки бурмёти, ханагая, алачи и канауса⁹⁶; бурлак в питейный забредет, спросит шкалик⁹⁷ и бязью⁹⁸ платит. Это называлось *пяташной торговлей*. Тою торговлей разжился и Алешка Доронин.

А придумали и устроили ту торговлю именитые греки да армяне. Сами в Астрахани сидели, ровно ни в чем не бывало, медали, кресты, чины за усердие к общей пользе да за пожертвования получали, а, отправляя пятаки к кизильбашам⁹⁹, нагревали свои руки вокруг русской казны. Самых отчаянных, самых отважных сорванцов, каким жизнь копейка, а спина и полушки не стоит, набирали они на астраханских пристанях да по рыбным ватагам, ихними руками и жар загребали. Головорезы от своих хозяев, именитых армян да греков, получали бочонки с медью, тайно спроваживали их к Гурьеву городку, а оттоль в телегах на Мертвый Култук. На пустынных песчаных берегах того залива, в едва проходимых высоких камышах там и сям гнили тогда лежавшие вверх дном расшивы. Казалось, бурей они были на берег выброшены, а в самом деле нарочно вытащены из воды и опрокинуты. Под ними складывались бочонки с медной монетой. Сюда персиане приезжали и за свои товары получали гривны с пятаками. По зиме, когда по восточным берегам Каспийского моря на сотни верст живой души не бывало, кизильбаши увозили медь к себе домой на санях, не боясь ни казацких караулов, ни набегов хищных тухменцев.

Доронин попал к самому первостатейному греку, к тому, что и выдумал пяташнюю торговлю. С самого начала «Алешка беспутный» выказал себя на воровское дело самым способным человеком. В Мертвом Култуке зеленó вино редко важивалось, и волей-неволей он понемножку отвык от чарочки. А у него непохмельного и голова, и руки были золотые. И первый год, и второй греку верой и правдой служил он, на третий, сведя знакомство с кизильбашами и даже выучась говорить по-ихнему, стал и свои пятаки продавать. И как только слышал, что в Питере свести, куда пятаки да гривны идут, сразу зашабашил, не поставив во грех надуть благочестивого грека. Получив за его бочонки два воза персидских товаров, не сдал их хозяину, а когда тот стал требовать, сказал ему: «Хочешь товар получить, так подавай на меня губернатору жалобу, без того последней тряпки не дам». Грек расшумелся, да нечего делать, плюнул на Доронина и рукой махнул.

На родине ни дома, ни жены, ни ребятишек не нашел. Постоял на поросшем лопухом и чернобылом месте, где когда-то стояла избенка его, почесал в затылке, выругался сам про себя и, перекрестившись, пожелал жене Царства Небесного. Потом крикнул с горя, махнул рукой и пошел на постоялый двор, где тогда у него воза стояли. Наутро беглый поп, что жил

⁹⁶ **Бурметь** – нечто вроде холста из хлопчатобумажной пряжи персидского изделия, простая бурметь зовется **шиле**, лучшая – **ханагай**. **Алача** или **аладжа** – шелковая или полущелковая полосатая ткань персидского изделия. **Канаус** – известная шелковая ткань.

⁹⁷ **Шкалик** – полкосушка.

⁹⁸ **Бязь** – то же почти, что бурметь, но не персидского, а среднеазиатского изделия.

⁹⁹ **Кизильбашами** зовут персиан. Старинное их название. Значит – красноголовый.

в Вольске при богатой часовне, строенья знаменитого откупщика Злобина, отпел Доронину канон за единоумершую и за то хорошие деньги получил на негасимую свечу и годовое чтение псалтыря по покойнице. Устроив душу жены, в тот же день Доронин уехал к Макарью, там выгодно продал товары, разменял басурманские деньги на русские и воротился в Вольск с крупным наличным капиталом.

На руках носили все Алексея Степаныча, не знали, чем угодить, чем почет воздать ему... Однако ж хоть все земляки от мала до велика перед ним лебезили, не захотелось ему остаться на родине. И в кабаках-то сидели еще те самые целовальники, которым он последнюю шапчонку, бывало, закладывал, и в полиции-то служили те самые будочники, что засыпали ему в спину горяченьких, и товарищи прежней беспутной жизни теперь одолели его – еле стоя на ногах, лезли к нему с увереньями в дружбе и звали с собой разгуляться по-старинному. Накупил Алексей Степаныч за Волгой да вокруг Сызрани земель и выстроил на Иргизе возле немецких колоний мельницу. А была та мельница на удивленье. Дом при ней поставил, разукрасил его на славу и привез из Сызрани на новоселье молодую хозяйку, женился он там на богатой купеческой дочке.

Были у него сын да дочь – красные дети. Вырастил их Алексей Степаныч в страхе Господнем, дочку выдал замуж в Саратов за хлебного торговца, сына на богатой сиротке женил. И только что успел устроить детей, кончил жизнь свою позорною смертью. Поехал он в Саратов по какому-то делу да кстати поглядеть на молодое хозяйство новобрачной дочери. А тогда по Волге шел неведомый, еще впервые появившийся на Руси мор. Ужас и уныние шли вместе с холерой; вечером и на рассвете по всем церквам гудел колокольный звон, чтобы во всю ночь между звонами никто не смел выходить на улицу; на перекрестках дымились смрадные кучи навоза, покойников возили по ночам арестанты в пропитанных дегтем рубахах, по домам жгли бесщадно все оставшееся после покойников платье, лекаря ходили по домам и все опрыскивали хлором, по народу расходились толки об отравлении колодцев... Страшное было время, особенно в Саратове. Доронин стосковался по жене, боялся за нее, за сына и молодую сноху, бросил дела на произвол судьбы и поехал домой. Его остановили и посадили в карантин. В тоске, в смертном страхе и горе подкупил он сторожей и с помощью их бежал из карантина. Его поймали, в двадцать четыре часа осудили и среди двух сторожей вздернули раба Божия на виселицу.

* * *

Зиновий Алексеич рос под неусыпными, денно-нощными заботами матери. Отцу некогда было заниматься детьми: то и дело в отлучках бывал. Только у него об них и было заботы, чтоб, возвращаясь из какой-нибудь поездки, привезти гостинцев: из одежды чего-нибудь да игрушек и лакомств. Мать Зиновья Алексеича женщина была добрая, кроткая, богомольная; всю душу положила она в деток. И вылился в них весь нрав разумной матери.

Из Зиновья Алексеича вышел человек ума недюжинного, нрава доброго, честного, всегда спокойного и во всем с рассудком согласного. Ему, воспитанному в страхе Божиим, было с раннего младенчества внушено беззаветное уваженье к дедовским обычаям, любовь к родине безграничная, честность ничем не колебимая, милосердие ко всякому бедному и несчастному. Когда исполнилось ему восемнадцать лет, мать, опасаясь, чтобы не смутил его враг рода человеческого и не ввел бы во грех, затворяющий, по ее убеждению, райские двери, стала ему невесту приискивать. Искала недолго, давно она сноху себе наметила – дальнюю свойственницу, круглую сироту с покорным нравом и с богатым приданым. Татьяна Андревна – так звали молодую жену Зиновья Алексеича – вся вышла в свекровь: такая же добрая жена, такая же заботливая мать.

После плачевной кончины Алексея Степаныча его вдова то жила у сына, то гостила у дочери – ни того, ни другой обидеть ей не хотелось. В обоих домах порядок держала и во всех делах, по хозяйству ли, насчет маленьких внучат, слово ее было законом. Внуков у дочери и внучек у сына нянчила, с детства в добре и правде их наставляла, молодым хозяевам советами во всем помогала. Десять годов с половиной так прожила честная вдовица и столь же тихо угасла, сколь тихо протекла жизнь ее, полезная для всех, кто ни знал ее. Много горя-печали кончина ее принесла и своим, и чужим, пуще всех горевали по ней бедные вдовы да сироты.

Зиновий Алексеич, как и родитель его, вел жизнь непоседную, разъездную; в доме у него чуть не круглый год бабье царство бывало. К Татьяне Андревне сродницы гостить приезжали, матери да канонницы с Иргиза да с Керженца, бедные вдовы да старые девы – больше никого. Вкруг дома жили одни рабочие, ближними соседями были немцы-колонисты. Скучненько было подраставшим дочерям Зиновья Алексеича, и частенько он подумывал: «Хорошо бы в городе домик купить либо новый построить: все-таки Лиза с Наташей хоть маленько бы света Божьего повидали». Но вслух о том заикнуться не смел, зная, как дорог был дом на мельнице старухе, его матери. По пятнадцатому году, когда тот дом только что обстроен был, вступила она под его кровлю хозяйшкой, всю почти жизнь провела в нем безвыездно и ни за что бы на свете не согласилась на старости лет перебраться на новое место.

Схоронивши мать, Зиновий Алексеич переселился в Вольск. Выстроил там лучший дом в городе, разубрал его, разукрасил, денег не жалея, лишь бы отделать все в «наилучшем виде», лишь бы каждому кидалось в глаза его убранство, лишь бы всяк, кто мимо дома ни шел, ни ехал, – все бы время на него любовался и, уехавши, молвил бы сам про себя: «Сумел поставить хоромы Зиновий Алексеич!»

В городу житье на иной лад пошло. Зиновий Алексеич был душа-человек: радушный, ласковый, доброжелательный, хлебосольный, гостям бывал рад обо всякую пору. Весело, радостно похаживал он по разубранным своим горницам, когда они бывали гостями полнехоньки; тут от него и шутки, и смехи так и сыплются, а без гостей приказчики да рабочие иной раз от хозяина слова добиться скоро не могут, только и разговорится, что с одними семейными. Всякому гостю званому и нежданному привет от него был один, только чванных, спесивых да ломливых гостей он не жаловал. Веселые гостины у Доронина бывали, однако, временами, когда хозяин в доме, а во время отлучек его только женский пол у Татьяны Андревны гащивал: знакомые купчихи из Вольска да из Балакова, подружки подраставших дочерей да матушки и келейные девицы из иргизских монастырей да из скитов керженских и чернораменных бывали в доме у нее.

И Зиновий Алексеич, и Татьяна Андревна в дочерях своих души не чаяли, обеих равно лелеяли, обеих равно берегли, и не было из них ни отцовской баловницы, ни материной любви. Держали девиц просто, воспитали их бесхитростно, брали лаской да любовью, а не криками и строгостями. Читать и писать полууставом выучила их проживавшая при домашней моленной читалка-канонница; девочки были острые, к ученью способны и рачительны; еще детьми прочитали они все двадцать кафизм псалтыря, даже Ефрема Сирина и Маргарит Златоуста. Зиновий Алексеич рассуждал, что растит дочерей не для кельи и не ради манатый; и, к великому огорчению матушек, к немалому соблазну кумушек, нанял бедного старичка, отставного учителя, обучать Лизу с Наташей читать и писать по-граждански и разным наукам, какие были пригодны им. Татьяна Андревна тому не препятствовала, но, когда приходил учитель, на шаг не отходила от дочерей и ни единого слова учителя мимо ушей не пропускала. Советовали знакомые Зиновью Алексеичу свезти дочерей в Казань либо в Москву в хороший пансион, где ихние дочери обучались, а если жаль надолго расставаться, принять в дом учительницу, чтобы могла она их всему обучить, что по нынешним временам от дочерей богатых купцов требуется. Зиновий Алексеич на то не согласился. «Как, говорил, приму в дом чужого человека?.. Кто ее знает – какова навернется, чего доброго еще перепортит девчат... Да, пожалуй, по сере-

дам да пятницам скоромничать вздумает, – так разве это в христианском доме можно?» Зато стал покупать дочерям книги не только божественные, но и мирские. Ни сам он, ни Татьяна Андревна не знали, какие книги пригодны и какие дочерям в руки брать не годится, потому и спрашивали старичка учителя и других знающих людей, какие надо покупать книги. Но и тут Татьяна Андревна тогда только давала дочерям книгу, когда наперед сама, бывало, прочтает ее от доски до доски. С раннего детства Лиза с Наташей на полной свободе росли, не видывали они сурового взгляда родительского, оттого и не таились ни в чем пред отцом-матерью. Еще бабушка на мельнице с самых пеленок внушала им, что нет на свете ничего хуже притворства и что всяка ложь, как бы ничтожна она ни была, есть чадо диавола и кто смолodu лжет, тот во все грехи потом вступит и впадет на том свете в вечную пагубу. По смерти бабушки Татьяна Андревна то же самое дочерям внушала. И не было в них притворства, никогда с их языка не сходило лживого слова. На глазах родителей девочки делали что хотели – и хорошее и дурное, за хорошее их не хвалили, за дурное не бранили и ничем не грозили, а кротко объясняли, почему это дурно и почему того делать не след. Откровенность девочек с бабушкой, с отцом и с матерью была безгранична; каждое свое помышление они им рассказывали. Живя на мельнице, мало видели они людей, но и тогда, несмотря на младенческий еще почти возраст, не были ни дики, ни угрюмы, ни застенчивы перед чужими людьми, а в городе, при большом знакомстве, обходились со всеми приветно и ласково, не жеманились, как их сверстницы, и с притворными ужимками не опускали, как те, глаз при разговоре с мужчинами, не стеснялись никем, всегда и везде бывали веселы, держали себя свободно, развязно, но скромно и вполне безупречно. По образу жизни родителей Лиза с Наташей были удалены от сообщества мещанских девушек, потому и не могли перенять от них вычурных приемов, приторных улыбок и не совсем нравственных забав, что столь обычны в среде молодых горожанок низшего слоя. На их «подругах» заметно было влияние мещанства, и это было противно Лизе с Наташей; не умевшие лгать и притворствоваться, они высказывали это подругам напрямик. За это подруги на них досадовали, а иные даже ненавидели, но никогда ни одна не посмела про них сплетку сплести.

Словом сказать, выросли Лиза с Наташей в строгой простоте коренной русской жизни, не испорченной ни чуждыми быту нашему верованиями, ни противными складу русского ума иноземными новшествами, ни доморощенным тупым суеверием, все порицающим, все отрицающим, о чем не ведали отцы и деды, о чем не писано в старых книгах.

Хоть Лиза двумя годами была постарше сестры, но в их наружности почти никакой разницы не было: похожи друг на дружку, ровно две капли воды. Не такие были они красавицы, каких мало на свете бывает, каких ни в сказках сказать, ни пером описать, но были так милы, видны и свежи, что невольно останавливали на себе взоры каждого. Острый, спокойный ум так и блистал в их ясных темно-синих очах. Только что заневестилась старшая, молодежь стала на нее заглядываться, стала она заглядываться и на младшую, а старые люди, любясь на сестриц-красавиц, Зиновью Алексеичу говаривали: «Красен, братец, дочками – умеи зятьев подобрать, а выбрать будет из кого, свахи все пороги у тебя обобьют».

И в самом деле обили. Еще годов не выходило Лизавете Зиновьевне, как матушки да тетушки мало-мальски заметных по купечеству женихов стали намекать насчет сватовства, но Татьяна Андревна речи их поворачивала на шутку. Когда ж исполнились года, городские свахи и приезжие из Саратова, Хвалыня и Сызрани зачастили к Дорониным. Сватались к Лизе молодые и степенные, сватались бедные и богатые, сватались те, кому жениным приданым хотелось карман починить, засылали свах и такие, что, думая завести торговое дело пошире, рассчитывали на доронинские денежки... Сватались из-за невестинной красоты, из-за хорошего родства, а больше всего из-за денег; таких только отчего-то не виделось, что думали жениться в надежде найти в Лизавете Зиновьевне добрую жену, хорошую хозяйку и разумную советницу. От прямых ответов свахам Татьяна Андревна уклонялась, говорила, что дочь у нее еще не перестарок, хлебом-солью отца не объела, пушай, дескать, в девичестве подольше покруасуется, подольше

поживет под теплым материнским крылышком. Не дивили свах речи Татьяны Андревны – речи те были обычные, исстари заведенные; завсегда говорятся они, будь невеста хоть совсем старуха, хоть такая перезрелая дева, по народному присловью, на том свете какой козлов пасти. То смущало свахонек, то странным и чудным казалось им, что Доронины, и муж и жена, им сказывали, что воли с дочерей они не снимают, за кого хотят, за того пускай и выходят, а их родительское дело благословить да свадьбу сыграть. Такое нарушение старых порядков свахи сочли ересью и потом сомневались даже, в своем ли уме такой ответ Доронины держали.

Года полтора от свах отбоя не было, до тех самых пор, как Зиновий Алексеич со всей семьей на целую зиму в Москву уехал. Выгодное дельце у него подошло, но, чтобы хорошенько его обладать, надо было месяцев пять в Москве безвыездно прожить. И задумал Доронин всей семьей катить в Белокаменную, кстати ж, ни Татьяна Андревна, ни Лиза с Наташей никогда Москвы не видали и на Рогожском кладбище сроду не маливались.

В Москве у Зиновья Алексеича знакомство по купечеству было обширное. А водил он хлеб-соль и был в дружбе-приязни не с одними старообрядцами. И церковные уважали его за прямоту души. По приезде в Москву оказалось у него столько знакомых, что Татьяне Андревне две недели пришлось изо дня в день разъезжать по Москве знакомства делать. Не привыкла она к такой жизни, неприятны ей были разъезды с одного конца города на другой; но делать было нечего; Зиновий Алексеич сказал, что так надо, – противоречить ему в голову не прихаживало Татьяне Андревне. Вступив в круг новых знакомых, Доронины старались доставлять дочерям удовольствия, какие были возможны и доступны им. Поездки в гости, в театр, на вечера отуманили Лизу с Наташей; ничего подобного до тех пор они не видали, было им боязно и тягостно среди нового общества. Все им чудилось, что они и из себя-то хуже всех, и глупее-то всех, и говорить-то ни о чем не умеют; все им казалось, что москвичи смотрят на них, как на привозные диковины, и втихомолку над ними насмеются. Бойки и резвы в своем Вольске они выросли, а теперь сидят себе да помалкивают, боясь слово сказать, сохрани Бог не осмеяли бы, а у самих сердце так и щемит, так и ноет – расплакаться, так в ту же пору... В самом начале московских выездов Доронины всей семьей были на именинах; хозяйская племянница села за фортепиано; начались танцы. Невыносимо стало Лизе с Наташей: их зовут танцевать, а они не умеют. Глядят на девиц и видят, что платья на них и проще, и дешевле ихних, а сидят на них и лучше, и красивее, одни они одеты, ровно «кутафьи роговны»...¹⁰⁰ И скучно и тошно показалось им в Москве, поскорей бы домой, на родную сторонку, где живетя проще и привольнее, где завсегда бывали они всех приглядней, всех наряднее.

Зиновий Алексеич рассудил иначе. Тоже нелегко было ему на сердце, как увидел он дочерей в несродной им среде. Обижало его и крепко огорчало, что Лиза с Наташей во всем от других отстали, и не раз он успокаивался, что не послушался друзей-приятелей, не принял в дом учительницы... Плакала потихоньку и Татьяна Андревна, хоть и громко ворчали на нее рогожские матери, но Зиновий Алексеич не внял тому, нанял учительницу, обучила б скорей дочерей танцевать, накупил им самых модных нарядов и чуть не каждый день стал возить их в театры, в концерты и по гостям, ежели знал, что танцев там не будет. Танцы – наука не хитрая, была бы только охота, а Лизе с Наташей очень хотелось им выучиться. У выросших без грозы девушек все движенья и приемы были свободны, и в каждом выражалась прелесть красоты и непорочности, – выучиться танцам было им нетрудно. Месяца через полтора никто бы не узнал их. Заговорили про дочерей Доронина по всему купечеству... Нардоваться не мог Зиновий Алексеич. Самодовольно похаживал он на званных вечерах в Купеческом клубе, видя, как его дочери привлекают на себя общее внимание, как блестят красотой, ловкостью и разумными разговорами. Тихой радостью сияла Татьяна Андревна, видя, как молодые сыновья самых первых

¹⁰⁰ **Кутафья** – неуклюжая, безобразно одетая женщина, также неуклюже построенное здание (в Москве башня Кутафья так прозвана народом, а не официально). **Кутафья роговна** – столь безобразно одетая женщина, что над нею все смеются.

московских тузов-миллионщиков не сводят жадных взоров с ее дочерей и как люди пожилые, степенные, поглядывают на них с довольной и одобрительной улыбкой. И вот что всего было удивительнее: блистая в новой среде, Лиза с Наташей не возбуждали к себе ни чувств недоброжелательства и пренебрежения в матерях неказистых из себя невест, ни зависти и затаенной злобы в новых подругах. Так обаятельна была прелесть их чистоты, так всемогуща была непорочность их помыслов, что выражалась в каждом слове, в каждом взоре, в каждом движении поволжских красавиц...

Всем были ведомы достатки Доронина, все знали, что каждой из его дочерей половина его состояния достанется. Тетушки и бабушки неженатых московских купчиков в разговорах с Татьяной Андревной стали загадывать всем понятные, исстари по Руси ходячие загадки: «Не век-де Лизавете Зиновьевне маком сидеть, не век-де ей русой косой красоваться, не пора ль де ей за свое хозяйство приниматься, свой домик заводить?» Татьяна Андревна, тоже как исстари ведется, от прямого ответа уклонялась, не давала, как говорится, ни приказу, ни отказу. Тогда тетушки да бабушки заводили сватовство напрямки: «У вас, дескать, товар, а у нас на товар купец найдется». И называли купца по имени и отчеству. Но Татьяна Андревна и тут, не давая прямого ответа, обычные речи говаривала: «Наш товар не продажный, еще не поспел; не порогом мы вам поперек стали, по другим семьям есть товары получше нашего». И сколько ни затевалось сватовства, толку не выходило. Лизавета Зиновьевна знала все, мать от нее ничего не таила, однако она ни на минуту не задумывалась ни над одним женихом. Все они были ей равны, ничьи страстные взоры, ничьи сладкие речи не отзывались в ее сердце. Оно, чистое, непорочное, было еще безмятежно, как зеркальная поверхность широко раскинувшегося озера в тихий, ясный июньский вечер.

Пришел Зиновей с поробшей – охотничий праздник¹⁰¹. Хоть снежку на перву порошу Зиновей в тот год и не принес, а Доронин, не будучи псовым охотником, про Зиновьев праздник и не слыхивал, однако ж задумал было в тот день на всю знакомую Москву пир задать. Зиновьи раз только в году бывают – всем знакомым, кто в святцы поглядывает, было известно, что их поволжский гость в тот день именинник... Обед задать или вечеринку устроить – советовали меж собой Зиновий Алексеич с Татьяной Андревной. Но как ихняя квартира в нанятом доме-особняке на Земляном валу еще не была как следует устроена, а именины пришлось в пятницу, значит, стола во всей красе устроить нельзя, то и решили отложить пир до Татьянина дня¹⁰², благо он приходился в скоромный понедельник. Так всем знакомым и сказывали.

В день ангела Зиновий Алексеич со всей семьей съездил в Рогожское, отстоял там часы, отслушал заказной канон преподобному и, раздав по всем палатам щедрую милостыню, побывал в келье у матушки Пульхерии и вдоволь наслушался красноглазовых речей знаменитой по всему старообрядству старой-престарой игуменьи. Татьяна Андревна с дочерьми от Пульхерии домой поехали, а именинник по какому-то делу в город отправился, обещавшись к обеду воротиться. Подошла обеденная пора, а хозяина нет. Захлопоталась Татьяна Андревна: не пересидела бы, сохрани Бог, кулебяка, не переварилась бы осетрина, не перекипела бы рыбная селянка... А время идет да идет, доброй хозяйшке жутко уж становится, чуть не до слез дело дошло... «Каждый год, – думает она, – к именинному пирогу из-за тысячи верст приезжал, а теперь в одном городе, да ровно сгиб-пропал... Не случилось ли уж чего? Лошади не разбили ль?.. Не захворал ли вдруг?» Обливается тоской сердце Татьяны Андревны, а смущенные не меньше матери дочери давно все окна проглядели – не едет ли тятенька из города.

– Едет!.. – радостно вскрикнула наконец Наташа и бросилась встречать отца.

Татьяна Андревна три раза набожно перекрестилась, глядя на иконы, и спокойной походкой к дверям пошла.

¹⁰¹ 30 октября.

¹⁰² 12 января.

– С каким-то гостем, – молвила Лизавета Зиновьевна, еще не отходившая от окошка.

В самом деле, в щегольских парных орехового дерева саниях рядом с Зиновьем Алексеичем сидел кто-то, закутанный в ильковую шубу и дорожную соболью шапку.

«С кем бы это? – размышляла Татьяна Андревна, проворно подходя к окну, мимо которого заворачивали на двор сани. – Уж не из наших ли, не из вольских?.. Да шубы-то такой во всем Вольске нет».

– Может, из московских кто-нибудь, – заметила Лиза.

– Привезет ли он кого из здешних на именины, когда пиры да гостины отложены? Так не водится, – молвила Татьяна Андревна.

Вошел в прихожую Зиновий Алексеич. Наташа быстро подскочила к отцу, сняла с него шапку и повисла у него на шее, целуя заиндепевшую от мороза родительскую бороду.

– Заждались мы тебя! Чуть-чуть не заплакали. Думали, не случилось ли уж чего с тобой, – говорила она, весело улыбаясь и снимая с отца шубу.

– И впрямь, батька, где это ты запропастился?.. – стоя в дверях залы, сказала Татьяна Андревна. – Как это тебе, Алексеич, не стыдно мучить нас?.. Чего-чего, дожидаясь тебя, мы не надумали!.. А кулебяка-то, поди-чуть, перегорела, да и рыба-то в селянке, думать надо, перепрела.

– Запоздал маненько, – молвил Зиновий Алексеич.

– Како тут маненько? – возразила Татьяна Андревна. – Погляди на часы-то. Битых два часа тебя поджидали, а ему про нас и думушки нет... А еще именинник!.. Постылый ты ж этакой! – с напускной досадой промолвила Татьяна Андревна, отворачиваясь от мужа.

– Ну, простите, Христа ради. Ни впредь, ни после не буду, – ласково потрепав хозяйку по плечу, сказал Зиновий Алексеич. – Что делать?.. Линия такая вышла! Зато и дельце сварганили... Ну, да ведь соловья баснями не кормят, а ты, Андревнушка, спроворь-ко нам поскорее закусочку: водочки поставь да мадерцы, икорки зернистой, да грибочков, да груздочков, да рыжичков, да смотри, огурчиков солененьких не забудь. А за обедом извольте поздравлять меня холодненьким – значит, шампанское чтоб было подано... А этого молодца признала? – сказал Зиновий Алексеич, указывая на вышедшего из передней молодого человека.

– Не могу признать, – пристально глядя на гостя и слегка разводя руками, молвила Татьяна Андревна.

– Вот оно каково!.. – шутил Зиновий Алексеич. – Вот оно что значит в Москву-то забраться!.. Своих не узнаешь!.. наших палестин выходец, волжанин сын¹⁰³, саратовец, да еще нам никак и сродни маленько приходится!

Тут Татьяна Андревна совсем уж растерялась. Сложив руки на груди и умильно поглядывая на молодого человека, сказала ему:

– Ни за что на свете старым моим глазам не признать вас, батюшка... Скажите, сделайте милость, как вы нам родня-то?

Молодой человек был смущен не меньше Татьяны Андревны. Мнет соболью свою шапку, а сам краснеет. Не спал, не грезил – и вдруг очутился среди красавиц, каких сроду не видывал, да они же еще свои люди, родня.

– Федора Меркулыча помнишь? – спросил у жены Зиновий Алексеич.

– Как же, батька, не помнить Федора Меркулыча? Двоюродным братцем матушке покойнице доводился, – отвечала Татьяна Андревна...

– Так это его сынок, Никита Федорыч, – сказал Зиновий Алексеич.

– Микитушка! – радостно вскрикнула Татьяна Андревна. – Родной ты мой!.. Да как же ты вырос, голубчик, каким молодцом стал!.. Я ведь тебя еще махоньким видала, вот этаким, –

¹⁰³ Волжанин или волжанин сын – так зовут уроженцев Поволжья, особенно среднего и низового.

прибавила она, подняв руку над полом не больше аршина. – Ни за что бы не узнать!.. Ах ты, Микитушка, Микитушка!

И с любовной лаской принялась со щеки на щеку лобызать новоявленного сродника.

– Ну что, как у тебя домашние-то? – с родственным участием спрашивала Татьяна Андревна.

– Батюшка летошний еще год помер, – тихо промолвил Никита Федорыч.

– Слышали, родной, слышали... Пали и к нам вести об его кончине, – говорила Татьяна Андревна. – Мы все как следует справили, по-родственному: имечко святое твоего родителя в синодик записали, читалка в нашей моленной наряду с другими сродниками поминает его... И в Вольске при часовне годовая была по нем заказана, и на Иргизе заказывали, и на Керженце, и здесь, на Рогожском. Как следует помянули Федора Меркулыча, дай Господи ему Царство Небесное, – три раза истово перекрестясь, прибавила Татьяна Андревна.

Меж тем в гостиной на особый столик закуски поставили, и Зиновий Алексеич, взяв гостя под руку, подвел к ней и молвил:

– Покойникам вечный покой, а живым – хлеб да соль. Милости просим, Никита Федорович!.. Водочки-то! Икорки, балычка!

– Дома-то, слышали мы, мало живешь!.. – продолжала расспросы свои Татьяна Андревна. – Все больше, слышь, в разъездах.

– Такое уж наше дело, – отвечал Меркулов. – Ведь я один, как перст, ни за мной, ни передо мной нет никого, все батюшкины дела на одних моих плечах остались. С ранней весны в Астрахани проживаю, по весне на взморье, на ватагах, летом к Макарью; а зиму больше здесь да в Петербурге.

– В Питере-то что у тебя за дела? Не хлебом, батька, торгуешь? – спросила Татьяна Андревна.

– По нынешним обстоятельствам нашему брату чем ни торгуй, без Питера невозможно, – ответил Никита Федорыч. – Ежели дома на Волге век свой сидеть, не то чтобы нажить что-нибудь, а и то, что после батюшки покойника осталось, не увидишь, как все уплывет.

– Это так, это верно, – подтвердил Зиновий Алексеич. – До какого дела ни коснись – без Питера нельзя, а без Москвы да без Макарья – тем паче.

– Нынешняя коммерция не то, что в старые годы, Татьяна Андревна, – прибавил Никита Федорыч, обтираясь салфеткой после закуски.

И хотел было подробнее о том разговориться, но Татьяна Андревна тут на него прикрикнула:

– Да что я тебе за Татьяна Андревна такая далась?.. Опомнись, батька, перекрести лоб-от!.. Твоему родителю внучатой сестрой доводилась, значит, я тебе тетка, а не Татьяна Андревна!.. А это тебе дядюшка Зиновей Алексеич, а это сестрица – Лизавета Зиновьевна да Наташа – до Натальи-то Зиновьевны она еще не доросла. Ты у меня и не смей иначе звать, как меня тетушкой, его дядюшкой, их сестрицами... На что это похоже?.. Люди свои, сродники, а меж собой ровно бы чужие разговаривают!.. Басурмане, что ли, мы? Так и те родню почитают!.. Ты у меня и думать не смей по имени по отчеству нас величать... Слышишь!..

За столом Меркулов, по приказу Татьяны Андревны, называл ее тетушкой, назвал было Зиновья Алексеича по имени и отчеству, так и тот на него вскинулся:

– Разве я не теткин муж? – сказал он. – Коль она тебе тетка, я, значит, тебе дядя. Так-то, сударь!

Стал Никита Федорыч и Доронина дядюшкой называть, но девиц сестрицами называть как-то не посмел, оттого мало и разговаривал с ними. А хотелось бы поговорить и сестрицами назвать...

После обеда именинник пошел на часок отдохнуть, а гость домой стал собираться, но тетушка его не пустила.

– Куда это ты, Микитушка? – говорила она. – Посумерничай, батька, у нас, покалякаем; встанет Зиновий Алексеич, чайку попьем да еще покалякаем до ужина-то. Отведи до конца дядины-то именины, гости у нас дó ночи.

И остался племянник у дяди до полночи, говорил с ним о делах своих и намереньях, разговаривал и с сестрицами, хоть ни той, ни другой ни «ты» сказать, ни «сестрицей» назвать не осмелился. И хотелось бы и бояться бы, кажется, нечего, да тех слов не может он вымолвить; язык-от ровно за порогом оставил.

А ехавши домой, всю дорогу про ласковых, пригожих сестриц продумал; особенно старшая вспоминалась ему. Вплоть до зари больше половины ночи продумал про нее Никитушка; встал поутру – а на уме опять та же сестрица.

Сердце сердцу весть подает. И у Лизы новый братец с мыслью не сходит... Каждое слово его она вспоминает и каждому слову дивится, думая, отчего это она до сих пор ни от кого таких разумных слов не слыхивала...

Пришел ее час.

А Наташа ничего. Братец за дверь, она про него и забыла. Ее час еще не пробил.

* * *

Через какую-нибудь неделю Меркулов у Дорониных совсем своим человеком стал. Как родного сына, холила и лелеяла «Микитушку» Татьяна Андревна, за всем у него приглядывала, обо всем печаловалась, каждый день от него допытывалась: где был вчера, что делал, кого видел, ходил ли в субботу в баню, в воскресенье за часы на Рогожское аль к кому из знакомых в моленну, не оскоромился ль грехом в среду аль в пятницу, не воруют ли у него на квартире сахар, не подменивают ли в портомойне¹⁰⁴ белье, не надо ль чего заштопать, нет ли прорешки на шубе аль на другой одежде какой. Покажется Татьяне Андревне, что у Микитушки глаза мутны аль в лице побледнел, тотчас зачнутся расспросы: не болит ли головка, лихоманка не напала ли, не съел ли чего лишнего, не застудил ли себя. За расспросами советы пойдут: напиться на ночь той либо другой травки, примочить голову уксусом, приложить горчишник. Взгрустнется Никите Федорычу аль раздумье на него нападет, опять тетушкины расспросы: не случилось ли в делах изьяну, не гребтит ли срочный вексель, не обчел ли его кто-нибудь, не обидел ли словом али делом.

Иной раз Никите Федорычу докучны бывали тетушкины заботы, но он и виду не показывал, что они ему надоели. Знал, что радушное о делах его беспокойство Татьяны Андревны, усердные вокруг него хлопоты идут от бескорыстной любви, от родственного чувства, хоть на самом-то деле какой уж он был ее сродник? В седьмом колене доводился, а Лизе с Наташей – в восьмом. В Сибири, на Севере и в широких степях заволжских, кто живет за полтораста, за двести верст, тот ближний сосед, а родство, свойство и кумовство считается там чуть не до двадцатого колена. Седьма вода на киселе, десята водина на квасине и всякая сбоку припека из роду, из племени не выкидается. Даже тот, кто на свадьбе в поезжанах был, век свой новобрачным кумом, а их родителям сватом причитается. Хранить родство, помогать по силе возможности сродникам по тем местам считается великой добродетелью, а на того, кто удаляется от родных, близких ли, дальних ли, смотрят как на недоброго человека. Зиновий Алексеич и Татьяна Андревна свято хранили заветы прадедов и, заботясь о Меркулове, забывали дальность свойства: из роду, из племени не выкинешь, говорил они, к тому ж Микитушка сиротинка – ни отца нет, ни матери, ни брата, ни сестры; к тому ж человек он заезжий – как же не обласкать его, как не приголубить, как не призреть в теплом, родном, семейном кружке? «Бог счастье отнимет, кто родню на чужбине покинет», – говаривала Татьяна Андревна.

¹⁰⁴ Прачешное заведение.

* * *

Никита Федорыч матери не помнил. В пеленках остался после нее. Рос на попечение нянек да мамок. Родитель его, в людях человек душевный, веселый, добродушный, обходительный, ко всякому радушный и ласковый, в стенах своего дома бывал всегда угрюм, суров и своеобразен. Из домашних на него никто угодить не мог – вечно ворчит, вечно чем-нибудь недоволен и гневен. А ежели рассердится, – а сердился он почти ежечасно, – изъязвит, бывало, словами человека. Рукам воли не давал, но подначальные говаривали: «Не в пример бы легче было, ежели бы хозяин за всяко просто в ус да в рыло... А то пилит-пилит, ругается над тобой, ругается – не видно ни конца, ни краю... А ведь ругается-то как: каждое словечко больней плети треххвостки!» И редкие работники подолгу у Меркулова уживались, хоть платил он им хорошо, а поил, кормил не в пример лучше, чем другие хозяева.

По смерти жены то одну, то другую сродницу звал хозяйствовать да за сыном приглядывать – больше полугода ни одна не уживалась. Чужих стал звать, большие награды давал – те и месяца не выдерживали. Вырос Микитушка на руках двух нянек, безответных старушек; за душевный подвиг они себе поставили претерпеть все невзгоды и ругательства хозяина ради «маленького птенчика, ради сироты, ни в чем не повинного». Канонница из Иргиза, что при моленной жила, тоже решила себя на смиренномудрое долготерпение в доме Федора Меркулыча, что сделала не из любви ко птенчику сиротке, а за то, что ругатель-хозяин в обитель ее такие суммы отваливал, что игуменья и соборные старицы, бывало, строго-настрога наказывают каноннице: «Вся претерпи, всяко озлобление любовью покрой, а меркуловского дома покинуть не моги, велия бо из него благостыня неоскудно истекает на нашу честную обитель». Канонница Микитушку читать-писать выучила; нянкам и за то спасибо, что ребенок вырос ни кривым, ни хромым, ни горбатым каким. Лет десять ему было уж, Микитушке, как родитель его, наскучив одинокой жизнью и тем, что в его богатом доме без бабы пустым пахло, без прямой хозяйки все лезло врознь, – вздумал жениться на бедной молоденькой девушке. Была она мещанская дочь; отец ее чеботарил. Видал ее Федор Меркулыч каждое лето, когда, бывало, пробудясь от послеобеденного сна, прохлаждался он, сидя за чаем в гулянке¹⁰⁵, что стояла вскрай его сада, рядом с садишком чеботаря. Видал он ее еще тогда, как девчонкой-чупахой, до пояса подыма подол, бегала она по саду, собирая опавшие дули и яблоки, видал и подростком, когда в огороде овощ полола, видал и бедно в ситцевый сарафанчик одетою девушкой, как, ходя вечерком по вишеннику, тихонько распевала она тоскливые песенки. Влюбился старый брюзга, слова с девушкой не перемолвя, послал он за чеботарем и, много с ним не говоря, с первого слова объяснил ему, что хочет зятем ему учиниться. Чеботарь от неожиданного счастья белугой заревел и в ноги поклонился Федору Меркулычу. На другой день седовласый жених, все еще не выдавшись с невестой, поехал к беглому попу, что проживал при злобинской часовне.

– Так и так, отче святой, жениться хочу.

– Не старенько ли твое дело, Федор Меркулыч? – спросил у него поп.

– Помоложе тебя буду, а живешь же с попадеей да детей еще плодишь, – ответил сурово жених. – Не гляди на меня, что волосом бел, то знай, что я крепостью цел. Году не минет – крестить позову.

– Ох, чадо, чадо! Что мне с тобой делать-то? – вздохнул беглый поп, покачивая головой и умильно глядя на Федора Меркулыча. – Началить тебя – не послушаешь, усовестить – ухом не поведешь, от Писания святых отец сказать тебе – слушать не захочешь, плюнешь да прочь пойдешь... Что мне с тобой делать-то, старче Божий?

¹⁰⁵ Беседка.

– Что делать? – усмехнулся Федор Меркулыч. – Бери деньги да венчай – вот и все твое дело.

– Ох-ох-ох!.. Грехи наши, грехи тяжкие! – вздыхал поп по-прежнему. – О душе-то надо бы подумать, Федор Меркулыч. Ведь немаложито, немало и грехов-то накоплено... Каяться бы тебе да грехи оплакивать, а не жениться!

– Не на дух к тебе, батька, пришел, законный брак повенчать требую, – вспыхнул Меркулов. – Ты лясы-балясы мне не точи, а сказывай: когда ехать в часовню и сколько возьмешь за труды?..

– Ох-ох-ох! – вздыхал поп и, видя, что седого жениха не возьмешь ни мытьем, ни катаньем, спросил: – С кем же браком сочетаться есть твое произволение?

Жених назвал невесту.

– Ах, Федор Меркулыч, Федор Меркулыч!.. – покачивая головой, сказал на это поп. – Да ведь ей только что семнадцатый годок пошел, а тебе ведь седьмой десяток в доходе. Какая ж она тебе пара?.. Ведь она перед тобой цыпленок.

– Цыпленок! – с самодовольствием молвил Федор Меркулыч. – Что ж из того?.. Всяк человек до цыплятинки-то охотник!.. Ты не охотник разве, отче святой?.. А?..

– Ох, грехи, грехи! – глубоко вздыхая, молвил поп и, зная, что упрямого Федора Меркулыча в семи ступах не утолчешь, да притом рассчитывая и на благостыню, какой, может быть, еще сроду не видывал, назначил день свадьбы.

Женился Федор Меркулыч. Десятилетний Микитушка на отцовской свадьбе благословенный образ в часовню возил и во все время обряда глаз с мачехи не спускал. Сам не знал, отчего, но с первого взгляда на нее невзлюбила невинная отроческая душа его розовой, пышно сияющей молодостью красавицы, стоявшей перед наложником рядом с седовласым его родителем. Сердце вещун – и добро оно чувствует, и зло, особенно в молодых годах.

В русских семьях хитрая молодая жена зачастую подбирает к рукам мужа старика, вертит им как себе хочет, и живет он у нее во смирение и послушание до самого смертного часа. Так и с Федором Меркулычем случилось; семнадцатилетняя женка, наслушавшись советов матери и других родственниц, сумела вконец заполнить семидесятилетнего мужа. Федор Меркулыч не выходил из ее воли: что ни вздумала, чего бы ни захотела «свет душа Паранюшка» у него, тотчас вынь да положь. И стал бедный цыпленок царить в богатом доме, все под нготок свой подвела Прасковья Ильинишна, всем распоряжалась по властному своему хотению. Заспесивилась перед сверстницами-подругами, загордилась перед давними знакомыми, зачванилась перед близкими и дальними сродниками. Живучи у родителей, и в великие праздники сладкого куса не знавшая, подчас голодавшая и холодавшая, – много злобы и зависти накопила Прасковья Ильинишна в своем девичьем сердце, а когда начала ворочать тысячами, стала ровно каменная, заледенела. Опричь денег, ни к чему сердце у ней не лежало. И родных своих по скорости чуждаться стала, не заботили ее неизбывные их недостатки; двух лет не прошло после свадьбы, как отец с матерью, брат и сестры отвернулись от разбогатевшей Парашки, хоть, выдавая ее за богача, и много надежд возлагали, уповая, что будет она родителям под старость помощница, а бедным братьям да сестрам всегдашняя пособница. Ото всех отшатнулась, на всех подула холодком и, ласкаясь к старому и полному немощей мужу, страстно его уверяла, всеми клятвами заклинаясь, что, кроме его, нет у нее ничего заветного, что даже отец с матерью стали остудой для нее. Верил старый и души не чаял в молодой жене.

Дух алчности и злобы совсем осетил ее. Мужу только угождала, и то из корысти, день и ночь помышляя, как бы добиться, чтоб старый, отходя сего света, ей все имение отдал. Своих детей не родилось, пасынок поперек дороги стоял, и оттого возненавидела она беззащитного мальчика... Тюрьмы да каторги опасаясь, со свету сжить Никитушку не решалась, зато вздумала сбыть его из дому, не вертелся бы он на отцовских глазах. Вырастивших его нянек со двора долой согнала; иргизскую канонницу, что грамоте его обучила, сменила старой, злой,

бранчивой керженской читалкой. Не с кем стало словечка перемолвить Никитушке; отца видал он редко, а от мачехи да от прислуги только бранные речи слышал и каждый день терпел обиды: и щипки, и рывки, и целые потасовки. Любил его только серый Волчок – старая цепная собака, и того мачеха извести велела. А из дому выходу Никитушке не было, и к нему из сверстников никто не хаживал. Рос мальчик в полном одиночестве.

Болезнью о забитом Никитушке, други-приятели Федора Меркулыча на беседах ему советовали, отдал бы он сына в ученье в Москву либо в Питер. Узнавши о том, Прасковья Ильинишна день и ночь стала докучать старому, чтобы отправил он в ученье Никитушку. Слушать не хотел Меркулов друзей-приятелей, но Прасковья Ильинишна на своем поставила. Правду пословица говорит: ночная кукушка денную перекукует. Решил Федор Меркулыч отправить сына в Питер, отдать его там в коммерческое училище, а отучится – на контору куда-нибудь; пущай, дескать, к делам приучается. Выйдет человеком, слава Богу, свихнется – значит, была на то воля Божия. И послали Никитушку при отцовском рыбном обозе в Москву, а оттоль в Питер переправили и там с грехом пополам в училище пристроили. Весела и радостна стала Прасковья Ильинишна, лет на десяток помолодел Федор Меркулыч от любовных ласк молодой жены. А детушек у Прасковьи Ильинишны нет как нет, не шлет их Господь.

Хоть живи, не живи, а годы возьмут свое – ослаб, одряхлел Федор Меркулыч и совсем захилел, когда ему за половину восьмого десятка перевалило. А Прасковья Ильинишна тогда во всю красу вступила. Живой живого ищет, молодость живет молодым. И грустно, и тошно стало ей жить со стариком. С тоски да печали слюбилась она с молодым пригожим приказчиком. По зимам и в темные ночи осенние, когда Меркулов в отлучках бывал, видалась она с полюбовником в уютной спальне, до вторых петухов с ним просиживала возле изразцовой печки на теплой лежаночке, а летом миловалась с ним в зеленом саду, в частом вишенье, орешенье и весело над постылым мужем посмеивалась. И не день, не месяц молодая жена старого мужа обманывала, любила она со дружкой два годочка.

Раз перед Троицей Федору Меркулычу прихворнулось; гостил на пиру, на беседе, покушал ботвиньи да жирной кулебяки, грибов в сметане сковородку-другую уплел да жареного поросеночка с гречневой кашей. Только что воротился домой, как его схватило, – сейчас за попом. В сенях Прасковья Ильинишна попа перехватила, обещала ему сколько-то тысяч, уговорил бы больного написать духовную в ее пользу. Пот так и сделал, а едва успел Федор Меркулыч подписать завещанье, как канонница стала у него в изголовьях и стала читать канон на исход души. Под вечер больной забылся, и все, кто при нем были, один по другому из душевной горницы вышли. Только что забрезжило, Федор Меркулыч проснулся и встал с постели, как встрепанный. Огляделся, видит: перед налоем, растянувшись на полу, вся в поту спит мертвым сном канонница... Душно, жажда мучит старика. Обул Федор Меркулыч ичеги¹⁰⁶, накиннул на плечи легонький халат и вышел тихонько в сад прохладиться.

А в те поры «хмелевые ночки» стояли – по людям ходил веселый Яр и сладким размычивым дыханьем палил в них кровь молодую. Разутешенная мужниной духовной, Прасковья Ильинишна тихонько прошла в вишенье с милым дружкой повидаться. Радостно было свиданье, веселы речи про то, как заживут они теперь в любви и довольстве. Шепотом беседу вели, но старый подслушал. Кол под руку попался, и дал он волю ярости и гневу. Приказчик через забор, а Прасковья Ильинишна с разбитой головой едва доползла до горницы. Дня через два в пышных хоромех Меркулова гроб стоял...

Схоронив жену и заявив дело о внезапной ее смерти, Федор Меркулыч сам захворал уж не в шутку. Чувствуя близость смерти, велел он к сыну писать, ехал бы как можно скорей закрывать глаза родителю. Никита Федорыч поездкой поспешил, но отца в живых не застал. Каждый уголок в родительском доме, каждый стол, каждый стул напоминал ему горькую жизнь: каж-

¹⁰⁶ Сафьянные спальные сапоги татарской работы.

додневные обиды мачехи да суровые речи отца. В городе никого он не знал, для всех тамошних был чужим человеком... Справляя поминки, сзывал все старообрядство, но по сердцу никому не пришелся. Тараторили с досадой матушки да бабушки молодых невест: «По всему бы жених хорош – и пригож, и умен, и богат, да в вере не тверд: ходит по-модному, проклятый табачище курит, в посты дерзает на скоромное и даже водит дружбу с колонистами, значит, сообщается со еретики». Пытались старики молодого человека усовещивать, но он на их уговоры только улыбался. И промчалась про Никиту Федорыча по всему поволжскому старообрядству молва недобрая: совсем-де погиб человек.

Не знававший ласки материнской, Никита Федорыч и в Петербурге не знал женского общества. Принятый с лаской, с участием и бескорыстной родственной любовью у Дорониных, он почувствовал, что нашел то, чего не знал, но чего давно искала душа его. Все семейство Зиновья Алексеича, особенно мать с дочерьми, произвели на него какое-то таинственное обаяние, и того отрадного чувства, что испытывал он, находясь в их кругу, он не променял бы теперь ни на что на свете... Каждый день бывая у Дорониных и каждый раз вынося из дома их чувство чистоты, добра и свежести, сознавал он, что и сам делается лучше и добрее. Татьяна Андревна на первых же порах стала его понемножку журить за нетвердость в старой вере и за открытое пренебрежение дедовских обычаев. И он, только улыбавшийся на попреки саратовских стариков, тотчас послушался доброй тетушки: и посты стал держать, и при людях табак перестал курить, и одежду стал носить постепеннее.

Полюбил Никита Федорыч сестриц своих, но любовь к той и к другой была разная. Младшую любил, как брат сестру, а к Лизавете Зиновьевне с самого начала иное чувство в нем зародилось и разгоралось с каждым днем, с каждым свиданьем. С Наташей был он шутилив и весел, иной раз, бывало, как маленький мальчик с нею резвится, но с Лизаветой Зиновьевной обращался сдержанно и, как ни близок был в семействе, робел перед ней. И она тоже дичилась его, и ей как-то стыдно бывало, когда Никита Федорыч с ней заговаривал. Потом мало-помалу привыкла, и хорошенький братец не стал выходить из мыслей сестрицы. Великим постом Доронины стали домой сряжаться, а Никите Федорычу надо было в Астрахань ехать на ватаги; тут он решился намекнуть Татьяне Андревне, что Лизавета Зиновьевна крепко ему полюбилась... Тетушка ни «да», ни «нет» ему не сказала, стала с мужем советоваться. Зиновий Алексеич был не прочь от такого зятка, поусомнился только, можно ль будет их повенчать – брат ведь с сестрой. Татьяна Андревна в «Кормчую» заглянула и нашла, что браки воспрещаются только до седьмого колена; посчитали – Лиза Никитушке в восьмом приходится. Спросили ее, по мысли ль ей названой братец, – ни слова она не ответила, но, припав к материну плечу, залилась слезами. В то самое время в передней послышался голос Меркулова. Лиза отерла глаза, и лицо ее расцвело радостью, засияло счастьем.

Решили свадьбу сыграть по осени, перед Филипповками; к тому времени и жених и нареченный его тесть покончат дела, чтобы пировать на свободе да на просторе. А до тех пор был положен уговор: никому про сватовство не поминать – поменьше бы толков да пересудов было.

Перед отъездом на Низовье услышал Никита Федорыч от знакомых ему краснорядцев, что по зиме много тюленя для фабрик потребуется. Вспомнилось тут Меркулову, как иные не очень богатые люди от рыбного товара в короткое время делались миллионщиками. Тот всего судака вовремя закупил и продал его по высокой цене у Макарья, другой икру в свои руки до последнего пуда забрал и ставил потом на нее цены, какие вздумалось. Отчего ж и ему тюленя не скупить и не продать на ярманке по высокой цене. Надеясь на счастье-талан нареченной своей невесты, решился он пустить на авось весь наличный капитал, а потом весь барыш, сколько ни выручит его, подарить новобрачной жене. Осторожный в делах Зиновий Алексеич уговаривал его больше половины денег наудачу не бросать; счастье-де вольная пташка, садится только там, где захочет... Не внимал Меркулов словам нареченного тестя, но с одного слова Лизаветы Зиновьевны на все согласился.

Глава девятая

Придя от Доронина и высчитав, сколько придется получить барышей от закупки меркуловского тюленя, Марко Данилыч пошел было к Дуне, но пришел другой ранний гость, Дмитрий Петрович Веденеев. Рассчитав, что услуга, оказанная накануне этим гостем, принесет на плохой конец полсотню тысяч, Марко Данилыч стал к нему еще ласковей, еще приветливее. Явился на столе самовар, и пошло угощение дорогого гостя редкостным лянсином фу-чу-фу. Самоквасов вскоре подошел, познакомился с Веденеевым, и зачалась беседа втроем за чайничаньем.

– Ну что?.. Новенького чего нет ли на ярманке? – спросил Смолокуров у Петра Степаныча.

– Кажись, ничего особенного, – отвечал Самоквасов... – Останний караван с железом пришел, выгружают теперь на Пески. С красным товаром, надо полагать, чуть ли не покончили.

– Что больно рано? – удивился Смолокуров.

– Линия такая вышла, – молвил Самоквасов, ставя на стол допитой стакан и отирая фуляровым платком пот, обильно выступивший на лице его.

– Кто сказывал? – спрашивал Марко Данилыч.

– Про краснорядцев?.. Никто не говорил, а надо полагать, что расторговались, – сказал Самоквасов. – В семи трактирах вечор кантовали¹⁰⁷: ивановские у Барбатенка да у Веренинова, московские у Бубнова да у Ермолаева, а самые первые воротилы – у Никиты Егорова. И надо полагать, дела завершили ладно, с хорошими, должно быть, остались барышами.

– А что?

– Спрыски-то уж больно хороши были, – молвил Петр Степаныч. – До того, слышь, кантовали, что иные до извозчика четверней ехали. И шуму было достаточно – дошли до того, что хоть гору на лыки драть.

– Барыши, значит, – сказал Марко Данилыч. – А вот у нас с Дмитрием Петровичем рыбеке до сей поры с баржей сойти не охота. Ни цен, ни дел – хоть что хошь делай.

– Наше дело, Марко Данилыч, еще не опоздано, – заметил Веденеев. – Оно всегда под самый конец ярманки решается. Не нами началось, не нами и кончится.

– Да так-то оно так, – промолвил Смолокуров. – Однако уж пора бы и начинать помаленьку, а у нас и разговоров про цены еще не было. Сами видели вчерась, какой толк вышел... Особливо этот бык круторогий Онисим Самойлыч... Чем бы в согласие вступать, он уж со своими подвохами. Да уж и одурачили же вы его!.. Долго не забудет. А ништо!.. Не чванься, через меру не важничай!.. На что это похоже?.. Приступу к человеку не стало, ровно воевода какой – курице не тетка, свинье не сестра!

– А вы погодите, – слегка усмехнулся Веденеев. – Орошин не из таковских, чтоб обиды спускать. Помяните мое слово, что ярманка еще не покончится, а он удерет какую-нибудь штуку.

– Бог не выдаст – свинья не съест, – равнодушно промолвил Марко Данилыч. – А у вас, Дмитрий Петрович, разве есть с ним дела либо расчеты какие?

– Слава Богу, никаких нет, – ответил Веденеев.

– Так вам и опасаться нечего, – сказал Марко Данилыч.

– Я не про себя, про всех говорю, – молвил Дмитрий Петрович.

– Ну, со всеми-то ему не справиться! – возразил Смолокуров. – Хоть шея у него и толста, а сўпротив обчества не бойсь и она сломится.

¹⁰⁷ **Кантовать** – весело пировать на каких-нибудь радостях.

– Да, – сказал Веденеев, – сломился бы, ежели б промеж нас мир да совет были, ежели бы у нас все сообща дела-то делали. А то что у нас?.. Какое согласие?.. Только и норовят, чтобы врозь да поперек, да нельзя ли другу-приятелю ножку подставить...

– Ну, уж будто и все? – слегка поморщась, промолвил Марко Данилыч.

– Конечно, не все, – ответил Веденеев. – А и то сказать, всяк до поры только до времени. Вот хоть Сусалина взять Степана Федорыча. Вечор, как ушел из трактира Орошин, ведь больше всех над ним издевался, да про дела все рассказывал. А сегодня захожу я порану в рыбный трактир, калоши вечор позабыл – глядь, а Степан Федорыч в уголку с Орошиным чаи распивают, шепчутся – по всему видно, что какое-то дело затевают. Народу-то в трактире никого еще не было, так буфетчик сказывал, что они на безлюдье счета потребовали и долго считали да костями стучали, а говорили все шепотом.

– Мудреного нет, – заметил Смолокуров. – У Орошина сусалинских векселей довольно...

– То-то и есть, Марко Данилыч, – молвил Веденеев. – Векселя!.. И поди ведь, чай, скупленные?

– Пожалуй что и скупленные, – барабана по столу пальцами, сказал Марко Данилыч.

– И на другого, и на третьего рыбника, пожалуй, таких векселей немало у Онисима Самойлыча, – продолжал Веденеев. – А его векселей ни у кого нет. Оттого у него и сила, оттого по рыбной части он и воротит, как в голову ему забредет.

– Нельзя же без векселей, – нахмурясь, промолвил Марко Данилыч. – На векселях вся коммерция зиждется... Как без векселей?.. В чужих краях, сказывают, у немцев, аль у других там каких народов, вся торговля, слышь, на векселях идет.

– Это так, – согласился Веденеев, – зато там по векселям-то совсем другие порядки, чем у нас... У нас бы только скупить побольше чьих-нибудь векселей да прижать голубчика, чтоб пикнуть не смел. А по банкам так любят у нас бронзовыми орудовать.

– Какими это бронзовыми? – спросил у Веденева Петр Степаныч, удаленный дядей от торговых дел и потому не имевший никакого понятия о кредите.

– А вот, к примеру сказать, уговорились бы мы с вами тысяч по двадцати даром получить, – стал говорить Веденеев. – У меня наличных полтины нет, а товару всего на какую-нибудь тысячу, у вас то же. Вот и пишем мы друг на дружку векселя, каждый тысяч по двадцати, а не то и больше. И ежели в банках по знакомству с директорами имеем мы доверие, так вы под мой вексель деньги получаете, а я под ваш. Вот у нас с вами гроша не было, а вдруг стало по двадцати тысяч.

– Да ведь это, по-моему, просто надувательство, – молвил удивленный Самоквасов. – На что же это похоже?.. Как же это так?.. Вдруг у меня нет ни копейки – и я двадцать тысяч ни за что ни про что получаю?.. Да это ни с чем не сообразно... Ну, а как сроки выйдут?

– Заплáтите, – сказал Веденеев.

– А ежели нечем?

– Несостоятельным объявитесь, – с усмешкой молвил Дмитрий Петрович. – Только на этот конец надобно не на двадцать тысяч, а сколь можно побольше и в банках, и у купцов окредитоваться. Потом все как по маслу пойдет – администрация там али конкурс... Хорошее-то платьице припрячьте тогда подальше, дерюжку наденьте, ходите пешочком, на нищету встречному и поперечному жалуйтесь, иной раз на многолюдстве не мешает и Христа ради на пропитание у кого-нибудь попросить... Конечно, ваш дом, движимость, которая на виду осталась, продадут, банки да кредиторы по сколько-нибудь копеек за рубль получают... А как только кончилось ваше дело, припрятанный-то капитал при вас, а долгу ни копейки. Опять пускайтесь тогда в коммерцию и опять лет через пяток бронзовых векселей побольше надавайте... Разика три обанкрутитесь, непременно будете в миллионе.

Только плечами пожал Петр Степаныч, а Марко Данилыч, сильно нахмурившись, молвил:

– На то кредит... Без кредиту шагу нельзя ступить, на нем вся коммерция зиждется... Деньги что? Деньги что вода в плесу – один год мелко, а в другой дна не достанешь, омут. Как вода с места на место переливается, так и деньги – на то коммерция! Конечно, тут самое главное дело: «не зевай»... Умей, значит, работать, умей и концы хоронить.

– Пословица-то, Марко Данилыч, кажется, не так говорится, – прищурился один глаз, заметил Веденеев.

– Как же, по-вашему? – спросил Смолокуров.

– Умей воровать, умей и концы хоронить, – сказал Дмитрий Петрович.

– Молоденьки еще, сударь, про такие важнейшие, можно сказать, дела таким родом толковать, – насупившись, кинул сердитое слово Марко Данилыч и даже в сторону отворотился от дорогого гостя.

– А какой я вам смех расскажу, Марко Данилыч, – вступился Самоквасов, заметив, что и у нового его знакомого брови тоже понахмурились: долго ль до греха, свары бы не вышло.

– Что такое? – сухо спросил Смолокуров.

– У Сергея Филиппыча у Орехова, слышали, я думаю, баржа с рыбой под Чебоксарами затонула, – начал рассказывать Петр Степаныч. – И рвет, и мечет, подступиться к нему невозможно, ко всякому придирается, шумит, что голик, и кто ему на глаза ни попал, всякого ругает на чем свет стоит.

– Заругаешься, как баржа с товаром затонет... Не орехов горстка, – сумрачно молвил Марко Данилыч.

– Я не про то, слушайте, какой смех-от из этого вышел, – перебил Самоквасов. – Матушку Таифу знаете?

– Какую там еще Таифу? – спросил Смолокуров.

– Комаровскую. Казначей у матери Манефы, – отвечал Самоквасов. – В Петров день, как мы с вами там гостили, ее дома не было, в Питер, слышь, ездила.

– Ну, знаю, – молвил Марко Данилыч. – Только смеху-то покамест не вижу.

– Зашел я намерен в лавку к Панкову, к Ермолаю Васильичу, из Саратова, может, тоже знаете, – продолжал Петр Степаныч, – приятель мой у него в приказчиках служит. Наверх в палатку прошли мы с ним, а там Орехов сидит да изо всей мочи ругается. Мы ничего, слушаем, никакого супротивного слова не говорим, пусть его тешится. Вдруг шаст в палатку мать Таифа со сборной книжкой. Не успела она начал положить, не успела Ермолаю Васильичу поклониться, как вскинется на нее Сергей Филиппыч да с кулаками. «Вы, – кричит изо всей мочи, – какой ради причины Бога-то плохо молили?.. Ах вы, чернохвостницы этакие!.. Деньги берете, а Богу молитесь кое-как!.. Я вам задам!..» Мать Таифа кланяется ему чуть не в землю, а он пуще да пуще. «Летось, – кричит, – пятьдесят целковых вам пожаловал, и вы молились тогда как следует: на судаке я тогда по полтине с пуда взял барыша... Сто рублей тебе, чернохвостнице, дал, честью просил, чтоб и на нынешний год побольше барыша вымолили... А вы, раздуй вас горой, что сделали? Целая баржа ведь у меня с судаком затонула!.. Разве этак молятся?.. А?.. Даром деньги хотите брать?.. Так нет, шалишь, чернохвостница, шалишь, анафемская твоя душа!.. Подавай назад сто рублей!.. Подавай, не то к губернатору пойду!» Мы так и покатались со смеху.

– Чему же смеяться-то тут? – холодно промолвил Марко Данилыч. – Не лиха беда от такого несчастья и совсем с ума своротить... Шутка сказать, целая баржа судака!.. На плохой конец, двадцать тысяч убытку.

– Да матери тут при чем же? – спросил Самоквасов. – Они-то чем виноваты?.. Неужто в самом деле ореховский судак оттого затонул, что в Комарове плохо молились?

– Значит, веру в силу молитвы имеет, – молвил Марко Данилыч. – Сказано: по вере вашей будет вам. Вот ему и досадно теперича на матерей. Что ж тут такого?.. До кого ни доведись!.. Над кем-нибудь надо же сердце сорвать!

– Чем же у них кончилось? – спросил во все время самоквасовского рассказа насмешливо улыбающийся Веденеев.

– Насилу ноги унесла мать Таифа, – ответил Петр Степаныч. – Так с кулаками и лезет на нее. Маленько бы еще, искровенил бы, кажется.

– После того нагнал я Таифу, – после недолгого молчанья продолжал Самоквасов, обращаясь к Марку Данилычу. – Про знакомых расспрашивал. Матушка Манефа домов в ихнем городке накупила – переселяться туда желает.

– Да, ихнее дело, говорят, плоховато, – сказал Смолокуров. – Намедни у меня была речь про скиты с самыми вернейшими людьми. Сказывают, не устоять им ни в каком разе, беспременно, слышь, все порешат и всех черниц и белиц по разным местам разошлют. Супротив такого решенья никакими, слышь, тысячами не откупишься. Жаль старух!.. Хоть бы дожить-то дали им на старых местах...

Опять немножко помолчали. Петр Степаныч с видом сожаленья сказал:

– В большом горе матушка-то Манефа теперь, Таифа говорит, не знают, перенесет ли даже его...

– Легко ль перенести такое горе, особенно такой немощной старице, – с участием отзывался Марко Данилыч. – С самых молодых лет жила себе на едином месте в спокойстве, в довольстве, и вдруг нежданно-негаданно, ровно громом, над ней беда разразилась... Ступай долой с насиженного места! Ломай дома, рушь часовню, все хозяйство решай, все заведение, что долгими годами и многими трудами накоплено!.. С кем век изжила, те по сторонам расходись, живи с ними врозь и наперед знай, что в здешнем свете ни с кем из них не увидишься!.. Горько, куда как горько старице!

– Не в том ее горе, Марко Данилыч, – сказал на то Петр Степаныч. – К выгонке из скитов мать Манефа давно приготовилась, задолго она знала, что этой беды им не избыть. И дома для того в городе приторговала, и, ежели не забыли, она тогда в Петров-от день, как мы у нее гостили, на ихнем соборе других игумений и стариц соглашала, чтоб заранее к выгонке готовились... Нет, это хоть и горе ей, да горе жданное, ведомое, напредки знакомое. А вот как нежданная-то беда приключилась, так ей стало не в пример горчее.

– Что ж такое случилось? – спросил Марко Данилыч.

– Племянницу-то ее помните? Патапа Максимыча дочку? Жирная такая да сонливая... Когда мы у Манефы с вами гостили, она тоже с отцом там была.

– Как не помнить? – ответил Марко Данилыч. – Давно знаю ее, с Дуней вместе обучались.

– Замуж вышла, – молвил Петр Степаныч.

И так он сказал это слово, как будто сегодня только узнал про им же состряпанное дельце.

– Какое же тут горе Манефе?.. – удивился Марко Данилыч. – Не в черницы же она ее к себе прочила.

– Прочить в черницы, точно, не прочила, – сказал Петр Степаныч. – Я ведь каждый год в Комарове бываю, случалось там недели по три, по четыре живать, оттого ихнюю жизнь и знаю всю до тонкости. Да ежели б матушке Манефе и захотелось иночество надеть на племянницу, не посмела бы. Патап-от Максимыч не пожалел бы сестры по плоти, весь бы Комаров вверх дном повернул.

– Так чего же ради горевать матушке, что племянницу замуж выдали? – спросил Марко Данилыч.

– В том-то и дело, что ее не выдавали... Уходом!.. Умчали!.. А умчали-то из Манефиной обители.

Говорит, а сам хоть бы мигнул лишний разок, точно не его дело.

– Ай-ай-ай!.. Как же это не доглядела матушка!.. У нее завсегда такой строгой порядок ведется. Как же это она такого маху дала?.. – качая головой, говорил Марко Данилыч.

– Самой-то не было дома, в Шарпан соборовать ездила. Выкрали без нее... – ответил Самоквасов. – И теперь за какой срам стало матушке Манефе, что из ее обители девица замуж сбежала, да еще и венчалась-то в великороссийской! Со стыда да с горя слегла даже, заверяет Таифа.

– Вот, чать, взбеленился Чапурин-от!.. – сказал Марко Данилыч.

– Радехонек. Такие, слышь, пиры задавал на радостях, что чудо. По мысли зять-то пришелся, – отвечал Петр Степаныч.

– Да кто таков? – с любопытством спросил Смолокуров.

– Знакомый вам человек, – ответил Самоквасов. – Помните, тогда у матушки Манефы начетчик был из Москвы, с Рогожского на Керженец присылали его по какому-то архиерейскому делу.

– «Искушение»-то? – весело спросил Марко Данилыч.

– Он самый!..

– Ха-ха-ха-ха! – на всю квартиру расхохотался Смолокуров. – Да что ж это вы с нами делаете, Петр Степаныч? Обещали смех рассказать да с полчаса мучили, пока не сказали... Нарочно, что ли, на кончик его сберегли! А нечего сказать, утешили!.. Как же теперь «Искушение»-то? Как он к своему архиерею с молодой-то женой глаза покажет... В диакониссы, что ли, ее?.. Ах он, шут полосатый!.. Штуку-то какую выкинул!.. Дарья Сергевна! Дунюшка! Подъетка сюда – одолжу! Угораздило же его!.. Ха-ха-ха!..

Вошла Дарья Сергевна с Дуней. Марко Данилыч рассказывал им про женитьбу Василия Борисыча. Но незаметно было сочувствия к его смеху ни в Дарье Сергевне, ни в Дуне. Дарья Сергевна Василия Борисыча не знала, не видывала, даже никогда про него не слыхала. Ей только жалко было Манефу, что такой срам у нее в обители случился. Дуня тоже не смеялась... Увидев Петра Степаныча, она вспыхнула вся, потупила глазки, а потом, видно, понадобилось ей что-то, и она быстро ушла в свою горницу.

На прощанье с гостями Марко Данилыч, весело улыбаясь, сказал Самоквасову:

– А что же, Петр Степаныч, как у нас будет насчет гулянок? Больно хочется мне Дунюшку повеселить да кстати и Зиновья Алексеича дочек... Помнится, какой-то добрый человек похлопотать насчет этого вызвался...

– В театр имели сегодня намерение? – весело отвечал обрадованный Самоквасов. – Я сим же моментом за билетами.

– Нет, Петр Степаныч, насчет театра надо будет маленечко обождать, – сказал Марко Данилыч. – Вечор советовались мы об этом с Зиновьем Алексеичем и с Татьяной Андревной – положили оставить до розговенья... Успенье-то всего через неделю. Все-таки, знаете, лучше будет, ладнее. Нынешний-от пост большой ведь, наряду с Великим поставлен, все одно, что первая да Страстная. Грешить, так уж грешить в мясоед... Все-таки меньше ответу будет на том свете. – И, обращаясь к Веденееву, примолвил: – Правду аль нет говорю я, Дмитрий Петрович?

– Оно каждому как по его рассуждению, – уклончиво ответил Дмитрий Петрович. – Впрочем, и то сказать, театр не убежит, побывать в нем завсегда будет можно.

– Мы вот что сделаем, – сказал Марко Данилыч. – До розговенья по Оке да по Волге станем кататься. У меня же косные теперь даром в караване стоят.

– И распрекрасное дело, – кудрями тряхнув, весело молвил и даже пальцами прищелкнул удалой Петр Степаныч. – Когда же?

– Да хоть сегодня же, только что жар свалит, – сказал Смолокуров. – Сейчас пошлю, сготовили бы косную, а мало – так две.

– Записочку-с! – протягивая руку, молвил Петр Степаныч Марку Данилычу.

– Какую?

– К караванному к вашему – отпустил бы косных, сколько мне понадобится. Остальное наше дело. Об остальном просим покорно не беспокоиться. Красны рубахи да шляпы с лентами есть?

– Есть на двенадцать гребцов, – отвечал Марко Данилыч.

– А павлиньи перушки тоже водятся? – спросил Петр Степаныч.

– Перушки у нас не водятся, – сказал Марко Данилыч.

– Слушаем-с, – отозвался Самоквасов. – Все будет в должной исправности-с.

– Быть делу так, – молвил Марко Данилыч, отходя к столу, где лежали разные бумаги, конторские книги и перья с чернильницей.

Написав записку Василью Фадееву, Марко Данилыч отдал ее Самоквасову и примолвил:

– Ваше дело, сударь, молодое. А у молодого в руках все спорится да яглится¹⁰⁸, не то, что у нас, стариков. Похлопочите, сударь Петр Степаныч, пожалуйста, оченно останемся вами благодарны и я, и Зиновий Алексеич. Часика бы в три собрались мы на Гребновской, да и махнули бы оттол куда вздумается – по Волге, так по Волге, по Оке, так по Оке... А на воде уж будьте вы нашим капитаном. Как капитан на пароходе, так и вы у нас на косной будете... Из вашей воли, значит, не должен никто выступать... Идет, что ли, Петр Степаныч? – примолвил Смолокуров, дружелюбно протягивая руку Самоквасову.

– Принимаем-с, – с веселой усмешкой ответил Петр Степаныч. – Значит, из моей воли никто не смей выходить. Это оченно прекрасно!.. Что кому велю, тот, значит, то и делай.

– Да ты этак, пожалуй, всех перетопишь! – засмеялся Марко Данилыч. – «Полезай, мол, все в воду»... Нечего тут будет делать! Поневоле полезешь!

– Безумных приказов от нас, Марко Данилыч, не ждите. Насчет этого извольте оставаться спокойны. А куда ехать и где кататься, это, с вашего позволения, дело не ваше... Тут уж мне поперечить никто не мог.

– Только послушай его, – трепля по плечу Петра Степаныча, ласково молвил Марко Данилыч. – А вы, Дмитрий Петрович, пожалуйте к нам за компанию? Милости просим.

Веденеев благодарил Марка Данилыча и напросился, чтоб и ему было дозволено сообщать с Петром Степанычем устраивать гулянье и быть на косной, если не капитаном, так хоть каше-варом.

– Что ж, вы нам кашу варить будете? – шутливо спросил у него Марко Данилыч.

– Кашу ли, другое ли что, это уж мне предоставьте, – улыбаясь, ответил Дмитрий Петрович.

– Кашу-то вместе сварим, – сказал Самоквасов. – Засим счастливо оставаться, – примолвил он, обращаясь к Смолокурову. – Часика в три этак, значит, припожалуете?

– Ладно, ладно, – говорил Марко Данилыч. – Эх, молодость, молодость!.. Так и закипела... Глядя на вас, други, и свою молодость вспомнешь... Спасибо вам, голубчики!

Расстались, и Самоквасов с Веденеевым поехали прямо на Гребновскую.

¹⁰⁸ **Яглиться** – поволжское слово, употребляемое от Нижнего до Астрахани, значит – двигаться, шевелиться, сгибаться, а говоря о деле каком – спориться, ладиться, клеиться.

Глава десятая

Солнце стояло еще высоко, когда разубранная, разукрашенная косная отвалила от пристани. Впереди лодки, на носу, сидят восемь ловких, умелых гребцов в красных кумачовых рубахах и в поярковых шляпах с подхватцем, убранных лентами и павлиньими перьями. Все удосужили Самоквасов с Веденеевым. Дружно и мерно сильные руки гребцов рассекают длинными веслами воду, и легкая косная быстро летит мимо стай коломенок и гусянок¹⁰⁹, что стоят на якоре вдоль берегов. С гребцами шесть человек песенников; взял их Самоквасов на вечер из московского хора, певшего в одном из лучших трактиров. Все певцы одеты одинаково, в голубые канаусовые рубахи-косоворотки, обшитые серебряным позументом, все в шляпах кашениках, перевитых цветочными кутасами!¹¹⁰ Среди косной, вплоть до самой кормы, стоит на железных прутьях парусный намет¹¹¹ для защиты от солнца, а днище лодки устлано взятыми напрокат у кавказского армянина персидскими коврами; на скамьи, что ставлены вдоль бортов, положены мягкие матрацы, крытые красным таганским сукном¹¹² с золотым позументом. Таково красно разубрал Петр Степаныч косную с помощью нового своего знакомого Веденева.

Еще до отвала, когда гости подъехали к пристани, Марко Данилыч не узнал косной. С довольным, веселым видом тотчас он стал журить молодых людей:

– Что это вы вздумали? Это на что? Эх, грозы-то на вас нет! Как вам это не стыдно, Петр Степаныч, в такой изъязь входить? Не могли разве мы покататься в простой косной? Гляди-кась чего тут понаделали!.. Ах, господа, господа! Бить-то вас некому!

Сиял радостью Петр Степаныч, слушая попреки смолокуровские и по лицу замечая, что Дуне нравится разубранная на славу косная.

– Уговор помните, Марко Данилыч? – молвил Самоквасов.

– Какой еще уговор?

– А ведь я говорил вам, чтобы мне никто не мешал и ни в чем бы со мною не спорил... Забыли?

– Да могло ль прийти в голову, что вы эдак деньгами швырять станете? Ведь за все за это на плохой конец ста полтора либо два надо было заплатить!.. Ежели б мы с Зиновеем Алексеем знали это наперед, неужто бы согласились ехать с вами кататься?

– Поздно теперь рассуждать, – молвил Петр Степаныч. – Милости просим в косную.

Расселись по скамьям: Марко Данилыч с Дуней, Доронин с женой и обеими дочерьми. Петр Степаныч последний в лодку вошел и, отстранив рукой кормщика, молодецки стал у руля.

– Уговор помните, Марко Данилыч? – спросил он у Смолокурова.

– Какой еще?

– А давеча, вот при Дмитрие Петровиче говорили, чтоб мне на косной быть за капитана и слушаться меня во всем.

– Ну так что же?

– Нет, я это так только сказал... К слову, значит, пришлось... – молвил Петр Степаныч и молодецки крикнул:

– Эй вы, гребцы-молодцы! Чур не зевать!.. – И, повернув рулем, стал отваливать.

Косная слегка покачнулась и двинулась.

¹⁰⁹ **Коломенка** – барка от пятнадцати до двадцати сажен длины, поднимает от семи до двенадцати тысяч пудов груза. **Гусанка** – крытая барка с четвероугольною палубой, свешенною к корме и к носу (не как у тихвинки или шитика, у тех палубы округлые), в длину бывает до двадцати сажен и грузу поднимает пудов тысяч до десяти и больше.

¹¹⁰ **Цветочный кутас** – гирлянда из цветов, плетеница, длинный венок.

¹¹¹ Тент.

¹¹² Цветочные сукна, выделяемые на фабрике Понятовского при селе Таганче (Каневского уезда Киевской губернии), известны в ярманочной торговле под именем **таганских**.

– Права гребни, лева табань!¹¹³ – громким голосом крикнул Петр Степаныч, по его веле-
нию гребцы заработали, и косная, проплыв между тесно расставленными судами, выплыла на
вольную воду¹¹⁴.

– Молись Богу, православные! – снимая шапку, крикнул Петр Степаныч.

Разом гребцы поставили двенадцать весел торчком к небу и, сняв шляпы, но не вставая со
скамей, принялись креститься. И другие бывшие в косной обнажили головы и сидя крестились.

– Дай Бог добрый час! – молвил Марко Данилыч, кончив молитву.

– Весла! Оба гребни! Дружнее, ребята, дружей! – кричал Самоквасов.

Быстро косная вылетела на стрежень¹¹⁵ и понеслась вверх по реке. Высятся слева крутые,
высокие горы красноватой опоки, на венце их слышатся барабаны, виднеются кучки солдат.
Там лагерь – ученье идет... Под горой пышет парами и кидает кверху черные клубы дыма
паровая мукомольня, за ней версты на полторы вдоль по подолу тянется длинный ряд высоких
деревянных соляных амбаров, дальше пошла гора, густо поросшая орешником, мелким берез-
ником и кочерявым¹¹⁶ дубняком. Направо, вдоль лугового берега, тянутся длинные подгород-
ные слободы, чуть не сплошь слившиеся в одну населенную местность. Красиво и затейливо
они обстроены – дома все большие, двухъярусные, с раскрашенными ставнями, со светелками
наверху, с балкончиками перед ними. Чуть не у каждого дома на воротах либо на балкончике
стоит раскрашенная маленькая расшива, изредка пароходик. Из слобод и со всего левого берега
несется нескончаемый, нестройный людской гомон¹¹⁷, слышится скрип телег, ржанье лошадей,
блеянье пригнанных на убой баранов, тяжелые удары кузнечных молотов, кующих гвоздь и
скобы в артельных шиповках¹¹⁸, звонкий лязг перевозимого на роспусках¹¹⁹ к стальным заво-
дам полосового железа, веселые крики и всплески купальщиков, отдаленные свистки парохо-
дов. Все сливается в один, никаким словом не выразимый поток разнородных звуков.

Летит косная, а на ближних и дальних судах перекликаются развалившиеся на палубах
под солнпеком бурлаки, издали доносятся то заунывные звуки родимой песни, то удалой
камаринский наигрыш¹²⁰ вторной Сизовской гармоник^[3]. Всюду ключом кипит жизнь про-
мышленная, и на воде, и на суше. А там, дальше, вверх по реке, друг за дружкой медленно,
зато споро, двигаются кладнушки с покатыми шире бортов палубами, плоскодонные уемистые
дощаники¹²¹, крытые округлою палубой шитики, на ходу легче тех судов нет никакой посу-
дины¹²². Тянутся суденышки не как по Волге – там их тянут бурлаки, здесь лошади тащат реч-
ные суда. Идут себе шажком по бечевнику крепкие, доброезжие обвенки¹²³ и тянут судно сна-
стью, привязанною к дереву¹²⁴. На Волге сделать того невозможно – таковы у ней берега.

¹¹³ **Табанить, таванить**, нередко **таланить** – грести веслом назад. Гребля с одного бока вперед, а с другого назад, упо-
требляется при заворотах лодки.

¹¹⁴ На которой нет ни судов, ни лодок.

¹¹⁵ Фарватер.

¹¹⁶ **Кочерявый, коряжистый** – суковатый, кривоствольный кустарник. Кочерявый дуб вырастает от корней срубленного,
но не выкорчеванного (вырытого с корнем) леса. Он годится только на дрова.

¹¹⁷ **Гомон** – громкий, нестройный шум от множества человеческих голосов, в котором за отдаленностью или сильным
криком нельзя распознать ни единого слова.

¹¹⁸ В так называемых **шиповках** куют гвозди и скобы для судов. Работа большей частью артельная. У каждого наковальня
и железо свои, а уголь общий.

¹¹⁹ **Роспуски** – станок, дроги для перевозки клади.

¹²⁰ **Наигрыш** – старинное слово, в киевских былинах употребляемое, – голос песни, напев.

¹²¹ **Кладнушка** – небольшое плоскодонное судно длиной сажень в шесть. **Дощаник** – с палубой не над всем судном, а
только над серединой – гребное, а в случае благоприятной погоды и парусное. **Шитик** – мелкое судно, крытое округлою
палубой. Шитик и дощаник поднимают до тысячи пудов груза. Кладнушка – тысяч до двух.

¹²² **Посуда, посудина** – всякое парусное судно на Волге, кроме лодок.

¹²³ **Обвенки** – крепкие малорослые лошади, первоначально разведенные на реке Обве (Пермской губернии) Петром Вели-
ким. Их также называют вятками.

¹²⁴ **Дерево** – мачта на судне; **снасть** – не очень толстый канат.

Несется косная по тихому лону широкой реки, вода что зеркало, только и струится за рулем, только и пенится что веслами. Стих городской и ярманочный шум, настала тишь, в свежем прохладном воздухе не колыхнет. Петр Степаныч передал руль кормщику и перешел к носу лодки. Шепнул что-то песенникам, и тотчас залился переливчатыми, как бы дрожащими звуками кларнет, к нему пристал высокий тенор запевалы, песенники подхватили, и над широкой рекой раздалась громкая песня:

Уж вы, горы ль мои, горы, круты горы да высокие,
Ничего-то на вас, горы, не повывросло;
Вырастал на вас один только ракитов куст,
Расцветал на вас один только лазорев цвет.
Как на том ли на кусту млад сизой орел сидит,
Во когтях держит орел черна ворона.
Он и бить его не бьет, только спрашивает:
«Где ты, ворон, побывал, что ты, черный, повидал?»
– А я был побывал во саратовских степях,
А я видел-повидал чудо дивное...
Растет тамо не ракитов куст,
Цветет тамо не лазорев цвет,
Как растет ли порастает там ковыль-трава,
А на той ковыль-траве...

– Шабаш! – крикнул Самоквасов. Не хотел он, чтоб песенники продолжали старинную песню про то, как на лежавшее в степи тело белое прилетали три пташечки: родна матушка, сестра да молода вдова. Пушай, мол, подумает Авдотья Марковна, что про иное диво чудное в песне пелось – пушай догадается да про себя хоть маленько подумает.

– Что не дал допеть? – спросил у Самоквасова Марко Данилыч. – Песня годная.

– Очень заунывна, – молвил Петр Степаныч. – Катай, ребята, веселую!.. – крикнул он песенникам.

Залилась веселая песня:

Ах ты, бражка, ты, бражка моя!
Дорога бражка подсыченная!
Что на речке ль бражку смачивали,
На полатах рассолаживали,
Да на эту ль бражку нету питухов,
Нет удалых добрых молодцев у нас.

И под песенку о бражке Петр Степаныч с Веденеевым из серебряной раззолоченной братины пошли разливать по стаканам «волжский квасок». Так зовется на Волге питье из замороженного шампанского с соком персиков, абрикосов и ананасов.

Стали гостей «кваском» обносить. Марко Данилыч с Зиновьем Алексеичем опять стали журить молодых людей:

– Бога не боитесь вы, что вздумали! Сами, что ль, деньги-то делаете, аль они к вам с неба валятся!.. Бешабашные вы, безумные!

Однако взяли по стаканчику и с удовольствием выпили во славу Божию, потом повторили и еще повторили.

Вышло так, что, обойдя старших, в одну и ту же минуту Петр Степаныч поднес стакан Дуне Смолокуровой, а Дмитрий Петрович – Наталье Зиновьевне. Палючими глазами глядят оба на красавиц.

Багрецом белоснежное нежное личико Дуни подернулось, когда вскинула она глазами на пышущего здоровьем, отвагой и весельем, опершись в бок левой рукой стоявшего перед ней со стаканом Самоквасова. Хочет что-то сказать и не может.

– Пожалуйте-с! – говорит ей Петр Степаныч. – Сделайте такое ваше одолжение!

А сам ног под собой не слышит. Так бы вот и кинулся, так бы и расцеловал пурпуровые губки, нежные ланиты, сверкающие чудным блеском глаза.

Молчит Дуня. Сгорела вся.

– Не задерживайте-с... Покорно прошу! – шепчет, наклонясь к ней, Петр Степаныч.

У Дуни слеза даже навернулась. Не знает, куда ей деваться.

– Что ж ты, Дунюшка, не берешь? – весело молвил ей Марко Данилыч. – Возьми, голубка, не чинись, с этого питья не охмелеешь. Возьми стаканчик, не задерживай капитана. Он ведь теперь над нами человек властный. Что прикажет, то и делай – на то он и капитан.

Дрожащей рукой взялась Дуня за стакан и чуть не расплескала его. Едва переводя от волнения дух, опустила она подернутые непрошеной слезою глаза.

Дорониных Дмитрий Петрович прежде не знал: впервые увидел их на пристани. Когда рассаживались в косной по скамьям, досталось ему место прямо против Наташи... Взглянул и не смог отвести очей от ее красоты. Много красавиц видал до того, но ни в одной, казалось ему теперь, и тени не было той прелести, что пышно сияла в лучезарных очах и во всем милом образе девушки... Не видел он величавого нагорного берега, не любовался яркими цветными переливами вечернего неба, не глядел на дивную игру солнечных лучей на желтоватом лоне широкой, многоводной реки... И величие неба, и прелесть водной равнины, и всю земную красу затмила в его глазах краса девичья!.. Облокотясь о борт и чуть-чуть склонясь стройным станом, Наташа до локтя обнажила белоснежную руку, опустила ее в воду и с детской простотой, улыбаясь, любовалась на струйки, что игриво змеились вокруг ее бледно-розовой ладони. Слегка со скамьи приподнявшись, Веденеев хочет взглянуть, что там за бортом она затевает... Наташа заметила его движение и с светлой улыбкой так на него посмотрела, что ему показалось, будто небо раскрылось и стали видимы красоты горного рая... Хочет что-то сказать ей, вымолвить слова не может... Тут подозвал его Самоквасов на подмогу себе разливать по стаканам волжский квасок... Подавая Наташе стакан, Веденеев опять-таки слов доискаться не мог, придумать, что бы такое ей молвить. Горячею кровью обливается и сладостно трепещет его сердце... Когда же, принимая стакан, Наташа с младенческой улыбкой бросила на него ясный, приветливый взор, тихо сиявший чистотой непорочной души, Веденеев совсем обомлел... А слов все-таки придумать не может... Сам на себя не может надивиться – смел и игрив он в последнее время среди женщин бывал, так и сыпал перед ними речами любезными, веселил их шутками и затейными разговорами, а теперь же слова промолвить не может. Какая-то застенчивость крепко связала язык... Не укрылось это от «капитана». Подошел он к запевале, шепнул ему что-то и отошел к корме. Запевало, в свою очередь, пошептался с песенниками и, глядя на Самоквасова, ждал.

– Гей!.. Певцы-молодцы!.. Развеселенькую!.. – крикнул Петр Степаныч.

Грянула живая, бойкая песня:

Здравствуй, светик мой Наташа,
Здравствуй, ягодка моя!
Я принес тебе подарок,
Подарочек дорогой.
Подарочек дорогой:

С руки перстень золотой,
На белую грудь цепочку,
На шеюшку жемчужок.
Ты гори, гори, цепочка,
Разгорайся, жемчужок!
Ты люби меня, Наташа,
Люби, миленький дружок!

Не догадываясь, что песня поется по заказу Петра Степаныча, Веденеев еще больше смутился при первых словах ее. И украдкой не смеет взглянуть на Наталью Зиновьевну. А она, веселая, игривая, кивает сестре головкой и с детской простотой говорит:

– Лиза, ведь это моя песенка, мне поют ее.

Лизавета Зиновьевна только улыбнулась, оправив на сестре взбившийся кисейный рукав, но в ответ ничего не промолвила.

– Говорят: «Сказка – складка, а песня – быль», – усмехнулся, вслушавшись в Наташины слова, Марко Данилыч. – Пожалуй, скоро и в самом деле сбудется, про что в песне поется. Так али нет, Татьяна Андревна?..

– Все во власти Господней, – улыбаясь тихонько, проговорила ему Татьяна Андревна.

Наташа смеялась и весело на всех посматривала. А Дмитрий Петрович – хоть в воду, так впору.

Солнце все ниже и ниже, косная все дальше и дальше по темной глади речной. Медленно тускнут лучи дневного светила, полупрозрачные тени багряно-желтых облаков темно-лиловыми пятнами стелются по зеркальной водной поверхности, а высокая зеленая слуда¹²⁵ нагорного берега, отражаясь в прибрежных струях, кажется нескончаемой, ровно смоль черной, полосую. Под слудой пышут огнем и брызжут снопами рассыпчатых огненных искр высокие трубы стального завода, напротив его на луговом, таловом¹²⁶ берегу там и сям разгораются ради скудного ужина костры коноводов¹²⁷. По реке вдоль и поперек тихо, чуть слышно разъезжают в маленьких ботниках ловцы-удальцы¹²⁸, раскидывая на ночь шашковые снасти для стерляжьего лова¹²⁹. Вот по слуде желтой ленточкой вьется середь низкорослого чапыжника¹³⁰ дорожка к венцу горы, к Ровнеди, где гордо высится роща полторастолетних густолиственных дубов. Последний бедный остаток дремучих дубовых лесов, когда-то сплошь покрывавших нагорный берег Оки. От Ровнеди как бы отщепилась скала и нависла над рекой. Она тоже поросла дубами и внизу вся проточена прорытыми для ломки алебаstra пещерами. То место Островом зовется. Красив, величав вид на эти места с водной равнины Оки. Шуми, шуми, зеленая дуброва, зеленейте, дубы, предками холенные, возвращенные! Пока жив я, не коснется топор древних стволов ваших! Шуми, лес, зеленей, родная дуброва¹³¹.

На косной меж тем широкой рукой идет угощение. В ожидание привала к ближайшей ловецкой ватаге чая не пили. Подносы с мороженым, конфетами и волжским кваском Петр Степаныч и Дмитрий Петрович то и дело гостям подносили. Доволен-предоволен был Марко Данилыч, видя, как его чествуют; не ворчит больше за лишнюю трату денег... «Добрые парни, –

¹²⁵ **Слуда** – высокий, бугристый, поросший лесом берег большой реки.

¹²⁶ Поросший тальником, то есть кустарной ивой, вербой *salix amigdalina*, иначе лоза, шелюга.

¹²⁷ **Коноводами** зовутся на Оке бурлаки на судах, которые тянутся лошадьми.

¹²⁸ На Волге и в устьях Оки рыболовов зовут ловцами, а не рыбаками. **Рыбак** – это торговец рыбой.

¹²⁹ **Черная**, или **шашковая**, **снасть** – длинная веревка (**хребтина**), которую опускают на дно; к ней на веревочках прикреплены железные крючки (**кованцы**). Каждый крючок держится в воде от хребтины вверх посредством шашки (**поплавка**) из деревянной чурки, держащейся в верхних слоях воды.

¹³⁰ **Чапыжник** – частый, едва проходимый кустарник.

¹³¹ Ровнедь и Остров входят в состав владений автора.

думает он, – умны и разумны, один другого лучше». И Дуня, и судьба ее при этом забрели на мысли почтенного рыбника. «Что ж, – думает он, – дочь – чужое сокровище, расти ее, береги, учи разуму, а потом, рано ли, поздно ли, в чужи люди отдай!..»

А девицы расшутились, красные развеселились – может быть, от волжского кваску. Живое и резво заговорила с подругами молчаливая Дуня, весело смеялась, радостно щебетала нежная Наташа, всегда думчивая, мало говорливая Лизавета Зиновьевна будто забыла деннонощную заботу о тяжелой разлуке с женихом – расшутилась и она. Татьяна Андревна по-своему благодушествовала; она осыпала теплыми, задушевыми ласками Самоквасова с Веденеевым, то журила их за лишние расходы, то похваливала, что умеют старшим уважить. А Марко Данилыч с Зиновьем Алексеичем меж собой повели разговоры, пошла у них беседа про торговые дела. Об меркуловском тюлене ни полслова. То разумеет Марко Данилыч: брат братом, а святы денежки хоть в одном месте у царя деланы, а меж собой не родня. Дружба, родство – дело святое, торги да промыслы – дело иное.

И Ровнедь минули, и Щербинскую гору, что так недавно еще красовалась вековыми дубовыми рощами, попавшими под топор промышленника, либо расхищенными людом, охочим до чужого добра. Река заворотила вправо; высокий, чернеющий чапыжником нагорный берег как бы исполинской подковой огибал реку и темной полосой отражался на ее зеркальной поверхности. Солнце еще не село, но уж потонуло в тучах пыли, громадными клубами носившейся над ярманкой. В воздухе засвежело; Татьяна Андревна и девицы приукутались.

– Не назад ли? – обратился Марко Данилыч к Самоквасову.

– Я капитан, воля моя; по-мбему, рано еще ворочаться, – подхватил Петр Степаныч.

И крикнул гребцам:

– Живей, живее, ребята! Глубже весло окунай, сильней работай – платы набавлю!

Дружно гребцы приударили, косная быстрее полетела.

Марко Данилыч с Зиновьем Алексеичем продолжали беседу о торговых делах. Об векселях зашла речь.

– Ни на что стало не похоже, – говорил Смолокуров. – Векселя у тебя, а должник и ухом не ведет. Возись с ним, хлопочи по судам. Не на дело трать время, а на взысканья. А взыскивать станешь – пять копеек за рубль. А отчего? Страху не стало, страху нет никакого... Конкурсы, администрации?... Одна только повадка!.. От немцев, что ли, такую выдумку к нам занесли, только не по плечу она нам скроена да сшита... А ты вот как сделай: вышел векселю срок, разговоров не размножай, а животы продавай¹³²; не хватает, сам иди в кабалу, жену, детей закабали. Так бывало в стары годы, при благочестивых царях, при патриархах... Не то Сибирь – заселяй ее должниками, люди там нужны... А теперь что это такое? Мошенникам житье, а честному купцу только убытки... А вон зачали еще толковать, чтоб и яму порушить, должника неисправного в тюрьму бы не сажать! Да что ж после этого будет? Как липочку всех обдерут. Что ж после этого будет значить вексель? Одна пустая бумага. Так али нет говорю, Зиновей Алексеич?

– Оно, пожалуй бы, что и так, Марко Данилыч, – отозвался Доронин. – Только уж это не больно ли жестоко будет? Легко сказать, в кабалу! Да еще жен и детей!

– Уложен так царем Алексием Михайловичем, когда еще он во благочестии пребывал, благословлено святейшим Иосифом патриархом и всем освященным собором. Чего тебе еще?... Значит, святым духом кабала-то уставлена, а не заморскими выходцами, – горячился Марко Данилыч. – Читывал ли ты «Уложение» да «новоуказные статьи»? Прочитай, коли не знаешь.

– Знаю я их, Марко Данилыч, читывал тоже когда-то, – ответил Доронин. – Хорошо их знаю. Так ты и то не забудь, тогда было время, а теперь другое.

¹³² Имение.

– Что ж, по-твоему? Иосиф-то патриарх без ума, что ли, подписом своим те правила утверждал? – вспыхнув досадой на противоречие приятеля, возвысил голос Марко Данилыч. – Не грехи, Зиновей Алексеич, то памятуй, что праздное слово на страшном судище взыщется. Ведь это, прямо сказать, богохульство. Так али нет?

– Какое же тут богохульство? – с живостью возразил Зиновий Алексеич. – Год на год, век на век не подходят. Всякому времени довлеет злоба его. Тогда надо было кабалу, теперь другое дело. Тогда кабала была делом благословенным, теперь не то.

– Времена мимо идут, слово же Господне не мимо идет, – тяжело вздохнув и нахмурясь, молвил Марко Данилыч.

– Так Господнее слово, а не человеческое, – слегка улыбнувшись, заметил Зиновий Алексеич.

– А святые-то отцы на что? Каково, по-твоему, ихнее-то слово? – сумрачно спросил у него Марко Данилыч.

– Непреложно, – ответил Доронин.

– А Иосифа патриарха выкинешь разве из святых-то? – задорно спросил Смолокуров.

– Свят ли он, не свят ли, Господь его ведает, знаем только, что во святых он не прославлен, – молвил Зиновий Алексеич. – Да и то сказать, кажись бы, не дело ему по торговле да кабалам судить. Дело его духовное!

– Богохульник ты, одно слово, что богохульник!.. – воскликнул Марко Данилыч. – Как можно на святейшего патриарха такие хулы возносить...

– Никто насчет кабалы с тобой согласен не будет... – немножко помолчавши, сказал Зиновий Алексеич.

– Ой ли? – с усмешкой сказал Смолокуров. – Дмитрий Петрович! А Дмитрий Петрович!

Но Дмитрий Петрович не слышит, загляделся он на Наташу и заслушался слов ее в разговоре с сестрой да с Дуней. Тронул его Смолокуров за плечо и сказал:

– Человек вы ученый, разрешите-ка наш спор с Зиновьем Алексеичем. Как, по-вашему, надо по вексялям долги строже взыскивать аль не надо?

– То есть как это? – спросил, не понимая, в чем дело, Дмитрий Петрович.

– Ну вот, к примеру сказать, про Красилова, Якова Дмитрича. Слыхали про его обстоятельства?

– Не платит, говорят, – молвил Веденеев.

– Объявился несостоятельным: вчера об этом я письмо получил. Моих тысячи тут за три село, – продолжал Марко Данилыч. – Администрацию назначат либо конкурс. Ну и получай пять копеек за рубль. А я говорю: ежели ты не заплатил долгу до последней копейки, иди в кабалу, и жену в кабалу, и детей – заработали бы долг... Верно ли говорю?

– Нет, Марко Данилыч, – ответил Веденеев. – По-моему, не так...

– А как же? – вскрикнул Смолокуров. – Благочестивыми царями так уставлено, патриархом благословлено...

– Двести лет назад можно было в кабалу отдавать, а теперь нельзя, – сказал Дмитрий Петрович. – Господень закон только вечен, а людские законы временные, потому они и меняются.

– Ладно, хорошо, – молвил Смолокуров. – А как, по-вашему, Евангелиеечно?

– Вечно, – ответил Веденеев.

– А помните ль, что там насчет должников-то писано? – подхватил Марко Данилыч. – Привели должника к царю, долгов на нем было много, а расплатиться нечем. И велел царь продать его и жену его, и детей, и все, что имел. Христовы словеса, Дмитрий Петрович?

– Так ведь это в притче сказано, – возразил Дмитрий Петрович. – А в повелении Христовом, в молитве Господней что сказано? «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим».

– Увертки не хвátки, Дмитрий Петрович, – молвил с досадой Марко Данилыч.

– По-моему, никаких бы взысканий по вексям не делать, – сказал Веденеев. – Коли деньги даете, так знайте кому. Верьте только надежному человеку.

– Вот еще что! – хмуря лоб, усмехнулся Смолокуров. – Значит, после этого векселью и веры нет никакой?

– То-то и есть, Марко Данилыч, – подхватил Веденеев, – что у нас не по-людски ведется: верим мы не человеку, а клочку бумаги. Вера-то в человека иссякла; так не на совесть, а на суд да на яму надежду возлагаем. Оттого и банкротства.

– А ежели в человеке совести-то нет? – возразил Смолокуров.

– Такому не верьте.

– Да кто ему в душу-то влезет? – с жаром молвил Марко Данилыч.

– Кого хорошо не знаете, того не кредитуйте, – отвечал Веденеев.

– Значит, и векселей не надо? – насмешливо спросил Марко Данилыч.

– Вексель нужен, – ответил Дмитрий Петрович, – но только для памяти. И для счетов он необходим.

– Пропадали у вас деньги в долгах?

– Бог милостив, копейки пока еще не пропало, – ответил Дмитрий Петрович.

– То-то и есть, оттого вы так и говорите. А вот как огреют вас разика три, четыре, так не бойсь другую песню запоете.

– Не запою, – уверенно отвечал Веденеев.

Ничего не сказал на то Марко Данилыч и обернулся назад, будто рассматривать темневшую больше и больше с каждой минутой даль.

Петр Степаныч стал на корму; гребцы сильнее приударили в весла. Чайкой несется косная мимо низины под горным кряжем, ровно на крыльях летит она мимо дикого, кустарником заросшего ущелья, мимо длинного, высокого откоса Теплой горы. Миновав ту гору, Самоквасов взял «право руля»¹³³, и косная, плавно повернувшись влево, тихо пристала у берега. Там ярко горел и весело потрескивал огромный костер, а по песчаному побережью разостланы были ковры, и на них расставлена столовая и чайная посуда. Самоквасов с Дмитрием Петровичем наперед в особой косной послали туда все нужное для гулянья. Выйдя из косной, Марко Данилыч опять забрюзжал: зачем молодежь так бестолково транжирит деньги. Петр Степаныч с Веденеевым ему на то ни слова не отвечали.

Подбежали к косной трое бойких ловцов, все трое одеты по-праздничному – в ситцевых рубашках, в черных плисовых штанах, с картузами набекрень. Петр Степаныч наперед откупил у них вечерний улов в шашковых снастях. По песку был раскинут невод из ботальной дели¹³⁴, изготовили его ловцы на случай, если купцы вздумают не только рыбу ловить, но на бель тони закидывать¹³⁵. Оваль рашни и ботала лежали¹³⁶. Тоже на всякий случай ловцы их припасли.

Слова два молвил ловцам Самоквасов, и они, молодецки прыгнув в легкий ботник¹³⁷, стрелой полетели на стрежень. За ними в угон понеслась и косная. Став на середине реки, один ловец захватил конец хребтины, и, меж тем как товарищ его, спускаясь вниз по реке возле опущенной снасти, веслом работал потихоньку, он вытягивал ее понемногу в ботник, а третий ловец снимал с крюков стерлядей, когда они попадались. Косная следила за ними. Рав-

¹³³ «Право руля», «лево руля» – волжские выражения. Взять право руля значит поворотить дышло руля вправо, тогда лодка или судно поворотит влево.

¹³⁴ **Ботальная дель** – двойная рыболовная сеть. Снаружи – **режь**, то есть самая редкая сеть, по четверти аршина в каждой ячейке; внутри ее другая сеть, частая. Делью называется всякая сеть.

¹³⁵ На Волге и низовьях Оки у ловцов **рыбой** зовется только осетровая порода, остальное – **бель** или **частик**.

¹³⁶ **Рашня** – то же, что **раковица** – снаряд для ловли раков – сетчатый кошель на обруче. **Ботало** – шест с дощечкой или деревянным стаканом на конце; этим орудием «ботают» воду, то есть бьют обо дно и мутят ее для загона рыбы или раков в сети или в рашню.

¹³⁷ **Ботник** – легкая маленькая рыбацья лодка, не больше как на трех человек.

нодушно глядел на стерляжью ловлю Марко Данилыч, – ему, владельцу обширных рыбных ватаг на волжском низовье, здешняя ловля казалась делом пустяшным. «Вот если бы пуда в три осетра вытянули, – он говорил, – либо белугу, тогда бы дело иное, а это что? Плевое дело, одно баловство». Зато с веселым вниманием следили за хребтиной девицы, не выдавшие никогда рыбной ловитвы. Каждый раз, когда ловец снимал задетую за бок стерлядку, громко они с радости вскрикивали, брали рыбину в руки, любясь ею, пока не попадал крюк с новой стерлядкой. Не одну снасть вытащили, а каждая ста на четыре крючка была, но поймали только штук двадцать пять небольших стерлядей, три были покрупнее, а в одной от глаза до пера аршин с вершком, мерная¹³⁸, значит. Улов не богатый, зато все довольны, а больше всего были довольны ловцы, взявши за снасти чуть не вчетверо больше, чем бы выручили они от продажи рыбы на Мытном дворе¹³⁹.

К берегу пристали, на коврах уселись; Татьяна Андревна стала хозяйничать вокруг самовара; Марко Данилыч с Зиновьем Алексеичем за стаканами лянсина продолжали спор о векселях; Дуня немножко разговорила с Самоквасовым, Дмитрий Петрович осмелел перед резвой, веселой Наташей. Одна Лизавета Зиновьевна, задумавшись, молча сидела возле матери, дела жениховы с ума у нее не сходили. Молчала Татьяна Андревна, изредка глубоко вздыхая; те ж невеселые думы бродили на мыслях у ней. А небо меж тем тусклее становилось, солнце зашло, и вдали над желто-серым туманом ярманочной пыли широко раскинулись алые и малиново-золотистые полосы вечерней зари, а речной плес весь подернулся широкими лентами, синими, голубыми, лиловыми. Вдали край небосклона засверкал тысячами искр; это зажглись огни в фонарях, это огни заблестали в неисчетных зданиях ярманки.

– Неводком не будет ли в угоду вашей милости белячка половить? – снимая картуз и нагибаясь перед Самоквасовым, спросил старший ловец. По всем его речам и по всем приемам видно было, что он из бывалых, обхождению в трактирах обучился.

– Закидывай, – ответил ему Петр Степаныч и, не внимая ворчаньям Смолокурова, сам принялся хлопотать вокруг невода вместе с ловцами.

Проворно подвели к берегу новую лодку, уложили в нее двухсотсаженный невод, и возле ковра, где распивали чай Смолокуровы с Дорониными, в землю пятной кол¹⁴⁰ вколотили. Прикрепив к нему мертвый кодобл, тихо, веслами, чуть касаясь воды, полегоньку поплыли ловцы поперек реки, выметывая из лодки пятное крыло невода. Доплыв до стрежня, поворотили они вдоль по течению, выкинули мотню и, продолжая выметывать ходовое крыло, поворотили к берегу, причалили и на руках вынесли ходовой кодобл¹⁴¹.

– Маленько бы погодить вытаскивать-то, ваше степенство, – молвил ловец Самоквасову. – Тем временем порачить не желаете ли?

– Валяй, – сказал Петр Степаныч, и ловцы принялись за раков.

Босиком, штаны засучив выше колена, бойко ловцы похватавши рашни и ббталы, бросились с ними на покрытую водою отмель. Одни воду толкут и мутят ее, загоняя раков, другие рашни расставляют. Набежали мальчишки, сами охотой полезли в реку и безо всяких снарядов принялись руками раков таскать из нор, нарытых в берегу под водою. Вынул ловец первую рашню – тихо возилось там десятка полтора крупных и мелких раков.

– Вот они! – молвил ловец, опрастывая рашню у ног Самоквасова, и потом, взявши за ус самого крупного рака, приподнял его кверху и молвил: – Вот так мастеровой, скоро его не

¹³⁸ Мерными на средней Волге зовут стерлядей в аршин и более; от трех четвертей до аршина зовется полумерною.

¹³⁹ Так называется рынок.

¹⁴⁰ Пятным колом (от пята) называется кол, к чему привязывается конец невода, с которого начинают его закидывать.

¹⁴¹ Пятное крыло – та половина невода, с которой начинается его выкидка в воду, затем следует мотня – середка невода; это кошель из самой частой и крепкой дели (сети), в которой при вытаскивании невода остается наловленная рыба. Крыло невода по другую сторону мотни называется ходовым. Кодол – веревка, на которую навязан невод; один конец ее, привязываемый к колу, называется мертвым или глухим, противоположный – ходовым.

признаешь: по ножницам швец, по щетине чеботарь¹⁴². Два рога да не бык, шесть ног да без копыт!

Через четверть часа не одна уже сотня раков была наловлена.

– Будет, – молвил ловцам Самоквасов. – Тащите-ка невод теперь, молодцы. Посмотрим, чем Бог благословил нашу ловлю.

Уговаривают ловцы повременить, чтоб бели набралось побольше, но уж темно становилось, и Самоквасов велел им тотчас за невод приняться.

Схватив концы кодоблов, ловцы потянули на берег невод. Минут через десять мотня подошла; ее вытянули на песок: там трепетало с десятков красноперых окуней, небольшой, с бледно-розовым брюшком лещ, две юркие щуки, четыре налима, десятка два ершей да штук пятьдесят серебристой плотвы. Улов незавидный. Кроме того, были в мотне пара раков да одна лягушка...

– Говорил, что надо подождать, – почесывая затылок, будто с обиженным видом молвил старшой из ловецкой артели. – Что это за тоня! Разве такие бывают! Только званье одно...

– Ничего, всей рыбы в Оке не выловишь. С нас и этой довольно, – молвил Петр Степаныч. – А вот что, молодцы. Про вас, про здешних ловцов, по всему нашему царству идет слава, что супротив вас ухи никому не сварить. Состряпайте-ка нам получше ущицу. Лучку, перчику мы с собой захватили, взяли было мы и кастрюли, да мне сказывали, что из вашего котелка уха в тысячу раз вкуснее выходит. Так уж вы постарайтесь! Всю мелкоту вали на привар. Жаль, что ершей-то больно немного поймали.

– Ничего, ваше степенство, плотвой, окунями добавим, да вот еще у нас два налима. Навар будет знатный – за первый сорт, – ответил ловец. – А щука да лещ в уху не годят¹⁴³, – прибавил он.

– Щук дарю, кушай их на здоровье, а леща мы зажарим, – молвил Петр Степаныч. – А как ты думаешь?.. Для навару-то раков в котелок не пустить ли?

– Зачем поганить уху? – крикнул с ковра Марко Данилыч. – Рак ведь погань, водяной сверчок, христианам есть его не показано. Вы бы уж и лягушку-то тоже в уху положили.

– Ведь раков едят, – молвил Петр Степаныч.

– Мало ль чего! Татары и кобылятину жрут, господа зайцев едят да похваляют. Вотяки с чувашами и житничками¹⁴⁴ не брезгают. Так им закон не писан, а мы люди крещеные, от мерзости нам вкушать не подобает. Нет уж, Петр Степаныч, пожалуйста, не паскудь ухи.

– Да оно и не годит раков-то класть, – молвил ловец, – не будет от них никакого навару.

– Ну, так ладно, – сказал Самоквасов. – Живей, ребята, берись за стряпню.

Ловцы проворно вычистили бель и подвесили котелок над маленьким, нарочно для стряпни разведенным костром. Всю бель свалили в котелок и потом принялись стерлядей потрошить.

– Дмитрий Петрович, вам досталось на нынешний день быть в кашеварах. Давайте-ка жарить леща, – сказал Веденееву Петр Степаныч, и оба тотчас принялись за работу.

– А хорошо ведь на вольном-то воздухе в такую пору середь друзей-приятелей доброй ущицы похлебать, – молвил Зиновий Алексеич, обращаясь к Марку Данилычу.

– Ничего, дело не плохое, – отвечал Смолокуров. – Тут главное дело – охота. Закажи ты в любой гостинице стерляжью уху хоть в сорок рублей, ни приятности, ни вкуса такого не будет. Главное дело охота... Вот бы теперь, мы сидим здесь на бережку, – продолжал благоденствовать Смолокуров, – сидим в своей компании, и семейства наши при нас – тихо, приятно всем... Чего же еще?

¹⁴² **Ножницы** – клешни, **щетина** – усы.

¹⁴³ То есть не годятся.

¹⁴⁴ **Житнички** – хлебные мыши, что водятся в житницах.

И, маленько помолчав, наклонился к Зиновью Алексеичу и тихо промолвил:

– А ты приходи-ка завтра пораньше ко мне, а не то я к тебе зайду. С тюленем бы надо покончить. Время тянуть нечего.

– Ладно, приду, – так же тихо ответил Доронин. – А сегодня я с нарочным письмо послал к Меркулову, обо всем ему подробно отписал. На пароход посадил с тем письмом молодца. В две недели обернется. Завтра потолкуем, а делу конец, когда ответ получу. Лучше как хозяйско согласие в руках – спокойнее...

– Напрасно, – насупившись, прошептал Смолокуров. – Как ему, сидя в Царицыне, знать здешни дела макарьевски? Смотри, друг, не завалялось бы у нас... Теперь-то согласен, а через два либо через три дня, ежели какая линия подойдет, может статься, и откажусь... Дело коммерческое. Сам не хуже меня разумеешь.

– Конечно, это доподлинно так! Супротив этого сказать нечего, – вполголоса отозвался Доронин. – Только ведь сам ты знаешь, что в рыбном деле я на синь-порох ничего не разумею. По хлебной части дело подойди, маху не дам и советоваться не стану ни с кем, своим рассудком оборудую, потому что хлебный торг знаю вдоль и поперек. А по неизвестному делу как зря поступить? Без хозяйского то есть приказа?.. Сам посуди. Чужой ведь он человек-от. Значит, ежели что не так, в ответе перед ним будешь.

– Да ведь у тебя доверенность? – с досадой тихонько молвил Марко Данилыч и, нахмуясь, засверкал глазами.

– Что ж из того, что доверенность при мне, – сказал Зиновий Алексеич. – Дать-то он мне ее дал, и по той доверенности мог бы я с тобой хоть сейчас по рукам, да боюсь, после бы от Меркулова не было нареканья... Сам понимаешь, что дело мое в этом разе самое опасное. Ну ежели продешевлю, каково мне тогда будет на Меркулова-то глаза поднять?.. Пойми это, Марко Данилыч. Будь он мне свой человек, тогда бы еще туда-сюда; свои, мол, люди, сочтемся, а ведь он чужой человек.

– Ой ли? – лукаво усмехнувшись, громко сказал Марко Данилыч. – Так-таки совсем и чужой? – прибавил он, ударив по плечу приятеля.

– Разумеется, чужой, – немножко смутившись, ответил Зиновий Алексеич. – Причитается племянником, сродником зовется, да какая ж в самом-то деле родня? Седьмая воина на квасине, на одном солнышке онучки сушили.

– Ладно, ладно, – с лукавой усмешкой трепля по плечу Зиновья Алексеича, сказал Марко Данилыч. – Так совсем чужой?

Доронин не сразу ответил, а Татьяна Андревна даже совсем обомлела. Уставив на Смолокурова зоркий, пристальный взор, она думала: «Неужто спроведал? От кого же это?.. Неужели Никитушка кому проболтался?» А Лизавета Зиновьевна, хоть солнце и село, а распустила зонтик и закрыла им смущенное лицо.

– Сказано тебе, какая родня, – сказал Зиновий Алексеич пристававшему Марку Данилычу. – Такой родни до Москвы не перевешаешь. А что человек он хороший, то верно, за то и люблю его и, сколько смогу, ему порадею.

– Не хитри, дружище! – молвил Смолокуров, погрозив пальцем.

– Чего хитрить-то мне? Для чего? – сказал Зиновий Алексеич. – Да и ты чудной, право, повел речь про дела, а свел на родство. Решительно тебе сказываю, раньше двух недель прямого ответа тебе не дам. Хочешь жди, хочешь не жди, как знаешь, а на меня, наперед тебе говорю, не погневайся.

– Да ты не ори, – шепотом молвил Марко Данилыч, озираясь на Веденеева. – Что зря-то кричать? А скажи-ка мне лучше, из рыбаков с кем не покалякал ли? Не наплели ли они тебе чего? Так ты, друг любезный, не всякого слушай. Из нашего брата тоже много таковых, что ему сказать да не соврать – как-то бы и зазорно. И таких немалое число и в каждом деле,

какое ни доведись, любят они помутить. Ты с ними, пожалуйста, не растабарывай. Поверь мне, они же после над тобой будут смеяться.

Так говорил едва слышно Марко Данилыч, а Доронин слушал его и молчал. И тут впало ему в голову: «С чего это он так торопится и ни с кем про тюленя говорить не велит? Уж нет ли тут какого подвоха?»

– Так смотри же ты у меня, Зиновий Алексеич, прималчивай покамест, – после недолгого молчанья стал опять ему шептать Марко Данилыч. – Две недели куда ни шли, можно обождать. Только уж, сделай милость, ни с кем про это дело и языка не распускай. Вот тебе перед Богом, все дело перепортишь и мне, и Меркулову. Поверь слову. И этому не моги говорить, – прибавил он, указывая глазами на отвернувшегося в сторону Веденеева. – Ты его не знаешь, а мы давно ведаем – птичка мала, да коготок востер... А в голове-то ветер еще ходит. В деле недавно, а каких уж делов успел натворить. Пуще всего его берегись, его словам из наших рыбаков никто не верит. Как узнал про какое дело, тотчас норовит помутить его, а не то и расстроить.

– Что же мне с ним говорить? С какой стати? – ответил Зиновий Алексеич.

– Уха сейчас готова! – крикнул Самоквасов. – Дмитрий Петрович, вы ведь у нас за каше-вара, готовьте чашки да ложки скорее.

Веденеев на особом в сторонке разостланном коврикe проворно расставил привезенную из города закуску: графинчики с разными водками, стерляжьей икры жестянку, балык донской, провесную елабужскую белорыбицу, отварные в уксусе грибы, вятские рыжички, керженские груздочки.

– Эк что наставили, – покачивая головой, сказал Дмитрию Петровичу Смолокуров. – Да этого, сударь, десятерым не съесть. Напрасно, право, напрасно так исхарчились. Знал бы, ни за что бы в свете не поехал с вами кататься.

Однако подошел к закуске и, налив четыре рюмки, взял одну, другую подал Зиновью Алексеичу, примолвив:

– Хватим по одной, разогреемся, свеженько от воды-то стало!.. А вы, Дмитрий Петрович, вы, сударь Петр Степаныч. Без вас и пить не станем, принимайтесь за рюмочки.

Выпили хорошо, закусили того лучше. Потом расселись в кружок на большом ковре. Сняв с козлов висевший над огнем котелок, ловец поставил его возле. Татьяна Андревна разлила уху по тарелкам. Уха была на вид не казиста; сварив бель, ловец не процедил навара, оттого и вышла мутна, зато так вкусна, что даже Марко Данилыч, все время с усмешкой пренебреженья глядевший на убогую ловлю, причмокнул от удовольствия и молвил:

– Уха знатная-то!

– Бесподобная, – подтвердил Зиновий Алексеич, а Татьяна Андревна, радушно обращаясь к кашеварам, сказала, что отроду такой чудесной ухи не едала.

После ухи появились на ковре бутылки с разными винами и блюдо с толстыми звеньями заливной осетрины. Рыба прекрасная, заготовка еще лучше, по всему видно, что от Никиты Егорова.

– Осетрина первый сорт, редкостная, – похвалил ее Смолокуров, – а есть ее, пожалуй, грешно.

– Отчего ж это, Марко Данилыч? – спросил Веденеев.

– А водяных-то сверчков на кой прах вокруг напихали? – сказал Смолокуров, указывая на раковые шейки, что с другими приправами разложены были вкруг сочных звеньев осетрины.

– Откинь, коль не в угод, – молвил Зиновий Алексеич, – а рыба сготовлена так, что ни у тебя, ни у меня так вовек не сострапают.

Марко Данилыч в раздумье только головой покачал, но осетрина так лакомо глядела на него, что не мог он стерпеть, навалил себе тарелку доверху.

Ужин, как водится, кончился «холодненьким», нельзя уж без того. Две белоголовые бутылки опорожнили.

Малиновые переливы вечерней зари, сливаясь с ясным темно-синим небосклоном, с каждой минутой темнели. Ярko сверкают в высоте поднебесной звезды, и дрожат они на плесу, отражаясь в тихой воде; почернел нагорный берег, стеной поднимаясь над водою; ярче разгорелись костры коноводов и пламенные столбы из труб стального завода, а вдали виднеется ярманка, вся залитая огнями. То и дело над нею вспыхивает то белое, то алое, то зеленое зарево потешных огней, что жгут на лугах, где гулянья устроены.

– Пора и по домам, – с места поднявшись, сказала Татьяна Андревна. – Ишь до коей поры загостились.

И, помолясь на восток, стала она потеплей одеваться и укутывать дочерей своих и Дуню.

– Пора, пора, – подтвердили и Марко Данилыч, и Зиновий Алексеич. Заторопились отъездом.

Щедро награжденные молодыми людьми ловцы и деревенские ребяташки громкими криками провожали уезжавших, прося их жаловать почаще, и, только что двинулась по реке косная, стали высоко метать горящие головни, оглашая вечернюю тишь громким радостным криком.

А певцы на косной дружно грянули громкую песню, и далеко она разнеслась по сонной реке.

Полночь была недалеко, когда воротились с катанья. Все остались довольны, но каждый свою думу привез, у всякого своя забота была на душе.

Доронин был встревожен неуместными приставами Марка Данилыча. «Что это ему на разум пришло? И для чего он так громко заговорил про это родство, а про дело вел речь шепотком? Не такой он человек, чтобы зря что-нибудь сделать, попусту слова он не вымолвит. Значит, к чему-нибудь да повел же он такие речи».

И долго, чуть не до самого свету, советовался он с Татьяной Андревной, рассказав ей, что говорил ему Марко Данилыч. Придумать оба не могли, что бы это значило, и не давали веры тому, что сказано было про Веденеева. Обоим Дорониным Дмитрий Петрович очень понравился. Татьяна Андревна находила в нем много сходства с милым, любезным Никитушкой.

Пала кручина на сердце Лизаветы Зиновьевны, не добро подумала она о Марке Данилыче. Насмехаться ли хочет, аль беду какую готовит Никитушке? Невзлюбила его, первого человека в жизни своей она невзлюбила.

Оставшись вдвоем с сестрой, стала она раздеваться. Наташа все у столика сидела, облокотясь на него и положила на ладонь горевшую щеку.

– Что сидишь, не раздеваешься? – спросила у ней Лиза. – Поздно уж, спать пора.

Не вдруг ответила Наташа. Подумав немного, быстро подняла она голову и, поглядев на сестру загоревшимися небывалым дотолё блеском очами, сказала:

– А ведь он славный!

– Кто? – спросила Лиза.

– Да он.

– Кто он?

– Дмитрий Петрович!

Взглянула Лиза на сестру и улыбнулась.

– Такой пригоженький, такой хорошенький, веселый такой! – продолжала Наташа.

– А ты раздевайся-ка с Богом да ложись спать, – сказала, улыбаясь, Лиза.

Пришла и Наташе пора.

Марко Данилыч, с Дуней простясь, долго сидел над бумагами, проклиная в душе Зиновья Алексеича. Шутка сказать, тюлень из рук выскользал, на плохой конец сорок тысяч убытку. Хоть не то, что убыток, а разве не все едино, что почти держать в руках такие деньги, а в карман их не положить. Это ведь что в сказках говорится: «По усу текло, а в рот не попало». Как

же не досадовать, как не проклинать друга-приятеля, что пошел было на удочку, да вильнул хвостом. Долго думал, долго на счетах выкладывал, наконец, ровно чем озаренный, быстро с места вскочил, прошелся раз десяток взад и вперед по комнате и сел письмо писать.

Писал он к знакомому царицынскому купцу Володерову, писал, что скоро мимо Царицына из Астрахани пойдет его баржа с тюленем, – такой баржи вовсе у него и не бывало, – то и просил остановить ее: дальше вверх не пускать, потому-де, что от провоза до Макарья будут одни лишь напрасные издержки. Тюлень, писал он, в цене с каждым днем падает, ежели кому и за рубль с гривной придется продать, так должен это за большое счастье сочесть. И много такого писал, зная, что знакомый его непременно расскажет о том Меркулову, и полагая, что в Царицыне нет никакого Веденева, никто из Питера коммерческих писем не получает. Тот расчет был у Марка Данилыча, что как скоро Меркулов узнает про неслыханный упадок цен, тотчас отпишет Доронину, продавал бы его за какую ни дадут цену.

Написал, запечатал, чтобы завтра поутру послать с письмом нарочного в Царицын. Придет сутками позже доронинского письма. Авось дело обладится.

И успокоилась душа у Марка Данилыча; радостный, благодушный пошел он себе на покой. Проходя мимо Дуниной горницы, тихонько отворил дверь поглядеть на свою ненаглядную. Видит: стоит на молитве.

«Молись, голубушка! И меня помяни во святых молитвах твоих. Ты ведь еще ангел непорочный. От тебя молитва до Бога доходна... Молись, Христос с тобой...» – так подумал Марко Данилыч и, неслышно притворив дверь, пошел в свою спальню. Тих, безмятежен был сон плутоватого рыбника.

Грустна, молчалива Дуня домой воротилась. Заела неизвестная прежде кручина победное ее сердце. Испугалась Дарья Сергевна, взглянув на бледное лицо и горевшие необычным блеском очи своей любимицы.

– Ох уж эти мне затеи! – говорила она. – Ох уж эти выдумщики! Статочно ль дело по ночам в лодке кататься! Теперь и в поле-то опасно, для того что росистые ночи пошли, а они вдруг на воду... Разум-от где?.. Не диви молодым, пожилые-то что? Вода ведь теперь холодна, давно уж олень копытом в ней ступил. Долго ль себя остудить да нажить лихоманку. Гляди-ка, какая стала – в лице ни кровинки. Самовар поскорее поставлю, липового цвету заварю. Напейся на ночь-то.

– Да у меня, тетенька, ничего не болит, я совсем здорова, – молвила Дуня тревожно суетившейся вокруг нее Дарье Сергевне.

– Здорова!.. Много ты знаешь!.. Хорошо здоровье, нечего сказать, – отвечала Дарья Сергевна. – Погляди-ка в зеркало, погляди на себя, на что похожа стала.

И, не слушая речей Дуни, вышла из комнаты, велела поставить самовар и, заварив липового цвета с малиной, напоила свою любимицу и, укутав ее в шубу, положила в постель.

«Пропотеет, авось хворь-то снимет», – сказала сама про себя Дарья Сергевна и, заметив, что Дуня, закрыв глаза, успокоилась, отошла тихонько от ее постели и, прочтя молитвы на сон грядущий, неслышными шагами отошла за ширмы, где стояла ее кровать.

Дуня не спала. Закрыв глаза, все про катанье вспоминала, и ровно живой восставал перед ней удалой добрый молодец, веселый, пригожий красавчик. То и дело в ушах ее раздавались звуки его голоса.

«Не брежу ли я? В самом деле не схватила ли меня лихоманка?» – подумала Дуня.

Но эта дума так же скоро промчалась, как скоро налетела. А сон нейдет, на минуточку не может Дуня забыться. На мыслях все он да он, а сердце так и стучит, так его и щемит.

И приходит на память ей беседа, что вела она с Груней перед отъездом из Комарова.

От слова до слова вспоминает она добрые слова ее: «Если кто тебе по мысли придется и вздумаешь ты за него замуж идти – не давай тем мыслям в себе укрепляться, стань на молитву и Богу усердней молись».

«Замуж! – подумала Дуня. – Замуж!.. Да как же это?..»

Подошла к столику, вынула из него заветную свою коробочку, вынула из нее колечко, отцом подаренное, когда минуло ей восемнадцать годков. Сидит, глядит на него, а сама родительские слова вспоминает:

«Слушай, Дуня: ни мать твою, ни меня родители венцом не неволили. И я тебя неволить не стану. Даю тебе кольцо обручальное, отдай его волей тому, кто полюбится...»

И слезы закапали на колечко. «Да разве может это случиться? – думает Дуня. – Господи, Господи! Что ж это со мной?»

А сердце так и стучит, кровь молодая так и кипит ключом.

«Стань на молитву и Богу усердней молись! – опять приходят ей на память слова доброй Груни. – Стань на молитву, молись, молись со слезами, сотворил бы Господь над тобой святую волю свою».

«Стану, стану молиться... – думает Дуня. – Но что ж это будет?.. Как это будет?.. Бедная, бедная я...»

И разметалась в постели. Высоко поднимается белоснежная грудь, заревом пышут ланиты, глаза разгорелись, вся как в огне.

Опять приходят на память Груни слова: «И ежели после молитвы станет у тебя на душе легко и спокойно, прими это, Дуня, за волю Господню, иди тогда безо всякого сомненья за того человека».

И потихоньку, не услышала бы Дарья Сергевна, стала она на молитву. Умною молитвою молилась, не уставной. В одной сорочке, озаренная дрожавшим светом догоравшей лампы, держа в руках заветное колечко, долго лежала она ниц перед святыней. С горячими, из глубины непорочной души идущими слезами долго молилась она, сотворил бы Господь над нею волю свою, указал бы ей, след ли ей полюбить всем сердцем и всею душою раба Божия Петра и найдет ли она счастье в том человеке.

Кончив молитву, стала Дуня середь горницы и судорожно закрыла лицо руками. Отдернула их – душа спокойна, сердце не мутится, так ей хорошо, так радостно и отраднo.

«Благословляет Бог!» – подумала, взглянув на иконы, и слезы потоком хлынули из очей ее.

– Боже, милостив буди ко мне! – шептала она.

И, веселым взором обведя комнату, тихо улеглась в одинокую постельку. Тих, безмятежен был сон ее.

А куда девались мѳлодцы, что устроили катанье на славу? Показалось им еще рано, к Никите Егорычу завернули и там за бутылкой холодненького по душе меж собой разговаривали. Друг другу по мысли прищлись. А когда добрались до постелей, долго не спалось ни тому, ни другому. Один про Дунюшку думал, другой про Наташу.

Глава одиннадцатая

Велика пречиста пришла¹⁴⁵, день госпожин. Из края в край по всей православной Руси гудят торжественно колокола, по всей сельщине-деревенщине, по захолустьям нашей земли с раннего утра и стар, и млад надевают лучшую одежду и молитвой начинают праздник. В половине августа рабочая страда самая тяжелая: два поля надо убрать, да третье засеять; но в день госпожин ни один человек за работу не примется, нельзя: Велика пречиста на другой год не даст урожаю. Оттого церкви, обыкновенно пустые в летние праздники, в тот день полнехоньки народом, а в раскольниковых моленных домах чуть не всю ночь напролет всенощные поют да часы читают. На Горах по дальним от городов захолустьям справляют в тот день «дожинки», старорусский обычай, теперь всюду забытый почти. Если к Успеньеву дню успеют дожать яровое, тогда праздник вдвое, тогда бывает «сноп именинник» и празднуются «дожинки». Сжав яр без остатка, оставляют накануне дожинок ручёнку овсяных колосьев не сжатою «волотку на боротку»¹⁴⁶, а последний сжатый сноп одевают в нарядный сарафан, украшают его монистами и лентами, на верхушку надевают кокошник и водят вокруг его хороводы. Это и есть «сноп именинник». Одни жнеи песни поют имениннику в честь, другие катаются с боку на бок по сжатому полю, а сами приговаривают: «Жнивка, жнивка, отдай мою силку на пест, на мешок, на колотило, на молотило да на новое веретено». В самый день дожинок после обедни идут, бывало, с веселыми песнями на широкий двор помещичий, высоко держа над головами именинный сноп. У каждой жнеи в руке обвитый соломой серп. Сноп именинный вносили в комнаты, ставили его в передний угол под образа, и на том месте красовался он до первого воскресенья. Сняв в этот день его со стола и сняв с него украшения, берегли до Покрова, тогда делили его, и каждый хозяин примешивал доставшуюся ему долю к корму скота, чтобы он всю зиму добрел да здоровел. А когда жнецы и жнеи с обвитыми серпами и со снопом именинником подходили к помещичьему дому, хозяин с хозяйкой и со всей своей семьей выходили навстречу дорогому гостю за ворота и, трижды перекрестясь, низкими поклонами «хлебушку встречали», приговаривая: «Жнеи молодые, серпы золотые – милости просим откусать, нового хлебца порушать». А на широких дворах уж столы стоят, а вокруг них переметные скамьи либо доски, положенные на чураки, кадушки и бочонки. Обнесут рассевшийся народ чаркой другой и ломтями хлеба, испеченного из новой ржи, потом подадут солонины с квасом, с творогом и кашу с маслом, а перед каждым кушаньем браги да пива пей сколько хочешь. В конце «дежень» подавали, непременно кушанье на «дожинках» – кислое молоко с толокном. После обеда до самой вечерней зари за околицей либо возле гумен, а иной раз и на барском дворе молодежь водит хороводы и под сумрак наступающей ночи громко распевает:

Закатилось красно солнышко
За зéлен виноград,
Целуемся, милуемся,
Кто кому рад.

На тех хороводах долго загуливаться нельзя – чем свет иди на страду, на работу, гни спину до ночи.

Расходятся мирно и тихо по избам, и там в первый раз после лета вздувают огни. Теперь барские дожинные столы перевелись, но у зажиточных крестьян на Успеньев день наемным

¹⁴⁵ Августа 15-го Велика пречиста (Успенье Богородицы), а сентября 18-го (Рождество Богородицы) – Мала пречиста.

¹⁴⁶ **Волот** – великан, сказочный богатырь. Кости допотопных животных считаются костями волотов. Волоты почитаются в некоторых местах покровителями земледелия.

жнеям и жнецам ставят еще сытный обед с вином, с пивом и непременно с деженем, а после обеда где-нибудь за околицей до поздней ночи молодежь водит хороводы, либо, рассеявшись по зеленому выгону, поет песни и взапуски шелкает свежие, только что созревшие орехи.

По большим и малым городам, по фабричным и промышленным селеньям Велика пречиста честно и светло празднуется, но там и в заводе нет ни дожинных столов, ни обрядных хороводов, зато к вечеру харчевни да кабаки полнехоньки, а где торжок либо ярманка, там от пьяной гульбы, от зычного крику и несвязных песен – кто во что горазд – до полуночи гам и содом стоят, далеко разносясь по окрестностям. То праздничанье не русское.

По многим монастырям в тот день большие собрания бывают. Из дальних и ближних мест богомолцы тысячами стекаются в Печерскую лавру к киевским угодникам, в Саровскую пустынь, к Троице-Сергию и на Карпаты – в Почаев. Много ярманок в тот день бывает: и в Харькове, и в Калаче, и за Уралом, и на Крестовском поле, что возле Ивановского¹⁴⁷, и по разным другим городам и селеньям. Но нигде так не кипит народная жизнь, никуда так много русского люда в тот день не стекается, как к Макарью. На Успеньев день там самый сильный разгар ярманки. Утро молитве дань – в соборе четыре обедни одну за другой служат, и все время церковь также переполнена богомольцами, во многих лавках поют молебны Успенью и святому Макарию. Армянская церковь также переполнена богомольцами, даже бугор, где стоит она, целое утро усеян ими ради храмового праздника и торжественного освящения винограда. По молитве наступает обычное неустанное движение по всей ярманке; разряженные толпы снуют около Главного дома, по бульвару, по рядам. Биржа полнехонька, даже ступени ее железного здания усеяны тесной, сплошной толпой народа; в трактирах вереницы ловких половых едва успевают разносить кушанья – праздник большой да к тому ж и разговенье. Минул час обеда, и загремела музыка, по трактирам запели хоры московских песенников родные песни; бешено заголосили и завизжали цыгане, на разные лады повели заморские песни шведки, тирольки и разодетые в пух и прах арфистки, щедро рассыпая заманчивые улыбки каждому «гостю», особенно восточным человекам. Вокруг самокатов чуть не с самой обедни раздаются роговая музыка, хриплые голоса подгулявших спозаранок певунов, нестройные звуки дешевых оркестров; пищат шарманки, дерут уши пронзительные звуки волюнок, шум, крик, музыка, песни, но веселья, душевного веселья не видится. Так чествуют у Макарья день госпожін, а вечером кончают его театрами, ристаньями в цирках, пьяным разгулом и диким безобразием в увеселительных заведеньях особого рода.

У степенных людей старого закала Успеньев день иными собраниями отличается. В кипучем водовороте ярманочной жизни те собрания незаметны тому, кто мало знаком с местными обычаями.

Когда торговали на Желтых песках у Старого Макарья, ярманка кончалась раньше; в первых числах августа купцы уж по домам разъезжались, концом торгового считался праздник первого Спаса. В тот день, после обычного крестного хода на воду, купцы по лавкам служили благодарные молебны за окончание дел и раздавали при этом щедрую милостыню. Верст из-за полутораста и больше пешком сходилась к тому дню нищая братия, водой из-за трех– и четырехсот верст проплывала она. Целыми лодками, целыми дощаниками приплывала. И тем лодкам и дощаникам было имя «Христовы кораблики».

Плывут, бывало, нищие по Волге, плывут, громогласно распевая про Алексея Божия человека, про Страшный суд и про то, как «жили да были два братца родные, два братца, два Лазаря; одна матушка их породила, да не одно счастье Господь им послал». Далеко по широкому раздолью разносятся, бывало, заунывные голоса, доносятся они и до прибрежных сел и деревень. И от каждого села, от каждой деревни vyplывают ко Христову кораблику лодочки с христолюбцами, и подают те христолюбцы Христовым корабельщикам доброхотное даяние

¹⁴⁷ Шадринского уезда Пермской губернии.

– хлеба, караваи, бочонки квасу, печеные яйца, малину, смородину, не то новины отрезок, либо восковую свечу к иконе преподобного Макария. Деньгами подавали редко, но иной раз какой-нибудь богатей раскошелится и пошлет на Христов корабль ставешок¹⁴⁸ медных грошей да копеек, молили бы Бога о спасенье души его. Хворает ли кто у него, трусит ли он затеянного не больно надежного дела – непременно пошлет деньги на каждый Христов кораблик, когда плывет он мимо его жилища. И щедры же бывали подаянья на пути и на ярманке; нищие собирались артелями, и особые дощаники нанимали на две путины, туда и обратно, должно быть, выгодно бывало им. Теперь и в заводах этого нет, не плавают больше по Волге Христовы кораблики, не видать на ее широком раздолье Христовых корабельщиков – только искрами, дымом и паром дышащие пароходы летают по ней. По лону могучей реки, вместо унылых напевов про Лазаря, вместо удалых песен про батьку атамана Стеньку Разина, вместо бурлацкого стона про дубинушку, слышится теперь лишь один несмолкаемый шум воды под колесами да резкие свистки пароходов.

Стародавний, дедами, прадедами уставленный обычай раздавать милостыню под конец ярманки и на новом месте ее сохранился. Но в Нижнем ярманка чуть не с каждым годом запаздывает, оттого запоздала и раздача. Не по старине теперь творят дело Божие, подают не на первый Спас, а на день госпожин. Дающих рука не оскудела, но просящих стало меньше, чем у Старого Макарья. Не плетутся теперь на ярманку по пыльным дорогам певучие артели слепцов и калик перехожих, не плывут по Волге Христовы корабельщики, не сидят на мостах с деревянными чашками в руках слепые и увечные, не поют они про Асафа царевича, – зато голосистых немок что, цыганок, шарманщиков!

Таясь от взоров полиции, успенская раздача подаяний еще не вывелась. Лишь осторожнее стали и просящие, и дающие, но в урочный час Божье дело по укромным местам без помехи творится.

Не расхаживают, как бывало на Желтых песках, по торговым рядам вереницы нищей братии и толпы сборщиков на церковное строенье, но оттого не оскудела рука сердобольных гостей макарьевских... Небольшими кучками в день госпожин собираются нищие по лугам и по выгонам и молча стоят с головами непокрытыми. С книжками в руках сходятся туда же и сборщики на церковное строение. Крестьясь и поминая родителей, доброхотные датели в стро-гом молчанье творят Христову заповедь; так же крестьясь и так же безмолвно принимают их подаяния голодные и холодные, неимущие и увечные, и те сборщики, что Божьему делу отдали труд свой и все свое время.

И раскольничьи сборщики на день госпожин к Макарию собираются. Сибирь – золотое дно, Урал – покрывка серебряная, тихий Дон Иванович, станицы кубанские, слободы стародубские, дальнее Поморье, ближний Кérженец и славное кладбище Рогожское высылают сюда к Успеньеву дню сборщиц и сборщиков. И те люди не нищие, не убогие; привитают они в палатках богатых купцов либо в укромных покойчиках постоянных дворов, что содержатся их одновверцами. Не грошами, не гривнами, а крупными суммами подают им христороубцы милостыню; а в день госпожин сборщики и сборщицы все-таки блюдут стародавний обычай: с книжками за пазухой чуть свет сходятся они на урочных местах и ждут прихода благодетелей. И не коснят благодетели исполнить извечный, предками уставленный обряд милосердия. Затем в палатках богатых ревнителей древнего благочестия и в лавках, где ведется торговля иконами, старыми книгами и лестовками, сходятся собравшиеся с разных концов России старообрядцы, передают друг другу свои новости, личные невзгоды, общие опасенья и под конец вступают в нескончаемые, ни к чему, однако, никогда не ведущие споры о догматах веры, вроде того: с какой лестовкой надо стоять на молитве – с кожаной али с холщовой. Так у Макарья проводят раскольники день госпожин.

¹⁴⁸ Деревянная точеная чашка.

В обширной, из нескольких комнат, палатке, над собственной лавкой в Лубянках¹⁴⁹ помещался московский богач Сырохватов. Ревнитель австрийских попов и их архиереев, любил он надо всем верховодить, везде любил быть первым, поклоны и почет любил ото всех принимать. Что было у него на душе, каких мыслей насчет веры Илья Авксентьич держался, дело закрытое, но все знали, и сам он того не скрывал, что в правилах и соблюденье обрядов был он слабенек. «Славу мира возлюбил, – говорили про него строгие поборники старообрядства, – возлагает он надежду на князи и на сыны человеческие, в них же несть спасения, водится с ними из-за почестей и ради того небрежет о хранении отеческих преданий». Но всехвальная рогожская учительница мать Пульхерия на то, бывало, говаривала: «Был бы в вере тверд, да был бы всегдашним нашим заступником пред сильными внешнего мира, и все согрешения его вольные и невольные, яже словом и яже делом, на свою душу беру». И действительно, Сырохватов при каждом случае являлся ходатаем за своих одноверцев перед властями, и в самом деле о прощении его грехов усердно молились по многим часовням и кельям.

Развалившись в мягких, обитых малиновым бархатом креслах, после плотного обеда и доброй выпивки отдыхает Илья Авксентьич. Возле него стоит столик, а на нем стакан чаю и пачка заклеенных пакетов. Сидит Сырохватов, слушает разговоры гостей, а сам пальцами барабанит по пакетам. А сам ни словечка.

На стульях, на креслах, на длинном турецком диване десять скитских матерей с черными платками на головах да пятеро пожилых степенных купцов сидят. В смежной комнате краснощекий толстый приказчик хозяйничает за ведерным самоваром, то и дело отирая платком пот, обильно выступавший на громадной его лысине.

Матери были недалние, все керженские да чернораменные, из Комарова, из Улангера, из Оленева. От матери Манефы да из Шарпана не было ни одной. Пришли старицы к щедрому благодетелю с великим горем своим: со дня на день ожидают они за Волгу петербургского генерала; значит, скоро будет скитам конец положен, скоро настанет падение славного Керженца, скоро настанет мерзость запустения на месте святе. Молча слушает Илья Авксентьич жалобы и плач черноризниц на бедность и нужды, что их впереди ожидают, но равнодушно глядит на слезные токи, что обильно текут по бледным ланитам скорбных матерей. Молчит, а сам по пакетикам пальцами постукивает.

– Хоть бы наш скит, к примеру, взять, – плачется величая, смуглая, сухощавая мать Маргарита оленевская, игуменья знаменитой обители Анфисы Колычевой. – У нас в Оленеве больших и малых обителей восемнадцать да сорок сиротских домов. Стариц да белиц будет за тысячу, это одних «лицевых», которы, значит, по паспортам проживают; потаенных еще сотни две наберется. Жили мы, благодаря первее Бога, а по нем христоролюбивых благодетелей, тихо и безмятежно; всем удовлетворены, забот мирских не знавали, одна у всех была забота: Бога молить за своих благодетелей и о всемирной тишине. А теперь с котомками по чужим сторонам нам брести доводится, Христовым именем под оконом питаться! В Комарове такое ж число наберется; в Улангере положить хоть наполовину, а по всем скитам с сиротами нашей сестры тысячи за три наберется. Как нам будет жить на чужой стороне с чужими людьми незнакомыми? Особливо старушкам в преклонным годах. Великое горе, несчастная доля всем нам предстоит! А как того горя избыть, сами не знаем. Одно упование на Царицу Небесную да на наших благодетелей, что не забывают нища, стара и убога. А ежели и они забвению нас предадут, погибнем, аки червь.

– Да ведь слышно, матушка, что вас по своим местам разошлют, на родину, значит. Какие ни на есть сродники ведь тоже у каждой найдутся, они не оставят родных, – сказал высокий, седой, сановитый ивановский фабрикант Старожилов.

¹⁴⁹ Лубянками зовут каменные корпуса лавок, преимущественно с красным товаром, построенные между Обводным каналом и шоссе. Зовут их также Ивановскими (по фабричному селу Иванову).

– Ах, Артемий Захарыч, Артемий Захарыч! Какая родина, какие сродники! – возразила ему мать Маргарита. – У нас по всему Керженцу исстари такое заведение бывало, чтобы дальним уроженкам в ближние к нам города и волости переписываться, поближе бы пачпорта было выправлять. И зачастую бывает, что в том городе али волости не токма сродников, и знакомых-то нет никого. А которые хоть и остались приписаны к родине, кого они там найдут? Ведь каждая, почесть, сызмальства живет в обители, иная, может быть, лет пятьдесят на родине-то и не бывала, сродники-то у ней примерли, а которые вновь родились, те все одно что чужие.

– Пожалуй, что и так, – подумав маленько, согласился Старожилов и смолк.

– Иваныч! – крикнул хозяин.

Вошел тучный, лысый приказчик, что за самоваром сидел. Илья Авксентьич подманил его пальцем; приказчик наклонился, и хозяин пошептал ему что-то на ухо.

– Слушаю-с, – тихо молвил приказчик, взял со стола пакеты и унес их.

– А опять теперь насчет строения, – скорбно заговорила мать Юдифа улангерская. – Сломают, и все пропадет ни за денежку. Кому лес продавать и другое прочее, что от часовен да келий останется? Мужикам не надо, у них у каждого свой хороший дом. Так задаром и погниет все добро наше, так и разорятся веками насиженные наши гнездышки. И помыслить-то тяжко!.. Вспадет на ум, так сердце кровью обольется... А с нами что станется, как придет час разоренья? Хоть бы прибрал заранее Христос, Царь Небесный, не видать бы нам беды неизбывной.

Под это слово приказчик вошел и подал Илье Авксентьичу пакеты. Тот положил их на столик и по-прежнему, слова не молвя, стал по ним барабанить.

– На своз бы кому продали, – в ответ Юдифе тихо, чуть слышно промолвил приземистый, седенький, рябоватый, с болезненно слезящимися глазками, московский купец Порохонин.

Был человек он богатый, на Кяхте торговлю с китайцами вел, не одна тысяча цибиков у него на Сибирской¹⁵⁰ с чаем стояла, а в Панском гуртовом – горы плисов, масляных да мезеричих сукон ради меня с Китаем лежали.

– Продать-то кому, милосердый благодетель Никифор Васильич? Покупщиков-то где взять? – молвила ему мать Юдифа. – Окольным мужикам, говорю вам, не надо, да и денег у них таких нет, чтобы все искупить. А далеко везти – кто повезет? Вот здесь в городу и много стройки идет, да кто повезет сюда за сотню без малого верст? Провоз-от дороже леса станет. Нет уж, гноить надо будет, девать больше некуда. Хорошо еще тем скитам, что поблизости нашего городка стоят, там еще можно, пожалуй, сбыть, хоть тоже с большими убытками.

– Да, слезовое ваше дело, – горько вздыхая, с участием промолвил Никифор Васильич.

– Поистине слезовое, – согласился и Старожилов.

Стали высказывать матерям свое участие и другие гости: здоровенный, ростом в косую сажень, непомерной силищи, Яков Панкратыч Столетов, туляк, приехавший с самоварами, подсвечниками, паникадилами и другим скобяным товаром; приземистый, худенький, седой старичок из Коломны Петр Андреяныч Сушили́н – восемь барж с хлебом у него на Софроновской¹⁵¹ было, и толстый казанский купчина с длинной, широкой, во всю богатырскую грудь, седой бородой, оптовый торговец сафьяном Дмитрий Иваныч Насекин. Ласковыми речами стараются они хоть сколько-нибудь облегчить горе злополучных стариц; один хозяин ни слова.

– Жили мы жили, не знали ни бед, ни напастей, – на каждом слове судорожно всхлипывая, стала говорить мать Таисея комаровская, игуменья обители Бояркиных. – Тихо мы жизнь провождали в трудах и молитвах, зла никому не творили, а во дни озлоблений на Господа печаль возверзали, молясь за обидящих и творящих напасти. А ныне Богу попускающе, врагу же действующу, презельная буря воздвигается на безмятежное наше жительство. Где голову

¹⁵⁰ Сибирская пристань на Волге возле Макарьевской ярманки; там громадные склады кяхтинских чаев.

¹⁵¹ Софроновская пристань на городской стороне, на самом устье Оки, против ярманки. Там становятся караваны с зерновым хлебом.

приклоним, как жизненный путь свой dokonчим?.. В горе, в бедах, в горьких великих напастях!..

И, зарыдав, закрыла руками лицо. Другие матери тоже заплакали. Купцы утешают их, но Сырохватов, как и прежде, ни слова, молчит себе да пальцами постукивает по пакетам.

– Иваныч! – крикнул он.

Опять вошел толстый приказчик, опять что-то шепнул ему хозяин, и опять тот, взявши пакеты, из комнаты вон вышел.

Мать Таисея меж тем жалобы свои продолжала:

– Красота-то где будет церковная? Ведь без малого двести годов сияла она в наших часовнях, двести годов творились в них молитвы по древнему чину за всех христиан православных... И того лишиться должны!.. Распудится наше словесное стадо, смолкнет пение за вся человеки и к тому не обновится... Древнее молчание настанет... В вертепах и пропастях земных за имя Христово придется нам укрываться...

Вошел приказчик и, положив на столик пакеты, тотчас удалился. Ни слова, ни взгляда хозяин ему. Стучит по-прежнему пальцами по новым пакетам.

Долго еще Таисея жалобилась с плачем на скитские напасти. Встал наконец с места Илья Авксентийч и, взявши пакеты, сказал матерям:

– Вам, матери, надо теперь, поди, у других христиан побывать, да и мне не досужно. Вот вам покамест. – И, набожно перекрестясь, подал каждой старице по пакету. – Перед окончанием ярманки приходите прощаться, я отъезжаю двадцать седьмого, побывайте накануне отъезда, тогда мне свободнее будет.

В ноги поклонились матери благодетелю, а потом сотворили начал на отход свой.

– К нам, честные матери, милости просим, – молвил Петр Андреич Сушили. – На хлебный караван на Софроновской пристани пожалуйста. В третьей барже от нижнего края проживание имеем. Всякий дорогу укажет, спросите только Сушили. Не оставьте своим посещением, сделайте милость.

– Благодарим покорно за ваше неоставление, – отвечала за всех Маргарита оленевская, и все старицы поклонились Сушилину великим обычаем.

– И меня не забудьте, – примолвил Старожилов. – Мы отсель недалече, всего через лавку.

– Не преминем, благодетель Артемий Захарыч, безотменно побываем, – сказала мать Маргарита.

И перед Старожиловым сотворила матери уставное метание.

– Нас-то, матушки, не обойдите, нас не оставьте своим посещением, – молвил старик Порохонин. – В Панском гуртовом по второй линии. Знаете?

– Как не знать, Никифор Васильич, – сказала Маргарита. – Старинные благодетели никогда не оставляли нас, убогих, великими своими милостями. Благодарим вас покорно.

И ему сотворили метание.

– И к нам в лавку милости просим, – пробасил купец-исполин Яков Панкратыч Столетов. – Возле флагов, на самом шоссе в Скобяном ряду. Не оставьте!..

И его благодарит мать Маргарита оленевская, и ему все матери творят метания. С тем и вышли они вон из палатки.

За матерями один по другому пошли и купцы; остался один туляк-богатырь Яков Панкратыч Столетов.

Сойдя с лестницы, встретил Сушили сырохватовского приказчика.

– Зачем это ты, Петр Иваныч, пакетцы-то менял? – спросил он у него, поглаживая свою жиденькую седенькую бородку.

– Надо полагать, оченно уж разжалобили хозяина-то. Спервоначалу велел в каждый пакет по радужной положить, потом по двести велел, а под конец разговора по триста.

– Ишь ты! – молвил хлебный торговец. – По триста!.. Вон оно как!

И, задумавшись, пошел вон из лавки.

– А что, Яша? Дернем? – спросил Илья Авксентьич у Столетова, когда они остались один на один.

– Пожалуй! – равнодушно пробасил Столетов.

– К Бубнову, что ли? К цыганам?

– Ладно.

– А с полночи закатимся?

– Пожалуй.

– К Кузнецову аль к Затыкевичу?

– Куда повезешь, туда и поеду.

– Да тебе, может, неохота?

– Эка выдумал! Одевайся-ка лучше, чем пустяки городить.

И закатились приятели до свету.

Глава двенадцатая

На другой день Великой пречистой третьему Спасу празднуют. Праздник тоже честной, хоть и поменьше Успеньева дня. По местам тот праздник кануном осени зовут; на него, говорят, ласточкам третий, последний отлет на зимовку за теплое море; на тот день, говорят, врач Демид¹⁵² на деревьях листву желтит. Сборщикам и сборщицам третий Спас кстати; знают издавна они, что по праздникам благодетели бывают добрей, подают щедрее.

Мать Таисея, обойдя приглашавших ее накануне купцов, у последнего была у Столетова. Выходя от него, повстречалась с Таифой – казначеей Манефиной обители. Обрадовались друг дружке, стали в сторонке от шумной езды и зачали одна другую расспрашивать, как идут дела. Таисея спросила Таифу, куда она пробирается. Та отвечала, что идет на Гребновскую пристань к Марку Данилычу Смолокурову.

С того года как Марко Данилыч отдал Дуню в Манефину обитель на воспитанье, Таифа бывала у него каждую ярманку в караване. Думала и теперь, что он по-прежнему там на одной из баржей проживает.

– Пойдем вместе, – молвила ей Таисея. – И я собиралась поклониться Марку Данилычу, да не знаю, где отыскать его.

– Пожалуй, пойдем, – согласилась Таифа, и старицы побрели по сыпучим наметанным у берега Оки пескам к Гребновской пристани.

Там не скоро добились, в коем месте стоит караван смолокуровский. По берегу кучками сидели рабочие с рыбных баржей разных хозяев, хлебая из уемистых ставцов квас с луком, огурцами и с краденой рыбной сушью. На спрос стариц ни слова они не сказали: некогда, мол, – рты на работе; один только паренек, других помоложе, жуя из всей силы, ложкой им указал на Оку. Спросили старицы у торговок, что сидели в шалашиках за прилавками, уставленными вареными рубцами, гороховым киселем, студенью и жареной картошкой. Торговки сказали, что не знают, какой такой Смолокуров и на свете-то есть. У ломовых¹⁵³, что с длинным рядом роспусков стояли вдоль берега, спросили инокини; те только головой потряхивают – не знаем, дескать, такого. Совсем выбились из сил, ходя по сыпучему песку; наконец какой-то добрый человек показал им на баржи, что стояли далеко от берега, чуть не на самом стрежне реки.

Притомились матери, приустиали, чуть не битый час бродючи по глубокому песку, раскаленному солнпеком. Рады были они радехоньки, когда, порядив паренька свезти их на задний караван, уселись в его ботничок, залитый наполовину водою. Подплыв к крайней барже смолокуровского каравана, видят матери, у борта стоит и уплетает один за другим толстые арбузные ломти долговязый, незнакомый им человек. В пропитанном жиром нанковом длиннополом сюртуке, с сережкой в ухе, с грязным бумажным платком на шее, стало быть, не ихнего поля ягода, не ихнего согласу, по всем приметам, никонианец. Ревнитель древлего благочестия плата на шею не наматает и серьги в ухо не вденет...

Обратилась к нему Таифа с вопросом:

– Господин честной, это Марка Данилыча караван? Смолокурова?

А господин честной, ровно ничего не видит и ничего не слышит, уплетает себе арбуз да зернышки в воду выплевывает.

– Это, мол, смолокуровские баржи али где в ином месте стоят? – немножко погодя опять спросила Таифа.

Головой лишь кивнул и, только когда покончил с арбузом, грубо ответил:

– Здесь смолокуровский караван.

¹⁵² Августа 16 празднуют св. врачу Диомиду.

¹⁵³ Извозчиков.

– Марка Данилыча бы нам повидать.

– А на што вам его? – облокотясь о борт руками и свесив голову, спросил долговязый. – Ежели по какому делу, так нашу честь прежде спросите. Мы, значит, здесь главным, потому что весь караван на отчете у Василия Фадеича, у нас, это значит.

– Нам бы самого хозяина. До него самого есть дельце, – ответила на то мать Таифа.

– Этого никак невозможно, – сказал, ломаясь, Василий Фадеев. – Самого хозяина вам в караване видеть ни в каком разе нельзя. А ежели у вас какая есть к нему просимость, так просим милости ко мне в казенку; мы всякое дело можем в наилучшем виде обделать, потому что мы самый главный приказчик и весь караван на нашем отчете.

– Да нет, нам бы самого Марка Данилыча, – настаивала Таифа. – Наше дело не торговое.

– А какое же ваше дело? – вытянув шею, с любопытством спросил Василий Фадеев. – Объясните мне вашу просимость, а я совет могу подать, как вам подойти к Марку Данилычу. Ведь с ним говорить-то надо умеючи.

– Да мы не впервые, давно его знаем, умеем, как говорить, – молвила Таифа.

– Да вы из каких мест будете? – спросил Василий Фадеев.

– Из-за Волги, родной, из Комарова, – ответила Таисея.

– Та-а-ак-с, – протянул Василий Фадеев. – Из-за Волги, из Комарова... Не слыхивал про такой... Это город, что ли, какой, Комаров-от?

– Монастырь старообрядский, – объяснила Таифа.

– Та-а-ак! По-нашему, значит, раскольниковый скит? Что ж вы там попи́те, что ли? Ведь у вас, слышь, там девки да бабы за попов служат? – глумился над матерями Василий Фадеев.

Они промолчали, смолк и Фадеев. Немножко погода зевнул он во весь рот, громогласно прокашлялся и молча стал приглядываться к чему-то на берегу.

– Так как же бы нам, Василий Фадеич, Марка-то Данилыча повидать? – заискивающим голосом спросила Таифа. – Сделайте милость, скажите, дома он или отъехал куда с каравана?

– Этого знать я не могу, – нехотя ответил приказчик и снова зевнул.

– Да на которой барже он проживает? – приставала Таифа.

Промычал что-то под нос себе Василий Фадеев. Матери не расслышали.

– Что изволили сказать? – переспросила Таифа.

Злобно откинулся от борта Василий Фадеев и злобно крикнул на них:

– Убирайтесь, покамест целы!.. Убирайтесь, говорю вам, не то велю шестами по вашему ботничкишку... Искушаетесь тогда у меня!

– Да что это ты, батько, сердитый какой? – возвысила голос Таифа. – Не к тебе приехали, а к хозяину, тебя честью просим.

– Сказано, убирайтесь!.. – во всю мочь закричал Фадеев. – И говорить не хочу с вами, чертовы угодницы!

И плюнул в ботник, а затем быстро прошел в свою казенку.

– Поезжай, паренек, вдоль каравана, авось добьемся толку, – молвила Таифа, и ботник поплыл вниз по реке.

На крайней барже у самой кормы сидел на рогожке плечистый рабочий. Лапоть он плел, а рядом с ним сидел грамотный подросток Софронко, держа стрепанный клочок какой-то книжки. С трудом разбирая слова, читал он вслух про святые места да про Афонскую гору. Разлегшись по палубе, широко раскинувши ноги и подпирая ладонями бороды, с десяток бурлаков жарили спины на солнопеке и прислушивались к чтению Софронки.

– На которой барже Марко Данилыч живет? – спросила Таифа, поравнявшись с ними.

– Ни на коей не живет он, матушка, – положив лапоть, добродушно ответил дядя Архип. – В городу проживает, в гостинице.

– Как так? – удивилась Таифа. – Да он доселе каждую ярманку живал в караване.

– Дочку привез, – сказал дядя Архип, – с дочкой, слышь, прибыл. Как же ей здесь прожить с нашим братом бурлаком, в такой грязи да в вонище? Для того и нанял в гостинице хорошу хватуру.

Обрадовались матери. Любили они добрую, нежную Дуню.

– А в какой же гостинице он пристал? – спросила Таифа.

Не сумел дядя Архип путем о том рассказать, не умели и другие бурлаки, что теперь, повскакав с палубы, столпились вдоль борта разглядывать стариц. Только и узнали матери, что живет Смолокуров на Нижнем базаре, а в какой гостинице, Господь его знает.

Пошли они на Нижний базар. По дороге купили по душистой дыне да по десятку румяных персиков на поклон Дунюшке, oprичь поясков, шитой шелками покрывки на стол и других скитских рукоделий. Опытная в обительском хозяйстве Таифа знала, что скупой сам по себе Марко Данилыч за всякую ласку дочери не пожалеет ничего. Добрались они, наконец, до его квартиры.

Радужно встретил Смолокуров старую знакомую, мать Таифу. Узнав, что она уж с неделю живет у Макарья, попенял ей, что до сей поры у него не побывала, попрекнул даже, что, видно, де, у ней на ярманке и без него знакомых много. И мать Таисею ласково принял.

Про Дуню спросила Таифа и про Дарью Сергевну.

– Обе здесь со мной, – отвечал Смолокуров. – Чутьку их не захватили, в гости пошли ненадолго. С женой да дочерьми приехал сюда приятель мой Доронин, Зиновей Алексеич, хлебом торгует.

– Довольно знаем и Зиновья Алексеича, и Татьяну Андревну, и девиц ихних, – отвечала Таифа. – Не раз у них гащивала, как они еще на мельнице жили.

– К ним вот и пошли мои, – молвил Марко Данилыч. – Девицы-то подружки Дунюшке, одна ровесница, другая годком постарше. Вместе-то им, знаете, охотнее. Каждый день либо моя у них, либо они у нас. Молодое дело, нельзя.

– Известно, – согласилась Таифа. – Выросла, поди, Дунюшка-то, похорошела? – прибавила мать казначея, умильно поглядывая на Марка Данилыча.

– Как, матушка, не вырасти, года такие. Старое-то старится, молодое растет, – с лаской молвил в ответ Смолокуров. – А мы и у вас маленько погостили на старом Дунюшкином пепелище... Вас-то, матушка, только не захватили.

– Уж как я жалела, как жалела, Марко Данилыч, что не привел Господь вас с Дунюшкой-то с вашей в обители видеть... Дела-то ведь у нас, знаете, какие...

– Знаю, матушка, все знаю, – ответил с участием Марко Данилыч. – Из Питера-то не привезли ли чего утешительного? Там-то как смотрят на ваше дело?

– Дело наше, Марко Данилыч, как есть совсем пропащее, – с глубоким вздохом отвечала Таифа, и слезы сверкнули на ее скорбных глазах. – Выгонки не избыть никакими судьбами... Разорят наш Керженец беспрерменно, бревнышка не останется от обители. И ровно буйным ветром разнесет всех нас по лицу земли. Горькая доля, Марко Данилыч, самая горькая...

И громко зарыдала. Мать Таисея, глядя на Таифу, тоже заплакала.

– Не покинет Господь своей милостью вас, – утешает матерей Марко Данилыч. – Не плакать, Богу надо молиться, на него возложить упование.

– Кто ж у нас и прибежище, как не Господь Царь Небесный? – утирая слезы, сказала Таифа. – На него да на Заступницу нашу, Пресвятую Богородицу, все упование возлагаем.

– Стало, все и будет по-хорошему, – молвил Марко Данилыч. – На Бога, матушка, полóжишься, так не обложишься. Господь-от ведь все к лучшему строит, стало быть, плакать да убиваться вам тут еще нечего. Может, еще лучше будет вам.

– Куда уж лучше, Марко Данилыч! О лучшем-то нечего и помышлять, – сказала Таифа. – Хоть бы в вере-то Господь сохранил, а то вон ведь какие напасти у нас пошли: в единоверческую многие хотят...

– Полноте, матушка! – вскрикнул Смолокуров.

– Не лгу, благодетель, – горяча сказала Таифа. – Есть хромые души, что паче Бога и отеческой веры возлюбили широкое, пространное житие, мало помышляя о вечном спасении. Осиновские матери к единоверью склоняются, и в Керженском скиту сам отец Тарасий начал прихрамывать.

– Не может того быть, матушка, – решительно сказал Марко Данилыч. – В жизнь не поверю...

– И мы, благодетель, не давали веры, да вот на правду стало походить, – молвила Таифа.

– С чего ж это они? – спросил Смолокуров.

– Славы мира, должно быть, восхотели, тесного пути не желают, пространным шествовать хотят.

– А куда пространный-то путь приведет их? – покачав головой, воскликнул Марко Данилыч.

– То не неведомо им, благодетель, – с грустью сказала Таифа. – Люди они умные, слову Божию наученные, начетчики великие.

– Ах, дела, дела!.. Какие дела-то у вас деются, – в недоумении качая головой, говорил Смолокуров.

– Да, батюшка, Марко Данилыч, дожили мы до слезовых дней, – отвечала Таифа. – Думано ли, гадаю ли было?... Какие бы, кажется, столпы благочестия были? Адаманты! А вот что вышло. Истину глаголет Писание: «Несть правды под небесами».

И замолчали. И немалое время в кручинной думе сидели.

– Как матушка Манефа поживает? – спросил, наконец, Марко Данилыч.

– Плохо, благодетель, оченно даже плохо! – пригорюнясь, жалобно ответила мать Таифа. – У всех нас горе, а у ней вдвое... Слышали, может, про неприятности, что после вашего посещения у нас случились?

– Какие, матушка? – спросил Марко Данилыч.

– Про племянненку-то про нашу любезную, про толстуху-то нашу, Прасковью Патаповну, нешто не слыхали? – спросила Таифа.

– Замуж вышла, – сказал Марко Данилыч.

– Головушку с плеч снесла матушке! – со слезами стала говорить Таифа. – Во гроб уложила!.. Вот чем заплатила за любовь ее и за все попечения. Души в племянненке матушка не чаяла, и что же теперь? Одна горе принесла – преставилась, другая всю обитель осрамила, позор навела и на матушку... Потерпи ей Господи за такое озлобление... И одно за другим: Марья Гавриловна без бытности матушки сбежала, потом родная племянница замуж уходом ушла!.. Слава-то ведь какая пойдет теперь про нашу обитель! Никогда таких бесчиний в ней не бывало, а теперь и вдовы, и девицы замуж сбегают да еще венчаются по-никониански... А тут еще горестные-то наши обстоятельства да еще отпадение от веры в Осинках и в Керженском!.. Тут, батюшка Марко Данилыч, и не с таким здоровьем, как матушкино, до смертного часа недолго, а она ведь у нас на Пасхе-то все едино, что из мертвых восстала... Выдался годик, такой годик, что подай только Господи крепости да терпения!

– Патап-от Максимыч, слышь, ничего. Не больно гневился на дочку, а зятяка, говорят, возлюбил, – сказал Марко Данилыч.

– Что Патап Максимыч! – с горечью молвила Таифа. – Ему бы только самому было хорошо, о других он и думать забыл. Балагурить бы ему только да смехи разводять!.. Ежели ему жених по мысли приходился и дочку он за него замуж хотел выдать, ну и венчал бы как следует, честью. А то на-ко что устроили! Из обители выхватили девицу... Сраму-то что теперь! Соблазну-то! Почитали б вы, что Гусевы пишут из Москвы да Мартыновы, а они ведь наши первые по всей Москве благодетели. К вам, пишут, мы по духовному делу посланника послали, а вы его сосватали да женили... Иночское ли это дело свахами вам быть? – пишут... Каково

это сносить, благодетель?.. Сами посудите, Марко Данилыч. Как еще переносит наша матушка такие неприятности!

– Да как же это в самом деле жениться-то его угораздило? Поглядел я тогда на него, воды, кажись, не замутит, – сказал Марко Данилыч.

– А пес его знает, проклятика, как его, окаянного, угораздило! – вскрикнула в сердцах Таифа. – Известно, что без вражьей силы тут не обошлось. Выбрал окаянный себе нечистый сосуд в том проклятике... Колдунья одна есть, возле нашего скита проживает. Не раз она была приличена в волхвовании. Марья Гавриловна к ней же по утренним зарям тайно хаживала, а потом вот и сбежала... Кто знает? Может, и Параша с любезным своим к ней же бегивала?.. Не и́наче надо думать, что колдунья назло нашей матушке бесовскою силой все это дело оборудовала. Такое у нас рассуждение держат, и сама я так понимаю. Сжечь бы ее, еретицу поганую, и со всем бы домом ее. Угодное бы Господу то дело было. Ведь это хуже чумы. Хуже чумы, благодетель.

– Чего бы, мне кажется, много-то об этом заботиться матушке Манефе? – после недолгого молчанья сказал Марко Данилыч. – Ежели бы еще черница сбежала али канонница, ну так еще, пожалуй. А то ведь мирская девица, гостья. Никакого, по-моему, тут и сраму-то нет ни матушке, ни обители.

– Как же нет сраму, Марко Данилыч? – с горячностью перебила его Таифа. – Сохранить, значит, девицу не сумели, приглядеть не могли за ней. Разве это не стыд, разве не срам? А опять же этот Василий Борисыч, иссохнуть бы ему... Какую остуду у московских навел на нас! Теперь ведь по всему христианству про нас худая слава пронеслась. Вот, скажут, на Керженце-то какие дела делаются! Рогожских послов в великороссийской венчают!.. Помилуйте! А по нашим-то скитам? Нешто нет у нас завистниц, особливо по тем обителям, где вольненько живут? Матушка-то Манефа, сами знаете, старица строгая и над другими обителями держит верх. За непорядки, бывало, началит самих игумений... А теперь?.. Чего-чего теперь они не плетут на нас!.. Волос даже вянет...

– Все бы не след матушке убиваться, – сказал Марко Данилыч. – Кто довольно ее знает, то худа об ней не помыслит, а ежели непутные языки болтают, плюнуть на них, да и вся недолга.

– Хорошо так вам говорить, Марко Данилыч, – с горячностью молвила Таифа. – А из Москвы-то, из Москвы-то что пишут?.. И здесь, к кому ни зайдешь, тотчас с первого же слова про эту окаянную свадьбу расспросы начинаются... И смеются все. «Как это вы, спрашивают, рогожского-то посла сосватали?» Нет, Марко Данилыч, велика наша печаль. Это... это...

И, горько заплакав, Таифа замолчала.

– Жаль мне матушку. Очень жалко, – помолчав немного, молвил Марко Данилыч.

Не смеялся он теперь, как в то время, когда Самоквасов впервые рассказывал ему про свадьбу Василья Борисыча. Жалко ему стало Манефы и Таифу жаль; они ведь так пеклись о Дунюшке, так много любят ее.

– А у нас-то в обители, Марко Данилыч, какое дело сделалось, – начала, в свою очередь, жалобиться мать Таисея. – Помните, как на Петров-от день гостили вы у нас в Комарове, Самоквасов Петр Степаныч да панковский приказчик Семен Петрович были у нас?

– Помню, – сказал Марко Данилыч.

– В обители у нас приставали, – продолжала Таисея.

– Помню.

– После вашего отъезда еще с неделю прогостили. И вдруг Петр Степаныч ни с того ни с сего срядился и уехал.

– Здесь он теперь, – заметил Марко Данилыч.

– Вот видите, – сказала Таисея. – И Семен Петрович тоже уехал, оба даже не простившись. Очень было это тогда нам обидно, кажется, ничего худого от нас не видали, рады мы были им всей душой, и вдруг не простившись... Хорошо ли это с их стороны?

– Не хорошо, – сказал Смолокуров. – Люди молодые, ветер в голове...

– Да как же это не простясь-то? Помилуйте! Как же это возможно? Нешто так делается?

– Не делается, матушка, не делается, – ответил Марко Данилыч и вдруг, чтоб как-нибудь отвязаться от рассказов Таисеи, сказал: – Что ж это я? Хорош хозяин! Сколько времени толкуем, а нет чтобы чайком попотчевать дорогих гостей... Вот что значит без хозяек-то.

– Напрасно беспокоитесь, Марко Данилыч, сейчас от чаю, – отирая глаза, молвила Таифа.

– Сбери-ка нам, любезный человек, поскорее самоварчик, – приказал Смолокуров влетевшему на звонок коридорному.

– Сею секундой-с, – быстро ответил тот и вихрем полетел назад.

– Право, напрасно беспокоитесь, благодетель, – говорили старицы, но за чаем замолкли.

Когда Марко Данилыч распивал лянсин с матерями, бойко вошел развеселый Петр Степаныч. Здороваясь с хозяином, взглянул на стариц... «Батюшки светы! Мать Таисея! Вот встреча-то! И Таифа тут же. Ну, – думает себе Петр Степаныч, – как они про свадьбу-то разнюхали да про все Марку Данилычу рассказали!.. Пропадай тогда моя головушка долой!» И веселый вид его смутился. «Не прогнал бы, не запретил бы дочери знаться со мной», – думал он про себя.

Однако, притворяясь спокойным, с улыбкой обратился он к Таисее:

– Вот уж не думал, не гадал с вами встретиться, матушка. Как ваше спасение?¹⁵⁴ Все ли у вас здоровы?

– Слава Богу, поколь Господь грехам терпит, – молвила Таисея и тотчас же попрекнула Петра Степаныча: – А вы тогда на неделю от нас поехали да так и не бывали.

– Дела такие подошли, матушка, – озабоченно отвечал Самоквасов. – В Москве был, в Питер ездил, теперь вот здесь третью неделю живу. Нонешним годом, не знаю, вдругорядь-то и попаду ли я к вам.

– А в будущем-то не к кому, пожалуй, будет и приехать, – грустно промолвила мать Таисея.

– Как не к кому? Опять к вам же. Авось не прогоните? – сказал Самоквасов.

– Самих-то нас к тому времени разгонят на все четыре стороны, – тихо промолвила мать Таисея. – Приедешь в Комаров, ан нет Комарова. Пожалеешь, чать, тогда?

– Э, матушка, страшен сон, да милостив Бог, – сказал Самоквасов. – Поживете еще, а мы у вас погостим, как прежде бывало.

– Хорошо бы так, сударик мой, только этому не бывать... Последние дни доживаем...

– Полно вам, матушка, верного-то покамест еще никто не знает, – говорил Самоквасов.

– Как же нет верного? – возразила мать Таисея. – Генерал едет из Питера, строгий-настрогий. Как только наедет, тотчас нам и выгонка.

– Приедет, уедет, за ним другой приедет да уедет, а там и третий и четвертый. Бывали ведь и прежде не раз такие дела.

– Нет, Петр Степаныч, понапрасну не утешай. Дело наше кончено, и нет ему возврата, – сказала мать Таисея и смолкла.

Пока Самоквасов разговаривал с Таисеей, Марко Данилыч вел с Таифой речи про Дунюшку. Разговорясь про наряды, что купил ей на ярманке, похвалился дорогой шубой на черно-бурых лисицах. Таифе захотелось взглянуть на шубу, и Смолокуров повел ее в другую комнату, оставив Таисею с Петром Степанычем продолжать надоевшие ему хныканья о скитском разоренье.

– Ну, как поживали без меня, матушка? – обратился Самоквасов к Таисее.

– Ох, житье наше! – со вздохом отвечала она. – Такие дела были, что просто беда. На Казанскую, только что съехал ты со двора, и Семен-от Петрович пропал.

¹⁵⁴ Иноков и инокинь не спрашивают о здоровье, а всегда о спасении.

– Да ведь он со мной поехал, – подхватил Самоквасов, зорко глядя на мать Таисею.

– С тобой?.. А ведь мы думали... Да как же это с тобой? Ты ведь один на три, что ли, дня поехал. И не простился даже путем, сама до ворот тебя провожала... Я ведь помню хорошо, – говорила мать Таисея.

– К Жжениным заходил Сеня прощаться, а я заторопился, – нисколько не смущаясь, сказал Самоквасов. – От вас повернул было я к Жжениной обители, а Сеня навстречу, я его в тележку да и айда-пошел! Мы так завсегда... На живую руку.

– Вот оно что! – сказала Таисея. – Так это ты его умчал. А я таки на него погневалась, посерчала. Думаю, как же это так? Гостил, гостил, рады ему были ото всей души, всячески старались угодить, а он хоть бы плюнул.

– Моя вина, матушка, простите, ради Христа! – молвил на то Самоквасов. – Дело-то больно спешное вышло тогда. Сеня и то всю дорогу твердил, как ему было совестно не простившись уехать. Я в ответе, матушка, Сеня тут ни при чем.

– Ну Господь с тобой, – ласково сказала мать Таисея и, понизив голос, примолвила: – А ты только что уехал, беда-то какая у нас в Комарове стряслась!

– Что такое? – озабоченно спросил Самоквасов.

– Помнишь, матушка Манефа тогда в Шарпан уехала, а Василья-то Борисыча ко мне перевела на время отлучки. Он в тот самый день и пропади у нас, а тут неведомо какие люди Прасковью Патаповну умчали... Слышим после, а это он ее выкрал да у попа Сушилы и побрачился.

– Слышал я кой-что насчет этого, в Москве сказывали мне, – сказал Петр Степаныч. – Родители-то ведь, слышно, простили и зятя приняли в дом.

– Верно, сударь мой, верно, – подтвердила мать Таисея. – А вышло на поверку, что все это дело самого Патапа Максимыча. Наперед у него все было слажено...

– Полноте, матушка! – возразил удивленный Петр Степаныч. – Зачем же бы ему после того свадьбу уходом справлять?

– Экой недогадливый, – усмехнулась мать Таисея. – Будто не может и понять?.. А помнишь мои речи, что говорила я тебе на черствые твои именины?

– Какие, матушка? Что-то не припомню, – ответил Самоквасов.

– Про Дунюшку-то, про Авдотью-то Марковну, – шепнула она ему на ухо. – Забыл небось?

Смутился маленько, но не выдал себя Самоквасов.

– Что ж? – спросил он игуменью.

– А то, что ежели мои речи походят на правду, так стану я Марку Данилычу советовать, венчал бы тебя в великороссийской.

– Своих-то попов разве у нас нет? – с улыбкой возразил Самоквасов.

– А чтобы венец-от у тебя на голове покрепче держался. Вот для чего.

– Не понимаю, матушка, не знаю, к чему ваши речи, – сказал Самоквасов.

– А к тому мои речи, что все вы ноне стали ветрогоны, – молвила мать Таисея. – Иной женится, да как надоест жена, он ее и бросит, да и женится на другой. Много бывало таких. Ежели наш поп венчал, как доказать ей, что она венчана жена? В какие книги брак-от записан? А как в великороссийской повенчались, так уж тут, брат, шалишь, тут не бросишь жены, что истопку¹⁵⁵ с ноги. Понял?

– Понять-то понял, а все-таки придумать не могу, что за надобность Патапу Максимычу была уходом дочернюю свадьбу играть, – молвил Самоквасов.

¹⁵⁵ Истоптанный лапоть.

– Честью дочь отдавать да у церковного попа венчать ему нельзя, – внушительно сказала мать Таисея. – По торговым делам остуду мог бы принять. Разориться, пожалуй, мог бы!.. А как уходом-то свадьба свенчана, так он перед обществом не в ответе. Понял?

– Вон оно что! – молвил Петр Степаныч. А сам думает: «Ай да матери! Этого бы нам с Сеней в год не выдумать». Таифа вспала ему на ум – толкует она там с Марком Данилычем да вдруг как брякнет что-нибудь про ту свадьбу... Потому и спросил Таисею, каких мыслей о том матушка Манефа.

– Таких же, как и все, – ответила Таисея. – Сначала-то в недоуменье была, и на того думала, и на другого; чего греха таить, мекала и на тебя, и как приехала из Питера Таифа, так все это дело и распутала, как по ниточкам. А потом и сам Патап Максимыч сказывал, что давно Василья Борисыча в зятя себе прочил.

«Эка умница какая мать-то Таифа! – подумал Петр Степаныч. – Надо будет купить ей ковровый платок».

– Стало быть, матушка Манефа теперь успокоилась? Не убивается, как давеча говорила мать Таифа? – мало погода, спросил Самоквасов.

– Как же это не убиваться, сударь ты мой, как ей не убиваться? – отвечала Таисея. – Ведь ославилась обитель-то. То вдова сбежит, то девку выкрадут!.. Конечно, все это было, когда матушка в отлучке находилась, да ведь станут ли о том рассуждать?.. Очень убивает это матушку Манефу. А тут еще и Фленушка-то у нее.

– А что такое? – быстро спросил Петр Степаныч.

– Господь ее знает, что такое с ней приключилось: сначала постричься хотела, потом руки на себя наложить, тоска с чего-то на нее напала, а теперь грешным делом испивать зачала.

– Славная шубка, славная! – говорила Таифа, выходя в это время из Дуниной комнаты с Марком Данилычем. – Отродясь такой еще не видывала. Да и все приданство бесподобное.

Петр Степаныч наскоро простился с Марком Данилычем.

Сумрачен, пасмурен вышел и тихо пошел, не размышляя куда и зачем. Молча и дико смотрит вокруг, и все ему кажется в желтом каком-то тумане. Шумный говор, громкие крики людей, стук и скрип тяжело нагруженных возов, резкий пронзительный стук целых обозов с железом – не слышны ему. Холод по телу его пробегал, хоть знойный полдень в то время палил.

Острою, жгучею болью, ровно стрелой, пронзило сердце его, когда узнал он про Фленушку... «Бедная, бедная!..» – думает. И вспоминает.

Вот она, легкая станом, чудной прелести девушка, резво, будто на крыльях, несется вдоль по зеленому всполью. Едва поспеваешь за ней, достигнуть нет сил. Вот перелесок, и в прохладной тени, на сочной, пушистой траве вдруг упала, лежит недвижимо, пурпурные губки раскрыв. Темные очи из-под густых соболиных бровей, звездами сверкнув, на минуту закрылись. Подбежал и как вкопанный стал, жадно смотря на ее красоту. Чуть-чуть слегка развела белоснежные руки, открыла глаза – они затуманены негой. Вот низко наклонился он над пылающим лицом, хочет сорвать поцелуй, но, как будто бы резвая птичка, она встрепенулась и резвого бежит...

Вот сидит он в мрачном раздумье, склонясь над столом, в светелке Манефы. Тихо, безмолвно, беззвучно. Двери настежь, и с ясным радостным смехом птичкой влетела она. Шаловлива, игрива, как рыбка, быстро она подбежала, обвила его шею руками, осияла очами, полными ясных лучей, и уста их слились. Сам не помня себя, вскочил он, но, как сон, как виденье, исчезла она.

Вот в знойный полдень на всполье она на Каменном Вражке, в кругу подруг молодых, под надзором двух стариц смиренных и сонных. Чинно, чуть слышно девицы беседу между собою ведут, шепотом молитву творят инокини, ради отгнания «срящего беса полуденного». Вдруг у ней загорелись ланиты, темные очи зажглись, как огни. Руки в боки, и лихая веселая

песня раздалась по долине. Мечутся матери, хотят унять проказницу... Остановишь ли в поле ветер, удержишь ли водный поток? Одни за другим пристают голоса, звучит песня громче и громче, заглушая крикливую брань матерей.

Вот, сидя возле него, нежно смотрит она ему в очи, играет кудрями, треплет по румяной щеке и целует... Едва переводя дух, шепчет он ей о любви, шепчет страстные моления; но чуть резкий порыв, чуть смелое движение – хлоп по лбу ладонью, и была такова.

По три года каждым летом в Комарове он гащивал. Каждый Божий день увещал, уговаривал ее повенчаться, каждый раз обещалась она, но до другого года откладывала. А как после дедовой кончины сам себе хозяином стал, наотрез ему отказала. «Побáловались и шабаш, – она молвила, – и мне, и тебе свой путь-дорога, ищи невесту хорошую». Пугала, что будет злою женой, неугодливой.

И запила! Бедная Фленушка, бедная!

Идет да идет Петр Степаныч, думы свои думая. Фленушка из мыслей у него не выходит. Трепетанье минувшей любви в пораженном нежданным известием сердце. Горит голова, туманится в глазах, по телу дрожь пробегает.

Идет, идет и на гору поднялся. Вот уж он внутри кремля, на венце Часовой горы.

Внизу, под крутой высокой горой, широкий съезд, ниже его за решеткой густо разросшийся сад, в нем одинокая златоглавая церковь. Еще ниже зубчатой каменной лентой смелыми уступами сбегает с высоты древние кремлевские стены и тянутся понизу вдоль берега Волги. Круглые башни с бойницами, узенькие окна из давно забытых проходов внутри стены, крытые проемы¹⁵⁶ среди шумной кипучей жизни нового напоминают времена стародавние, когда и стены, и башни служили оплотом русской земли, когда кипели здесь лихие битвы да молодецкие дела. Еще ниже стен виднеются кучи друг над другом возвышающихся кирпичных домов, а под ними важно, горделиво и будто лениво струится широкая синяя Волга. Влево, за множеством домов, церквей, часовен и бесчисленных торговых лавок, виднеется мутно-желтая Ока. Не уже она своей матери Волги, но, сплошь заставленная стройными рядами разного вида и устройства судов, почти не видна. За Окой в тумане пыли чуть видны здания ярманки, бесчисленные ряды лавок, громадные церкви, флажные столбы, трех- и четырехэтажные гостиницы, китайские киоски, персидский караван, минарет татарской мечети и скромный куполок армянской церкви, каналы, мосты, бульвары, водоподъемная башня, множество домов каменных, очень мало деревянных и один железный.

То и дело взад и вперед, вверх и вниз по Волге, пыхтя черными клубами дыма, бегут пароходы. Дробя речные струи на седые волны и серебристую пыль, поражая слух нескончаемыми свистками, мчатся они мимо города. Нигде по России, ни в Петербурге, ни в Одессе, ни в Кронштадте, ни в других приморских портах никогда одновременно не бывает и третьей доли стольких пароходов¹⁵⁷ и стольких парусных судов. Это внутренний русский порт, как называл его Петр Великий. А за широким раздольем Волги иной широкий простор расстилается. Зеленые заливные луга, там и сям прорезанные серебристыми озерами и речками, за ними ряды селений, почти слившихся одни с другими, а среди их белые церкви с золочеными и зелеными верхами. А за теми за церквами и за теми деревнями леса, леса и леса. Темным кряжем далеко они протянулись, и с Часовой горы не видать ни конца им, ни краю. Леса, леса и леса!

Ни города, ни ярманки, ни Волги с Окой, ни судов не видит Петр Степаныч. Не слышит он ни городского шума, ни свиста пароходов, не видит широко разостлавшихся зеленых лугов. Одно только видит: леса, леса и леса. Там в их глуши есть Каменный Вражек, там бедная, бедная Фленушка.

Солнце стояло еще высоко, как Петр Степаныч спешно скакал к перевозу.

¹⁵⁶ Амбразуры.

¹⁵⁷ Их теперь по Волге с притоками плавают больше пятисот, и для всех почти их рейсов целью служит устье Оки.

Привез с того берега перевозный пароход толпу народа, притащил за собой и паром с возами. Только что сошел с них народ, Петр Степаныч туда чуть не бегом. Тройку с тарантасом, что взял он на вольной почте, первую на паром поставили. Когда смеркаться стало, он уже ехал в лесах.

Про Дуню Смолокурову ни думы, ни помину. Ровно и на свете ее не бывало.

Глава тринадцатая

Тотчас по уходе Самоквасова воротилась Дуня с названою тетенькой. Обе были рады керженским гостям.

За полдень было. Марко Данилыч распорядился обедом. Старицы, как водится, стали чиниться, от хлеба, от соли отказываться, уверять, что обедали.

Марко Данилыч им свое говорил:

– Сўпротив сытости не спорим, а позора на меня не кладите. Как это мне возможно вас отпустить без обеда? Сами недавно у вас угощались, и вдруг без хлеба, без соли вас пустим! Нельзя. Извольте оставаться; в гостях – что в неволе; у себя как хочешь, а в гостях как велят. Покорнейше просим.

– Да как же это, Марко Данилыч? – молвила мать Таисея. – Нам, сущим во ангельском чину, не подобало бы в «корчемнице» пищу принимать.

– Здесь, матушка, не корчемница, станете кушать в дому у меня, – ответил на то Марко Данилыч.

С таким хозяином матерям не стать было спорить. Нечего делать, остались.

И не раскаялись. Перед обедом Дарья Сергевна поставила закусочку из рыбных запасов богатого рыбника ради домашнего обихода. Была тут разная икра, и стерляжья, и белужья, и севрюжья, и осетровая, вислая спинка белой рыбицы, вяленая севрюжья тешка, копченая стерлядь и сочные уральские балыки. А за обедом поставили борщевое ботвинье с малосольной белужиной, стерляжью уху с налимьими печенками, расстегаи с жирами да с молоками, заливную осетрину, какой у Макарья не вдруг сыскать, жареного леща, начиненного яйцами, да крупных карасей в сметане. Хорошо едят по скитам, а таких обедов, каким угостил матерей Марко Данилыч, сама Таифа не то что на Керженце, ни в Москве, ни в Питере, у самых богатых людей не видывала. После обеда долго чай распивали.

Маленько соснувши, Марко Данилыч на караван поехал.

Таисея ушла по каким-то своим делам, осталась Таифа с Дуней да с названою тетенькой ее.

Плакалась Таифа на грозящие беды, жалобилась на тяжкое обстояние и, зная, что собеседницы из избы сору не вынесут, принялась рассказывать, как мать Манефа по совету с нею полагает устроиться после выгонки.

– Еще будучи в Питере, – говорила Таифа, – отписала я матушке, что хотя, конечно, и жаль будет с Комаровом расстаться, однако ж вконец сокрушаться не след. Доподлинно узнала я, что выгонка будет такая же, какова была на Иргизе. Часовни, моленные, кельи порушат, но хозяйства не тронут. Все останется при нас. Как-нибудь проживем. В нашем городке матушка места купила. После Ильина дня хотела туда и кельи перевозить, да вот эти неприятности, да матушкины болезни задержали...

– Какие неприятности? – спросила Дуня.

– А про свадьбы-то наши разве вестей до вас не доходило? – отозвалась Таифа.

– Это про Парашину-то? – с участием и печально промолвила Дарья Сергевна.

– Да, – отвечала Таифа. – И Прасковья Патаповна, и Марья Гавриловна! Срамом покрыли обитель, ославили нас! Каково было это вынести матушке!.. А все братец родимый, Патап Максимыч.

– Он при чем же тут? – с живым любопытством спросила Дарья Сергевна.

– Его, сударыня, затейки, ничьи что его, – досадливо отвечала Таифа. – Теперь, слышь, хохочет, со смеху помирает. Любо, вишь, ему.

– Кажись бы, человек он такой обстоятельный и по вере ревнитель, – в недоумение качая головой, молвила Дарья Сергевна.

– По карману он, сударыня, ревнитель, а не по вере, – досадливо сказала на то мать Таифа. – Погряз в мирских делах, о духовных же не радит.

Стала Дарья Сергевна расспрашивать про заволжских знакомых. Дуня про Аграфену Петровну спросила ее.

– Здесь ведь Грунюшка-то, – ответила ей мать Таифа. – Вечером мы с ней повстречались. В лавку к себе зазвала, погостила я маленько у них.

– Где она? Как ее отыскать? – радостно вскрикнула Дунюшка.

– С мужем приехала, с Иваном Григорьичем, а пристала не в ярманке, а у ихнего годового приказчика, где-то на Почайне.

– В чьем доме?

– А вот уж это я и не знаю, любезенькая, – отвечала Таифа. – Знаю только, что третий дом от угла. Завтра собираюсь у ней побывать.

– Скажите, матушка, ей, чтоб она у нас побывала, – сказала Дуня, и вся покраснелась, а глаза так и блестят. – Пожалуйста, не забудьте.

– Как можно забыть, родная! А для памяти запиши-ка лучше на бумажке, как ваша-то гостиница прозывается, – сказала Таифа.

Дуня написала и подала Таифе бумажку.

– Завтра же у нас побывала бы. На целый бы день приходила, – говорила Дуня.

– Ну, целый-то день в гостях сидеть ей не приходится: с детками ведь приехала, – молвила Таифа. – Сам-от Иван Григорьич с приказчиком да с молодцами на ярманке живет, а она с детками у приказчика на квартире. Хоть приказчикова хозяйка за детками и приглядывает тоже, да сама ведь знаешь, сколь заботлива Грунюшка: надолго ребятишек без себя не оставит.

До ночи просидела Таифа, поджидая возврата Марка Данилыча. Еще хотелось ей поговорить с ним про тесное обстояние Манефиной обители. Знала, что чем больше поплачет, тем больше возьмет. Но так и ушла, не дождавшись обительского благодетеля.

Тихо и ясно стало на сердце у Дунюшки с той ночи, как после катанья она усмирила молитвой тревожные думы. На что ни взглянет, все светлее и краше ей кажется. Будто дивная завеса опустилась перед ее душевными очами, и невидимы стали ей людская неправда и злоба. Все люди лучше, добрее ей кажутся, и в себе сознает она, что стала добрее и лучше. Каждый день ей теперь праздник великий. И мнится Дуне, что будто от тяжелого сна она пробудилась, из темного душного морока на высоту лучезарного света она вознеслась.

С восторгом узнала, что ее сердечный друг и добрая советница завтра с нею увидится. Все ей скажет она, все выльет, что есть на душе. Велика отрада мыслями с другом делиться, но Дуне не с кем было по душе говорить, некому тайные думы свои передать. Отцу, он хоть и любит ее и хоть не раз говорил, что в сердечных делах воли с нее не снимает, стыдится, однако, признаться, робеет, смелость теряет. Он всегда такой занятой, всегда озабоченный, сумрачен, важен, степенен. Любит ее и Дарья Сергевна, но как с ней начать разговоры? Для нее все суета, все мирская прелесть, греховное дело. Изнывала Дуня в одиночестве, с тех пор как проснулось ее сердце и неясной, еще не вполне сознаваемой любовью впервые вострепнулось. И вдруг она милую, добрую Груню увидит!

Утром, только что встала с постели Дуня, стала торопить Дарью Сергевну, скорей бы сряжалась ехать вместе с ней на Почайну. Собрались, но дверь широко распахнулась, и с радостным, светлым лицом вошла Аграфена Петровна с детьми. Веселой, но спокойной улыбкой сияла она. Вмиг белоснежные руки Дуни обвилились вокруг шеи сердечного друга. Ни слов, ни приветов, одни поцелуи да сладкие слезы свиданья.

Минут через двадцать все сидели за чаем. Дарья Сергевна девочек возле себя посадила и угощала их сдобными булками; Марко Данилыч разговаривал с Груней, Дуня глаз с нее не сводила.

– Как это вы нас разыскали? – спросил Марко Данилыч.

– Рано поутру сегодня мать Таифа ко мне приходила и сказывала, что вчера целый день у вас прогостила. Я, как узнала, тотчас и к вам.

– Оченно вам благодарны за вашу любовь и за ласку, – весело молвил Марко Данилыч. – Праздник вы сделали Дунюшке.

Добрый любящим взором взглянула на Дуню Аграфена Петровна.

– Ну что, матушка, каково торгуете на ярманке? – спросил у ней Марко Данилыч.

– Об этом меня не спрашивайте, Марко Данилыч, – ответила Аграфена Петровна. – Ничего тут не знаю. Однако же Иван Григорыч, кажется, доволен.

– От кого ни поспышишь, все хоть помаленьку торгуют, а у нас с восьми баржей восьми фунтов до сих пор не продано, – недовольным голосом промолвил Марко Данилыч.

– Ваш торг иной, – ответила Аграфена Петровна. – Наш идет по мелочи, а вы хоть долго ждете, зато разом решите.

– Так-то оно так, а все-таки берет досада, – молвил Марко Данилыч. – Да и скучно без дела-то. Покончить бы и по домам.

– Погодите маленько, повеселите дочку-то, – молвила Аграфена Петровна. – Ведь у вас Дунюшка-то впервые на ярманке-то?

– В первый раз, – сказал Марко Данилыч. – Да мы уж маленько повеселились и на ярманке раз пяток побывали, по реке катались, рыбачили.

– Ну вот, видите, – молвила Аграфена Петровна. – А вы ее еще повеселите, чтоб помнила ярманку.

Немного погодя Марко Данилыч стал на караван собираться. Он просил Аграфену Петровну остаться с Дуней на весь день. Та не согласилась.

– Хвост-от велик у меня, Марко Данилыч, – сказала она. – Две вот со мной, да две на квартире, да Гришенька, хоть и у отца в лавке, а все ж надо и за ним присмотреть.

– В такие молодые годы да такая семья у вас, – приветливо глядя на Аграфену Петровну, молвил Марко Данилыч. – Много вам забот, много хлопот.

– Забота не работа, – шутливо, с ясной улыбкой ответила Груня.

– Так хоша пообедаем вместе, – немного помолчав, сказал Смолокуров. – Видите, Дунюшка-то как вам обрадовалась. Погостите у нас, сударыня, сделайте такое ваше одолжение.

– Останься, – тихо промолвила Дуня, крепко держа Груню за руку.

– Ин вот как сделаем, – решила Аграфена Петровна. – Теперь я у вас посижу немножко, а потом на часок домой съезжу, погляжу, что мои птенчики поделывают, да к обеду и ворочусь. А после уж не держите, пожалуйста. Право, нельзя.

– После-то обеда я бы к ней, тятенька? – ласкаясь к отцу, молвила Дуня.

– Что ж, с Богом, – согласился Марко Данилыч.

Так и решили. Марко Данилыч уехал, Дарья Сергевна занялась с девочками, а Аграфену Петровну Дуня увела в свою укромную горенку.

Лишь только вошли туда, Дуня бросилась к ней на шею и осыпала горячими поцелуями. А сама плачет, разливается.

– Как я рада тебе, моя дорогая! Дня не миновало, часа не проходило, чтоб я не вспоминала про тебя. Писать собиралась, звать тебя. Помнишь наш уговор в Каменном Вражке? Еще гроза застала нас тогда, – крепко прижимая пылающее лицо к груди Аграфены Петровны, шептала Дуня.

– Помню, милая, помню, – обнимая Дунюшку, ласково говорила Аграфена Петровна.

– Не чаяла я с тобой свидеться! Все сердце изныло без тебя.

– Ну что? – с ясным взором и улыбкой, полной участия, спросила Аграфена Петровна.

Дуня зарыдала у ней на груди, слова не может вымолвить от рыданий.

– Перестань! Хоть не с горя льешь слезы, а все тяжело. Полно же, полно! – уговаривала ее Аграфена Петровна.

Перестала Дуня рыдать, но тихие слезы все еще струились из ясных ее очей. И вся она сияла сердечной радостью и блаженством.

Сидя рядом, обе молчали. Аграфена Петровна нежно гладила по головке склонившуюся к ней девушку.

– Знаешь что, Груня? – наконец чуть слышно промолвила Дуня, еще крепче прижавшись к сердечному другу.

– Что, милая? – тихо ответила Груня.

– Я... кажется, я... нашла... – в сильном душевном волнении едва могла проговорить Дуня.

– По душе человека? – шепнула Аграфена Петровна.

– Да, – отрывисто ответила Дуня и закрыла руками пылавшее лицо.

– Ну и слава Богу, – ласково отвечала ей Груня.

– Все тебя поминала, – тихим, чуть слышным голосом говорила Дуня. – Сначала боязно было, стыдно, ни минуты покоя не знала. Что ни делаю, что ни вздумаю, а все одно да одно на уме. Тяжело мне было, Грунюшка, так тяжело, что, кажется, смерть бы легче принять. По реке мы катались, с косной. С нами был... Добрый такой... правдивый... И так он глядел на меня и таким голосом говорил со мной, что меня то в жар, то в озноб.

И замолчала. Ни слова не сказала Аграфена Петровна, лишь молча гладила Дуню по головке и, кротко улыбаясь, поглядела ей в подернутые слезами очи.

– Дома твои слова вспомню, твой добрый совет, не давала воли тем мыслям, на молитву стала, молилась. Долго ль молилась, не знаю, – продолжала Дуня.

– Что ж после? – спросила Аграфена Петровна.

– Не мугились мысли после молитвы, – ответила Дуня. – Стало на душе и легко, и спокойно. И об нем спокойнее прежнего стала я думать... И когда на другой день увидела его, мне уж не боязно было.

– Пошли тебе, Господи, счастливую долю. Видима святая воля его, – горячо поцеловав Дуню, с задушевной теплотой сказала Аграфена Петровна.

– Ты каждый день у нас бывай, Груня, – говорила Дунюшка. – Он к нам частенько похаживает. Поговори хорошенько с ним, вызнай, каков он есть человек. Тебе виднее. Пожалуйста!

И обвила Аграфену Петровну руками и, крепко прижав ее к груди, целовала.

– Да кто ж он таков? – с доброй улыбкой спросила у ней Аграфена Петровна. – Ты мне пока еще не сказала.

– Да тот... – тихо, чуть слышно промолвила Дуня, склоняясь на плечо сердечного друга.

– Какой тот?

– Да тот... В Комарове-то... Помнишь, – прошептала Дуня и залилась слезами.

– Петр Степаныч?

– Ну да, – шепнула Дуня и, вскинув ясными очами, улыбнулась светлой, радостной улыбкой.

А между тем столбом пылит дорога и гремят мосты под тройкой быстрых звонкокопытных коней. Мчится Петр Степаныч по Керженским лесам.

Глава четырнадцатая

На ловецких ватагах, на волжских караванах, по пристаням, по конторам немало по найму служило народа у Марка Данилыча. Держал он наймитов¹⁵⁸ в страхе и послушанье, праздного слова никто перед ним молвить не смел. Всегда угрюм и молчалив, редко говаривал он с подначальными, и то завсегда рывком да с ругней. Кончая брань, вздыхал он глубоко и вполголоса Богу жалобился, набожно приговаривая: «Ох, Господи, Царю Небесный, прости наши великие согрешения!..» А чуть что не по нем – зарычит, аки зверь, обругает на чем свет стоит, а найдет недобрый час – и тычком наградит.

Безответно терпели подначальные от крутонравного хозяина, лебезили перед ним, угодили, лезли на глаза, чтобы чем-нибудь прислужиться. Знал наемный люд, что так поступать вперед пригодится. Смолокуров платил хорошо, гораздо больше других старых рыбаков, расчеты давал верные, безобидные и, опричь того, раза по три в году награды и подарки жаловал, глядя по усердию. Мелких людей – ловцов, бурлаков и других временных – каждый раз обсчитывать норовил хоть на малость, но с приказчиками и с годовыми рабочими дела вел начистоту.

Все терпел, все сносил и в надежде на милости всем, чем мог, угождал наемный люд неподступному хозяину; но не было ни одного человека, кто бы любил по душе Марка Данилыча, кто бы, как за свое, стоял за добро его, кто бы рад был за него в огонь и в воду пойти. Между хозяином и наймитами не душевное было дело, не любовное, а корыстное, денежное.

Одного только приказчика Марко Данилыч особливо жаловал, одного его отличал он от других подначальных. Лет уж двадцать служил тот приказчик ему, и не то чтобы пальцем тронуть, обидного слова никогда Смолокуров ему не говаривал. Был тот приказчик смел и отважен, был бранчив, забиячлив и груб. С кем ни свяжется, с первых же слов норовит обругать, а не то зачнет язвить человека и на смех его поднимать, попрекать и делом, и небылью. С хозяином зачнет говорить, и то бы ему в каждое слово щетинку всучить, иной раз ругнет даже его, но Марко Данилыч на то никогда ни полслова. Самый вздорный, самый сварливый был человек, у хозяина висел на ушке, и всех перед ним обносил, чернил, облыгал, оговаривал. И за то его ненавидели, а боялись чуть ли не пуще, чем самого Марка Данилыча. А когда полезно было ему смиренником прикинуться, напускал на себя такое смирение, что хоть в святцы пиши его между преподобными. Не было у него никакой особой части на отчете, его дело было присматривать, нет ли где какого изъяна аль непорядка, и, ежели что случится, о том хозяину немедля докладывать. Кроме того, «хитрые дела» ему поручались, и он мастерски их обделывал.

Поддеть ли кого половчее, провести ли простачка поискусней, туману ль кому в глаза подпустить, Марко Данилыч, бывало, его за бока, а сам будто в сторонке, ничего будто не знает, не ведает. Рад был приказчик таким порученьям, любил похвастать хитрым своим разумом, повеличаться ловкой находчивостью, похвалиться умением всякого человека в дураки посадить, да потом еще вдоволь насмеяться над его оплошкой и недогадкой. На брань, на попреки обманутого только, бывало, хихикает да его же корит: «А кто тебе, умному человеку, говорит, велел от нас, дураков, гнилой товар принимать? Кто тебе указывал на торгу глаза врозь распускать?.. Коли ты умный человек называешься, так, когда берешь, чванься, взял, так кланяйся». И не было тому приказчику другого имени, как «Прожженный».

А крещеное имя было ему Корней Евстигнеев. Был он тот самый человек, что когда-то в молодых еще годах из Астрахани пешком пришел, принес Марку Данилычу известие о гибели его брата на льдинах Каспийского моря. С той поры и стал он в приближение у хозяина.

¹⁵⁸ Начиная от Тверской губернии по Заволжью употребляется слово **наймак**, а по Горному Поволжью до устья Суры – **наймит**. И то и другое означает наемник.

Восстав от сна на другой день после катанья в косной, Марко Данилыч послал за Корнеем Прожженным. Тот не замедлил.

Размашисто помолясь на иконы и молча поклонясь хозяину, стал он у стола и, опершись на него рукой, спросил:

– Посылали за мной?

– Да, Евстигнейч, – сказал Марко Данилыч. – Дельце есть, для того и позвал.

– Знамо, что за делом. За бездельем-то бегать сапогов не напасешься, – пробурчал Прожженный и, подняв голову, стал потолок оглядывать.

– Тебе сегодня же поутру́ надо в путь-дорогу, – молвил ему Марко Данилыч.

– Куда?

– В Царицын.

– За коим лешим? По арбузы аль по горчицу? Новы торги, видно, заводить охота пришла, – насмешливо молвил Корней.

– Володерева знаешь? – спросил Смолокуров.

– Как не знать! Первый вор и мошенник, – слегка усмехнулся Прожженный.

– К нему, – сказал Марко Данилыч.

– Видно, почты не стало и штафеты¹⁵⁹ гонять перестали? – сердито проворчал Корней.

– Дело не в письме, а в твоём уменье, – молвил Смолокуров.

– Что за нужда на́скорь приспела? – хмурясь, Прожженный спросил. – Володерева поучить аль другого кого объеменить?¹⁶⁰ Ежель Володерева, так его не вдруг обкузьмишь¹⁶¹. Сам огонь и воду прошел.

– Он будет тебе на подмогу, – молвил Марко Данилыч.

– Смерть не люблю!.. – с сердцем, отрывисто вскрикнул Корней, отвернувшись от Марка Данилыча. – Терпеть не могу, ежели мне кто в моих делах помогает. От помощников пособи мало, а пакостей вдоволь. Кажись бы, мне не учиться стать хитрые дела одной своей башкой облаживать?..

– А ты так поверни, чтобы Володерева и на разум не пришло, что он под твою дудку пляшет, – молвил Марко Данилыч.

– Вот это дело – важнец!.. – тряхнув головой, радостно вскрикнул Прожженный. – Вокруг такой статьи не грех поработать... Что за дельце такое?

– Меркулова знаешь? – понизив голос, спросил Марко Данилыч.

– Видать не видал, а слыхом немало слыхал, – отвечал Корней. – Говорят, парень не больно удатный, прямо сказать, простофиля.

– Его-то и надо объехать, – сказал Смолокуров. – Видишь ли, дело какое. Теперь у него под Царицыном три баржи тюленьего жиру. Знаешь сам, каковы цены на этот товар. А недели через две, не то и скорее, они в гору пойдут. Вот и вздумалось мне по теперешней низкой цене у Меркулова все три баржи купить. Понимаешь?

– Чего тут не понять? Не хитрость какая! – с усмешкою молвил Корней. – На кривых, значит, надобно его объехать? Это мы можем. Володеров-от при чем же тут будет?

– Больше бы веры Меркулов дал. Пишу я Володерева – остановил бы мою баржу с тюленем, как пойдет мимо Царицына, и весь бы товар хоть в воду покидал, ежель не явится покупателя, а баржу бы в Астрахань обратил, – сказал Смолокуров.

– Кака баржа? Давно все выбежали, – молвил на то Прожженный.

– Та баржа еще не рублена, да и тюлень не ловлен. Писано ради отвода, – улыбаясь, промолвил Марко Данилыч. – Нешто не понял?

¹⁵⁹ Эстафеты.

¹⁶⁰ Обмануть, как Емелю дурака.

¹⁶¹ Не обманешь, не проведешь.

– Мекаем, – мотнув головой, ответил Корней Евстигнеев. – Еще что будет приказу?

– Доронину, Зиновью Алексеичу, на продажу тюленя Меркулов доверенность дал, – продолжал Марко Данилыч. – Давал я ему по рублю двадцати; отписал он про то Меркулову да с моих же слов известил его, что выше той цены нечего ждать. Написать-то Доронин написал, а дела кончить не хочет, – дождусь, говорит, какое от Меркулова будет решение. Вечор нарочного послал к нему. Как только ты отдаешь мое письмо Володерову, он тотчас его Меркулову покажет, они ведь приятели. Тогда Меркулов тотчас же вышлет согласие на продажу. Сам-от ему ты не больно на глаза суйся, сомненья не подай. Пробудешь в Царицыне день и тогда с Богом на Низ. И говори всем: у меня, мол, дело спешное: велено баржу опростать и с пути, где ни встречу, ее воротить.

– Пой, хозяин, молебен, пиши барыши, – воскликнул Прожженный. – Дело в шляпе: не будь я Корней Евстигнеев, ежели у нас это дело самым лучшим манером не выгорит.

Часа через два Корней Евстигнеев отправился. На пароходе вел себя важно, говорил отважно. Умел он себя показать на народе.

* * *

Отпустив Прожженного, Марко Данилыч долго и напрасно дожидался прихода Доронина. Сильно хотелось ему еще гуще ему туману подпустить, дела бы не затягивал, скорей бы решал с ним, не дожидаясь вестей из Царицына. И за чай не раз принимался Смолокуров, и по горнице взад да вперед ходил, и в торговые книги заглядывал, а Зиновья Алексеича нет как нет. И чем дальше шло время, тем больше разбирал нетерпеж Марка Данилыча, расходилось, наконец, сердце его полымем, да сорвать-то его, как нарочно, не на ком, никто под глаза не подвертывался. Самому бы идти к другу-приятелю, да то вспало на ум, что, ежели станет он спешить чересчур, Доронин, пожалуй, подумает: нет ли тут какого подвоха.

«Пятьдесят тысяч верных! – рассуждает сам с собою Марко Данилыч. – И во сне такого дельца не грезилось – ровно само с лука спрянуло. На плохой конец сорок пять! Дунюшке на приданство пойдет. Соверши только, Господи, подай успех. А нейдет, пострел его возьми, вечор поутру обещался прийти, а нейдет, чтоб иссохнуть бы ему! С Митькой уж не покалякал ли?.. Да нет, некогда было с ним увидаться. Здесь ни у кого теперь по малой цене тюленя не купишь. Веденеев при всех прочитал письмо. Пароход в пятницу в Царицыне будет, тем же днем и Корней все обладит... Господи многомилостивый, подаждь совершение! На Смоленскую владычицу, на родительское мое благословенье ризу червонного золота справлю с жемчугами, с бурмицкими зернами, с дорогими камнями! День и ночь стану теплить лампаду перед тобой, Царица Небесная!.. А все нейдет, пес этакой. Ну, была не была, пошла такова! Сам к нему пойду».

И пошел к Доронину неторопко и полегоньку.

Зиновий Алексеич со всей семьей вокруг самовара сидел. Увидя Смолокурова, быстро встал он с места, пошел навстречу и поздоровался.

Про катанье потолковали. Вспомняла добрым словом Татьяна Андревна Самоквасова с Веденеевым и примолвила, что, должно быть, оба они большие достатки имеют... С усмешкой ответил ей Марко Данилыч:

– Пиво варит не кто богат, а кто тороват. Так стары люди говаривали, Татьяна Андревна. Оно правда, Петру Степанычу после дедушки наследство хорошее досталось, и ежели у него с дядей раздел на ладах повершится, будет он с хорошим достатком, ну, а насчет Веденеева не знаю, что вам сказать... Из ученых ведь он, в Москве обучался, торговым делом орудует не постарому. Не слышать, чтобы оплошек каких-нибудь наделал, да ведь это до поры до времени. Не больно прочны, видятся, у нас эти ученые, особливо по рыбному делу. Тут нужна особа сноровка. А так вести дела, как Митенька ведет, не без опаски: сегодня удастся, завтра удастся,

а когда-нибудь и сорвется... И много сильней да смышленей его с сумой за плечами хаживали. Отважен уж очень. У него валяй, не гляди, что будет впереди, – улов не улов, а обрыбиться надо.

– А удается? – спросил Зиновий Алексеич.

– Покуда счастье везет, не исполошился ни разу, – отвечал Марко Данилыч. – Иной раз у него и сорвется карась, – глядишь, щука клюнула. Под кем лед ломится, а под ним только потрескивает. Счастье, говорю. Да ведь на счастье да на удачу крепко полагаться нельзя: налетит беда – растворят ворота, а беда ведь не ходит одна, каждая семь бед за собой ведет.

– Кажется, он добрый такой и умный, – молвила Татьяна Андревна.

– Добрый-то добрый, может статься, и умен, да только не разумен. Ветер в голове, – отозвался Марко Данилыч.

– Что ж такое? – спросила Татьяна Андревна, пытливо взглянув на Смолокурова.

– Да все то же. Смело уж больно поступает, отважен не в меру, – молвил Марко Данилыч. – Тут от беды недалеко. Опять за ним примечено: вздорные слухи больно охоч распускать. Развесь только уши, и не знай чего тебе не наскажет: то из Москвы ему пишут, то из Питера, а все врет, ничего никто ему не пишет, похвастаться только охота. И не один раз он враньем своим хороших людей в беду вводил. Кто поверит ему, у того, глядишь, из кармана и потекло. Теперь по всей Гребновской ему никто не верит. Известное дело, кто проврался, все едино что прокрался: люди ведь помнят вранье и вруну вперед не поверят.

– Для чего ж это он так делает? Какой ради корысти? – спросила Татьяна Андревна.

– Что ж ему? – сказал Марко Данилыч. – Врать не цепом молотить, не тяжело. Из озорства, а не из корысти людей он обманывает. Любо, видите, как другой по его милости впросак попадает. Говорю вам, ветер в голове. Все бы ему над кем покуражиться.

– Нехорошо, – покачавши головой, заметила Татьяна Андревна.

– Хорошего немного, сударыня, – сказал Марко Данилыч, допивая третий стакан чаю. – Если бы жил он по-хорошему-то, много бы лучше для него было. Без людей и ему века не изжить, а что толку, как люди тебе на грош не верят и всячески норовят от тебя подальше.

То алела, то бледнела Наташа. Разгорелись у нее ясные глазки, насупились соболиные брови. Вещее сердце уму-разуму говорило: «Нет правды в речах рыбака злого».

– С чего ж это случилось с ним, Марко Данилыч? – участливо спросила Татьяна Андревна. – Когда ж это он, сердечный, у добрых-то людей так изверился?

Рта не успел разинуть Марко Данилыч, как Наташа, облив его гневным взглядом, захохотала и такое слово бросила матери:

– При царе Горохе, как не горело еще озеро Кубенское.

– Наталья! – строго крикнул на нее отец.

Но ее уж не было. Горностайкой выпрыгнула она из комнаты. Следом за сестрой пошла и Лизавета Зиновьевна.

– Не обессудьте глупую, батюшка Марко Данилыч, – смиренно и кротко сказала Смолокурову Татьяна Андревна. – Молода еще, неразумна. Ну и молвит иной раз не подумавши. Не выщипте, батюшка, на ее девичьей неумелости.

– Что это вы себя беспокоите, – благодушно улыбаясь, отвечал Марко Данилыч. – Мало ль сторяча что говорится. Наталья же Зиновьевна из подросточков еще только что выходит. Чего с нее требовать?

– Все ж таки... Как же это возможно. Пойду пожурю ее, – молвила Татьяна Андревна.

И с тем словом пошла к дочерям.

По уходе жены Зиновий Алексеич дружески упрашивал Смолокурова не гневаться на неразумную. Марко Данилыч не гневался, а только на ус себе намотал.

– А как насчет тюленя? – спросил он после того.

– Нового ничего нет, – ответил Доронин. – Что вечер говорил, то и седни скажу: буду ждать письма от Меркулова.

– По-моему, напрасно, – заметил Марко Данилыч. – По-дружески говорю, этого дела в долгий ящик не откладывай.

– Делом спешить, людей насмешить, – с добродушной улыбкой ответил Зиновий Алексеич.

– Спешить не спеши, а все-таки маленько поторапливайся, – перебил Доронина Марко Данилыч. – Намедни, хоть и сказал тебе, что Меркулову не взять по рублю по двадцати, однако ж, обдумав хорошенько, эту цену дать я готов, только не иначе как с рассрочкой: половину сейчас получай, пятнадцать тысяч к Рождеству, остальные на предбудущую ярманку. Процентов не начитать.

– Тяжеленьки условия-то, – усмехнувшись, молвил Доронин. – При таких условиях и с барышом находишься нагишом.

– Условия хорошие, – не смущаясь нимало, ответил Смолокуров. – По теперешним обстоятельствам отец родной лучше условий не предложит. Мне не веришь, Богу поверь. Иду наудачу. Может, тысяч двадцать убытков понесу. Третьего дня ивановцы говорили, что они сокращают фабрики, тюленя, значит, самая малость потребуется... А на мыло он и вовсе теперь нейдет... Прямо тебе говорю – иду наудачу; авось хлопку не подвезут ли, не прибавится ли оттого дела на фабриках. Удастся – тысяч пять наживу, не удастся – на двадцать буду внакладе. По-дружески, откровенно открыл я тебе все дело, как на ладонке его выложил. Подумай да не медли. Сегодня по рублю по двадцати даю, а может, дня через три и рубля не дам. Есть у тебя доверенность, так и думать нечего, помолимся да по рукам.

– Нет, Марко Данилыч, я уж лучше письма подожду. Сам посуди, дело чужое, – немножко подумав, решил Зиновий Алексеич.

– Ваше дело, как знаешь, – сердито ответил, вставая со стула, Марко Данилыч.

Молчит Зиновий Алексеич. «Не по рукам ли?» – думает. Но нет.

– Лучше погожу, – решительно сказал он.

– Как знаешь, – беря картуз, с притворной холодностью молвил Смолокуров. – Желательно было услужить по приятельству. А и то, по правде сказать, лишняя обуза с плеч долой. Счастливо оставаться, Зиновий Алексеич. На караван пора.

И распрощались друзья-приятели холодно.

* * *

Когда встревоженная выходкой Наташи Татьяна Андревна вошла к дочерям, сердце у ней так и упало. Закрыв лицо и втиснув его глубоко в подушку, Наташа лежала как пласт на диване и трепетала всем телом. От душевной ли боли, иль от едва сдерживаемых рыданий бедная девушка тряслась и всем телом дрожала, будто в сильном приступе злой лихоманки. Держа сестру руками за распаленную голову, Лиза стояла на коленях и тревожным шепотом просила ее успокоиться.

– Что с тобой, что с тобой, Наташенька? – всплеснув руками, вполголоса, чтоб гостю не было слышно, спрашивала Татьяна Андревна.

Не дала ответа Наташа и крепче прежнего прижалась к подушке.

Не знает, за что взялась Татьяна Андревна, не придумает, что сказать, кидается из стороны в сторону, хватается то за одно, то за другое – вконец растерялась, бедная. Стала, наконец, у дивана, наклонилась и окропила слезами обнаженную шею дочери.

И сушат и целят материнские слезы детище, глядя по тому, отчего они льются. Слезы Татьяны Андревны целебным бальзамом канули на полную сердечной скорби Наташу. Тихо

повернулась она, открыла ярко пылающее лицо и тихо припала к груди матери. Татьяна Андревна обняла ее и тихонько, чуть слышно сказала:

– Что с тобой, милая? Что с тобой, моя ненаглядная?

Ни слова не может ответить Наташа, а слезы градом, а рыдания так и надрывают молодую грудь.

– Дай-ка мне водицы, Лиза, – догадалась Татьяна Андревна.

Спешно налив холодной воды, Лиза подала стакан матери, а та внезапно спрыснула Наташу, обрядно примолвив:

– Да воскреснет Бог и разыдутся врази его! Крест – святым слава и победа, крест – бесам язва, а рабе Божией, девице Наталии, помощь и утверждение!

Ровно от тяжелого сна очнулась Наташа, медленно провела по лицу руками и, окинув мать и сестру кротким взглядом, чуть слышно проговорила:

– Я... ничего...

Татьяна Андревна легонько обняла, поцеловала ее в лоб и, немножко помолчав, спросила:

– Что с тобой?

– Зачем он его обижает? – прошептала Наташа, и глаза ее разгорелись.

– Наташа! – с изумлением молвила Татьяна Андревна.

– Он добрый такой, хороший, а этот злой, недобрый... – в сильном волнении заговорила Наташа.

– Полно-ка ты, полно, успокой себя... Как можно такие слова говорить? – уговаривала дочь Татьяна Андревна. – Лучше ляг да усни, сном все пройдет... На-ка, выпей водицы.

Жадно выпила Наташа воду и горько промолвила:

– Он клевет, он со зла напраслину взводит на него. Не верь ему.

– Да полно же, полно, голубка моя. Засни лучше, – уговаривала Татьяна Андревна Наташу, но та еще не скоро успокоилась.

Только что ушел Смолокуров, спешными шагами прошла к мужу Татьяна Андревна и рассказала ему свои догадки. Изумился Зиновий Алексеич, но решил пока в это дело не мешаться, и если сама Наташа не заведет речи про Веденева, не говорить об нем ни полслова.

– На волю Господню положимся, – сказал он под конец советного разговора.

* * *

Встречаясь со знакомыми, Доронин под рукой разузнавал про Веденева – каков он нравом и каковы у него дела торговые. Кто ни знал Дмитрия Петровича, все говорили про него похвально, отзывались как о человеке дельном и хорошем. Опрichь Смолокурова, ни от кого не слышал Зиновий Алексеич худых вестей про него.

– Хорошо об нем отзываются, – говорил Зиновий Алексеич Татьяне Андревне. – Ежели дело заварится, чего еще лучше?..

– По-моему, тут главное то, что у него, все едино, как у Никитушки, нет ни отца, ни матери, сам себе верх, сам себе голова, – говорила Татьяна Андревна. – Есть, слышно, старая бабушка, да и та, говорят, на ладан дышит, из ума совсем выжила, стало быть, ему не будет помеха. Потому, ежели Господь устроит Наташину судьбу, нечего ей бояться ни крутого свекра, ни лихой свекрови, ни бранчивых деверьев, ни золовок-колотовок.

А Наташа про Веденева ни с кем речей не заводит и с каждым днем становится молчаливей и задумчивей. Зайдет когда при ней разговор о Дмитрие Петровиче, вспыхнет слегка, а сама ни словечка. Пыталась с ней Лиза заговаривать, и на сестрины речи молчала Наташа, к Дуне ее звали – не пошла. И больше не слышно было веселого, ясного, громкого смеха ее, что с утра до вечера, бывало, раздавался по горницам Зиновья Алексеича.

В Успеньев день, поутру, Дмитрий Петрович пришел к Дорониным с праздником и разговеньем. Дома случился Зиновий Алексеич и гостю был рад. Чай, как водится, подали; Татьяна Андревна со старшей дочерью вышла, Наташа не показала, сказала матери, что голова у ней отчего-то разболелась. Ни слова не ответила на то Татьяна Андревна, хоть и заметила, что Наташина хворь была притворная, напущенная.

За чаем про разные разности толковали, и про дела, и про веселье; речь зашла про Марка Данилыча.

– Совсем пропал, – сказал про него Зиновий Алексеич. – Сколько уж ден не вижу его; и утром завернешь, и в обед, и вечером – все дома нет.

– Рыбные дела начинаются, – заметил Веденеев, – верховые покупатели стали трогаться помаленьку. Покамест еще вяло идет, а Бог даст по скорости немножко расторгнемся. Марко Данилыч теперь весь день на караване сушь продает.

– А как вообще дела-то? – спросил Зиновий Алексеич. – Цены каковы?

– Покуда так себе, – отвечал Дмитрий Петрович. – Да ведь теперь еще нет настоящих цен, у нас развязка всегда под конец ярманки бывает. Через неделю дела пойдут бойчее.

– А вы как? Начали торги? – спросил Зиновий Алексеич.

– Я не тороплюсь, – отвечал Веденеев, – и надивиться не могу, с чего другие горячку порют. Вот хоть бы Марко Данилыч. Развязку только задерживает, а покупатели крепятся, да такие рассрочки платежей предлагают, что согласиться никак невозможно – двенадцать да осьмнадцать месяцев.

– А как теперь цены на ваши товары? – спросил Зиновий Алексеич.

– Сушь рубля полтора да по два, коренная три с полтиной, белуга три с гривной. Других сортов покамест еще не продавали.

– А тюлень? – спросил Доронин, зорко поглядев на Дмитрия Петровича.

– Еще никаких цен нет, – отвечал Веденеев.

– А скоро ли будут?

– К самому концу, – ответил Дмитрий Петрович.

Хотел было Доронин подробнее про тюленя расспросить, но вспомнил слова Смолокурова. «Кто его знает, этого Веденева, – подумал он, – мягко стелет, а пожалуй, жестко будет спать, в самом деле наврет, пожалуй, короба с три. Лучше покамест помолчать».

И свел разговор на иное.

– Не забывайте нас, Дмитрий Петрович, – сказала на прощанье Татьяна Андревна, – жалуйте почаще к нам. Завсегда вам рады.

С веселой улыбкой Веденеев обещался бывать почаще. Затем, поговорив с Лизаветой Зиновьевной, спросил про Наташу.

– Нездоровится что-то ей, – сказала Татьяна Андревна.

– Что с ней? – тревожно спросил Веденеев, и румянец мгновенно облил лицо его. Не укрылось то ни от отца, ни от матери, не утаилось и от Лизаветы Зиновьевны.

– Голова что-то разболелась, – молвила Татьяна Андревна. – Да ничего, с кем этого не случается?

– Однако ж... – начал было Веденеев, но смутился и еще больше покраснел... Потом, схватив шляпу, стал торопливо прощаться с Зиновьем Алексеичем.

– Когда же увидимся? – спросил его Доронин.

– Да я... завсегда очень рад... – слегка запинаясь, говорил Дмитрий Петрович. – Пожалуй, хоть завтра.

– И прекрасно, – ласково молвил ему Зиновий Алексеич. – Пообедаем вместе.

– Очень рад... – отвечал Веденеев.

– Так мы будем ждать вас, – сказал Зиновий Алексеич, провожая Дмитрия Петровича.

Не успел уйти Веденеев, как Лиза, отворив дверь в свою комнату, наткнулась на сестру. Все время Наташа простояла у двери и в щелочку все глядела на Веденея.

Проводя гостя, Зиновий Алексеич к жене подошел.

– Заметил? – спросила его Татьяна Андревна.

– Еще бы не заметил! Что ж? Давай Бог! Обоих бы разом!

Глава пятнадцатая

Ниже истока Ахтубы, с лишком на двадцать сажен высится правый берег широкой Волги. Здесь край так называемых Гор. Дальше пойдут отлогие берега, песчаные степи, кочевья калмыков. Берег глубоким оврагом разрезан. По дну того оврага речка струится; про эту речку такое сказанье идет от годов стародавних.

Стоял на ее берегах дивный дворец: всюду блистало золото, всюду горели самоцветные камни. Двери серебряные, на полах разостланные мазандеранские ковры, диваны были крыты рытым бархатом, подушки низаны жемчугом, занавесы из шелковых китайских тканей, по всем чертогам носится благовонный дым аравийских курений. Вокруг дворца тенистые сады, цветники с редкими цветами, целые рощи гилянских роз и высоко бьющие холодными кристальными струями водометы. Толпою сродниц и роем молодых невольниц окруженная, жила там прекрасная собой и добрая сердцем ордынская царица, дочь хорасанского хана... Как нежная роза в темной листве сияет, так сияла она среди красавиц, что с нею в том дворце обитали. Подобной красоты во всем мире не было видано ни прежде, ни после. Оттого и звали ту царицу «Звездой Хорасана».

Ее супруг, грозный, могучий царь Золотой Орды, часто к ней приезжал из Сарая, самые важные только дела заставляли его с печалью на сердце покидать роскошный дворец Хорасанской Звезды. Сколько царь ни уговаривал ее переселиться в столицу, Звезда Хорасана ему не внимала, не хотела менять тихого жилья в прохладных садах и роскошных палатах на шум ордынской столицы. Ханские жены, что жили в Сараях, в глаза не видали Звезды Хорасана, но много слыхали про ее красоту неземную. Черная зависть их обуяла, стало им нестерпимо, что хан любит эту жену больше всех остальных. И стали они плести ему наговоры. «О грозный, могучий хан Золотой Орды и многих царств-государств повелитель, – так они говорили ему, – или ты не знаешь, отчего любимая твоя царица не хочет жить в славной столице твоей? Там, в пустынных чертогах, ей жизнь не в пример веселее. Наехать бы тебе к ней расплохом, обыскать бы сады и дворец, может статься, кого-нибудь там нашел бы». Вспыхнул яростью хан, услышав речи жен, и излил гнев на злых завистниц.

Долго ли время шло, коротко ли, стали говорить хану думные люди его: «О грозный, могучий хан Золотой Орды, многих государств повелитель, многих царств обладатель! Обольстила тебя Звезда Хорасана; ради ее, недостойной, часто ты царские дела свои покидаешь. А не знаешь того, солнце земли, тень Аллаха, что она, как только ты из ее пустынных чертогов уедешь, шлет за погаными гяурами и с ними, на посмех тебе, веселится». Вскипел гневом владыка ордынский и велел головы снять думным людям, что такие слова про Звезду Хорасана ему говорили.

Долго ли время шло, коротко ли, приходит к царю старая ханша и такие слова ему провещает: «Сын мой любезный, мощный и грозный хан Золотой Орды, многих царств-государств обладатель! Не верь ты Звезде Хорасана, напрасно сгубил ты слуг своих верных. Доподлинно знаю, что у нее в пустынном дворце по ночам бывает веселье: приходят к царице собаки-гяуры, ровно ханы какие в парчовых одеждах, много огней тогда горит у царицы, громкие песни поют у нее, а она у гяуров даже руки целует. Вот каким срамом кроет твою царскую голову Звезда Хорасана». Хан замолчал. Хоть ярость и гнев и кипели на сердце, но на мать родную он излить их не мог. А старая ханша свое продолжает: «Верно я знаю, сын мой любезный, что на другой день джумы¹⁶², вечером поздно, будет у ней в гостях собака-гяур, ее полюбовник. Будут там петь и играть, и позорить тебя, сын мой любезный, грозный хан для неверных, милосердный

¹⁶² Пятница – мусульманский праздник.

царь ко всем, чтущим Аллаха и его святого пророка». На те слова старой ханши промолчал грозный царь Золотой Орды.

Джума прошла; с рассветом коня царю оседлали, и поехал он к царице с малым числом провожатых. Уж полночь минула и звезды в небе ярко горели, когда подъехал он к пустынным чертогам... Видит – дворец весь внутри освещен, из окон несутся звуки радостных песен. Точно победу какую там воспевают. Одадь оставя дружину, тихо подъехал хан к окнам. И видит: Звезда Хорасана, сродницы ее и рабыни все в светлых одеждах, с веселыми лицами, стоят перед гяуром, одетым в парчеву, какую-то громкую песню поют. Вот Звезда Хорасана подходит к гяуру и целует его в уста. Свету невзвидел яростный хан, крикнул дружину, ворвался в палаты и всех, кто тут ни был, избить повелел.

А было то в ночь на светлое Христово воскресенье, когда, под конец заутрени, Звезда Хорасана, потаенная христианка, первая с иереем христосовалась. Дворец сожгли, останки его истребили, деревья в садах порубили. Запустело место. А речку, что возле дворца протекала, с тех пор прозвали речкою Царицей. И до сих пор она так зовется. На Волге с одной стороны устья Царицы город Царицын стоит, с другой – Казачья слободка, а за ней необъятные степи, и на них кочевые кибитки калмыков.

До железной дороги городок был из самых плохих. Тогда, недалеко от пристани, стояла в нем невзрачная гостиница, больше похожая на постоялый двор. Там приставали фурщики, что верховый барочный лес с Волги на Дон возили. Постояльцам, кои побогаче, хозяин уступал комнаты из своего помещенья и, конечно, оттого внакладе не оставался. Звали его Лукой Данилычем, прозывался он Володеров.

Главным его делом было сводить продавцов с покупателями да исполнять порученья богатых торговцев. Кроме того, Лука Данилыч переторговывал всяким товаром, какой под руку ему попадался. Один год сплавной из Верховья лес продавал, другой – хлебом да рыбой торговал, а не то по соседству елтонскую соль закупал и на волах отправлял ее с чумаками в Воронеж. Главным же делом был меновой с калмыками торг. Хлеб, красный товар, кирпичный чай он посылал к ним в улусы, а оттоль пригонял косяки лошадей с табунами жирных ордынских баранов. Калашня большая была у него, больше десятка хлебников каждый день в ней крендели да баранки пекли, и Лука Данилыч возами отсылал их в улусы. Ловкий был, изворотливый человек, начал с копейки и скоро успел нажить большой капитал.

Вот уже без малого месяц в доме его живет-поживает молодой рыбный торговец Никита Федорыч Меркулов. Два чистеньких, прибранных опрятно покойчика из своих хозяин отвел ему и всем успокоил. Но не спокойно жилось постояльцу: дня два-три пробудет в Царицыне и поплывет вниз по Волге до Черного Яра, так день-другой поживет, похлопочет и спешит воротиться в Царицын. Шли у него с моря бурлацкою тягой три баржи с тюленьим и рыбьим из бешенки жиром, добежали те баржи до Черного Яра, и лоцман тут бед натворил. Большой паводок поднялся тогда от долгих дождей проливных; лоцман был пьяный да неумелый, баржи подвел к самой пристани в Черном Яру. А та пристань, кроме весны, всегда мелководна, летом лишь мелким судам к ней подходить неопасно, дощаник да осланка¹⁶³ еще могут стоять в ней с грехом пополам, а другая посудина как раз на мель сядет. Так и с меркуловским караваном случилось: паводок спал за одни сутки, и баржи с носов обмелели. На одну всех бурлаков согнали, те принялись перетираться на шпильях¹⁶⁴ и с великим трудом вывели ее на полую воду. За другую баржу принялись – ни с места. Бились, бились с раннего утра до позднего вечера, не пивши, не евши, никакого нет толку.

¹⁶³ **Осланка** – иначе **осланка** – небольшое мелкосидящее судно.

¹⁶⁴ **Шпиль** – длинный шест с костылем либо шишкой сверху, о который упираются плечом рабочие. **Перетираться на шпильях** – то же, что **идти на шестах**, значит, судно вести, упираясь шпильями во дно реки.

Вдруг, ровно по чьему приказу, бурлаки разом шпили побросали и в сотню голосов с бранью, с руганью стали задорно кричать:

– Давай паузки¹⁶⁵, хозяин.

– Да где их взять? – отвечал смущенный Меркулов. – Время глухое теперь, по всему Низовью ни единого паузка не сыщешь.

– На Верх посылай, а не то мы сейчас же котомки на плечи да айда по домам, – горланила буйная артель.

– Разве так можно? – крикнул Меркулов. – Нешто вы бессудный народ? Попробуй сбежать, паспорта все у меня и условие тоже. За побег с судна вашего брата по головке не гладят.

– Видали мы таких горячих! У нас, брат, мир, артель. Одному с миром не совладать, будь ты хоть семи пядей во лбу!

– Молчать! – гневно крикнул Меркулов. – Сейчас за работу. Берись за шпили!

Бурлаки в кучу столпились, сами ни с места. Один из них, коренастый, широкоплечий парень лет тридцати, ступил вперед, надел картуз и, подперши руки в боки, нахально сказал Меркулову:

– Ты не кипятись; печенка лопнет. Посылай-ка лучше за паузками, авось найдешь за Саратовом, а не то за Самарой. Тут три таких артели, как наша, ничего не поделают. Ишь как вода-то сбывает, скоро баржи твои обсохнут совсем.

– За паузками посылай мое дело. Вам меня не учить стать, – строго молвил бурлакам Меркулов. – Ваше дело работать – ну и работай, буянить не смей. Здесь ведь город, суд да расправу тотчас найду.

– Нас этим не напугаешь, не больно боимся. И никто с нами ничего не может сделать, потому что мы артель, мир то есть означаем. Ты понимай, что такое мир означает! – изо всей мочи кричал тот же бурлак, а другие вторили, пересыпая речи крупной бранью.

До того дошли крики, что стало невозможно слова понимать. Только и было слышно:

– Посылай за паузками!.. Сейчас шли за паузками!

– Ну и пошлю, – сказал Меркулов. – А работу бросать у меня не смей, не то я сейчас же в город за расправой. Эй, лодку!..

Стихли бурлаки, но все-таки говорили:

– За паузками посылай, а даром на тебя работать не станем. Хоть самому губернатору жалобись, а мы не согласны работать. В условие не ставлено того!

– Плачу за простой, – молвил Меркулов.

– Ну, это ина статья, – заговорили бурлаки совсем другим уже голосом и разом сняли перед хозяином картузы и шапки. – Что ж ты, ваше степенство, с самого начала так не сказал? А то и нас на грех, и себя на досаду навел. Тебе бы с первого слова сказать, никто бы тебе супротивного слова не молвил.

– Ну, Христов народ, берись за шпили! – гаркнул тот самый бурлак, что нагло выступал из толпы перед хозяином. – Берись, берись, ребятушки! Хозяин за вином пошлет.

Меркулов в самом деле за водкой послал. Бурлаки пили, благодарили, но, как усердно ни работали, баржа не трогалась с места, а вода все убывала да убывала.

Послал Меркулов за паузками, наняли два в Саратове, но их не хватило и одну баржу рас-паузить. Дальше послал, а вода все сбывает да сбывает, баржи стало песком заносить. Выведенную в самом начале на полую воду баржу взвели до Царицына, на стрежне у Черного Яра оставить ее было ненадежно, неровно поднимется буря, совсем разобьет. Думал Меркулов пароход кабестанный¹⁶⁶ нанять – и тут неудача: пароходов по Волге в то время еще немного ходило,

¹⁶⁵ **Паузок** – мелководное судно для перегрузки клади с больших судов на мелкой воде.

¹⁶⁶ **Кабестан** – ворот. Прежде на Волге были коноводные суда, на которых бывало по сотне и более лошадей. Они приводили в движение ворот, на который навивался канат, конец которого с якорем впереди судна брошен в воду. Оттого судно и двигалось, хотя и очень медленно. Теперь сила лошадей заменена силой пара.

и все они были заподряжены на целое лето. Набрали, наконец, паузков, и Никита Федорыч вздохнул свободней: хоть поздно, а все же поспеет к Макарью, ежели новой беды в пути не случится.

Баржи с паузками пришли, наконец, к царицынской пристани. Велел Меркулов перегрузить тюленья с паузков на баржи, оставив на всякий случай три паузка с грузом, чтоб баржи не слишком грузно сидели. Засуха стояла. Волга мелела, чего доброго, на перекате где-нибудь выше Казани полногрузная баржа опять сядет на мель.

Кончились хлопоты, еще ден пяток, и караван двинется с места. Вдруг получает Меркулов письмо от нареченного тестя. Невеселое письмо пишет ему Зиновий Алексеич: извещает, что у Макарья на тюленья цен вовсе нет и что придется продать его дешевле рубля двадцати. А ему в ту цену тюлень самому обошелся, значит, доставка с наймом паузков, с платой за простой и с другими расходами вон из кармана. Вот тебе и свадебный подарок молодой жене!

Ходит Никита Федорыч по пристани ровно темная ночь. Торопит рабочих, а сам все раздумывает: «Что работай, что нет – все едино, денег пропасть потратил, а все-таки остался внакладе. Вот тебе и тюлень!»

Совсем к отвалу баржи были готовы, как новое письмо от Доронина получил горемычный Меркулов. Пишет, что цены ему кажутся очень уж низки и потому хоть и есть в виду покупатель и весь груз берет без остатка, но сам Доронин без хозяйского письма решиться не может, потому и просит отвечать поскорей, как ему поступать.

Не верится Меркулову, чтобы цены на тюленья до такой меры упали. Знал он, что и хлопку мало в привозе и что на мыльные заводы тюлений жир больше не требуется, а отчего ценам упасть до того, что своих денег на нем не выручишь, понять не может. «Что-нибудь да не так, – думает он, – может, какой охотник до скорой наживы вздумал в мутной водице рыбку поймать, подъехал к Зиновью Алексеичу, узнав, что у него от меня есть доверенность, а он в рыбном деле слепой человек». И решил до приезда к Макарью тюленья не продавать. Так и в письме писал.

Письмо еще не было послано, как к Царицыну с Верху прибежал буксирный¹⁶⁷ пароход. На пристани пошла обычная суетня, мигом сбежалась толпа девок и молодежи. Живо, со смехом, с веселыми криками, принялась она таскать на пароход дрова. Сойдя на берег, путники рассыпались по берегу: кто калачи покупал да крендели, кто запасался икрой и рыбой, кто накинудся на дешевые арбузы, на виноград, на яблоки. С полгорода от скуки сбежалось на пристань поглазеть на проезжих. Приезжих в Царицын был только один смолокуровский приказчик Корней Евстигнеев. Сойдя по сходням с парохода, увидел он стоявшего неподалеку Володерева с каким-то молодым человеком, не то барином, не то купчиком. То был Меркулов.

– Наше вам, Лука Данилыч, – лениво приподняв картуз, молвил Корней Евстигнеев и протянул здоровенную лапищу царицынскому трактирщику. – Вас-то мне и надоть.

– Что за надобность? – сухо спросил у него Володеров.

– А ты не вдруг... Лучше помаленьку, – грубо ответил Корней. – Ты, умная голова, то разумеешь, что я Корней и что на всякий спех у меня свой смех. А ты бы вот меня к себе в дом повел, да хорошеньку фатеру отвел, да чайком бы угостил, да винца бы поднес, а потом бы уж и спрашивал, по какому делу, откуда и от кого я прибыл к тебе.

– Ну говори, коли с делом приехал. Чего баклажиться-то? – с досадой молвил трактирщик Корнею.

– А ты, брат, не нукай, и сам свезешь, – огрызнулся Корней. – Айда, что ли, к тебе чай распивать.

– Поспеешь, – сказал Володеров и отошел от Корнея к Меркулову.

А Корней, взвалив на плечи чемодан, пошел к постоялому двору.

¹⁶⁷ Буксирным пароходом называется такой, который ведет за собой несколько барж с грузом.

– Кто такой? – спросил Меркулов у Луки Данилыча.

– Смолокуровский приказчик, – ответил Володеров. – Знаете Смолокурова Марка Данилыча?

– Как не знать? Старый рыбник, один из первых у нас, – молвил Меркулов. – Только этого молодца я что-то у него на ватагах не видывал.

– При себе больше держит, редко куда посылает, разве по самым важным делам, – отвечал Володеров. – Парень ухорез, недаром родом сызранец. Не выругавшись, и Богу не помолится.

– При каких же делах он у Смолокурова? – спросил Меркулов.

– Да при всяких, когда до чего доведется, – отвечал трактирщик. – Самый доверенный у него человек. Горазд и Марко Данилыч любого человека за всяко облаять, а супротив Корнея ему далеко. Такой облай, что слова не скажет путем, все бы ему с рывка. Смолокуров, сами знаете, и спесив, и чванлив, и держит себя высоко, а Корнею во всем спускает. Бывает, что Корней и самого его обругает на чем свет стоит, а он хоть бы словечко в ответ.

– Что ж бы это значило? – спросил Никита Федорыч.

– Какие-нибудь особенные дела у них есть, – сказал Володеров. – Может статься, Корней знает что-нибудь такое, от чего Марку Данилычу не расчет не уважить его.

Меж тем на пароход бабы да девки дров натаскали. Дали свисток, посторонние спешат долой с парохода, дорожные люди бегом бегут на палубу... Еще свисток, сходни приняты, и пароход стал заворачивать. Народ с пристани стал расходиться. Пошли и Никита Федорыч с Володеровым.

Воротаясь на квартиру, Меркулов велел подать самовар. И только что успел налить стакан чаю, как дверь отворилась и на цыпочках вошел Володеров.

– Чай да сахар! – молвил Лука Данилыч.

– К чаю милости просим, – ответил Меркулов. – Садитесь-ка – самая пора.

– Покорнейше благодарим, Никита Федорыч. Я к вам по дельцу. Оченно для вас нужное, – вполголоса сказал Володеров.

– Что такое? – немножко встревожившись, спросил Меркулов.

– Да насчет вашего товара желаю доложить, – еще больше понижая голос, отвечал Володеров.

– Что такое? – совсем уж смутившись, спросил Меркулов.

– Этот Корней с письмом ко мне от Смолокурова приехал, – шепотом продолжал Володеров. – Вот оно, прочитайте, ежели угодно, – прибавил он, кладя письмо на стол. – У Марка Данилыча где-то там на Низу баржа с тюленем осталась и должна идти к Макарью. А как у Макарья цены стали самые низкие, как есть в убыток, по рублю да по рублю с гривной, так он и просит меня остановить его баржу, ежели пойдет мимо Царицына, а Корнею велел плыть ниже, до самой Бирючьей Косы¹⁶⁸, остановил бы ту баржу, где встретится.

При первых же словах Володерова Никита Федорыч вскочил со стула и крупными шагами стал ходить по горнице. В сильном волнении воскликнул:

– Не может быть, чтоб по рублю!.. Никак этого не может быть!.. Что-нибудь да не так... Или ошибка, иль уж не знаю что.

– Вот письмо, извольте прочесть, – сказал Лука Данилыч. Меркулов стал читать. Побледнел, как прочел слова Марка Данилыча: «А так как предвидится на будущей неделе, что цена еще понизится, то ничего больше делать не остается, как всего тюленя хоть в воду бросать, потому что не будет стоить и хранить его...»

– Ах ты, пропасть какая! – отчаянным голосом воскликнул Никита Федорыч. – Это Бог знает на что похоже! Ниже рубля!.. Что ж это такое?

¹⁶⁸ На устье Волги на Каспийском взморье.

И, не кончив самовара, поблагодарив Володерева за участие, пошел на пристань освежиться в вечерней прохладе.

Подошел к своим баржам... Возле них Корней Евстигнеев стоит, с приказчиком его растабарывает.

– Невеселые вести от Макарья привез, – сказал, указывая на Корнея, приказчик Меркулову.

– Какие вести? – спросил Никита Федорыч, будто не знает ничего.

– Да вот-с насчет тюленя, – ответил приказчик.

– Что ж такое насчет тюленя? – обратился Меркулов к Прожженному.

– А то могу доложить вашей милости, что по нынешнему году этот товар самый что ни на есть анафемский. Провалиться б ему, проклятому, ко всем чертям с самим сатаной, – отвечал Корней.

– За что ж вы так честите наш товарец?.. Кажется, он всегда хóдок бывал... – сказал Никита Федорыч, а у самого сердце так и разрывается.

– Ходкий, неча сказать!.. – захохотал Корней. – Теперь у Макарья, что водке из-под лодки, что этому товару, одна цена. Наш хозяин решил всего тюленя, что ни привез на ярманку, в Оку покидать; пушай, говорит, водяные черти кашу себе маслят. Баржа у нас тут где-то на Низу с этой дрянью застряла, так хозяин дал мне порученность весь жир в воду, а баржу погрузить другим товаром да наскоро к Макарью вести.

– А как, однако, цены теперь на тюлень? – спросил Меркулов.

– Какие цены? Вовсе их нет. Восьми гривен напрочишься, – отвечал Корней Евстигнеев.

– Уж и восемь гривен? – с недоверьем отозвался Никита Федорыч. – Знаем тоже кой-что!..

– Знаешь ты с редькой десять! – вскинулся на него Корней. – Врать, что ли, я тебе стану? Нанимал, что ли, ты меня врать-то?.. За вранье-то ведь никакой дурак денег не даст... Коли есть лишние, подавай – скажу, пожалуй, что пуд по пяти рублей продавали...

– Управились, что ли? – спросил Меркулов своего приказчика, отвернувшись от Корнея.

– Совсем почти, – отвечал приказчик. – Самая малость осталась, завтра к полдням все будет готово.

– Так пообедавши, Бог даст, и отвалим, – сказал Меркулов и пошел на квартиру.

– Валил бы лучше в Волгу свое сокровище. Выгоднее, право выгодней будет, – кричал ему вслед Корней Евстигнеев. – Вот так купец-торговец!.. Три баржи с грузом, а сам с голым пузом! Эй, воротись, получай по два пятака за баржу – все-таки тебе хоть какой-нибудь барыш будет.

Не слушал Никита Федорыч ни речей Корнея, ни бурлацкого хохота, раздавшегося на его слова, быстрыми шагами удалился он от пристани. А сердце так и кипит от гнева и досады... Очень хотелось ему расправиться с нахалом.

Долго, до самой полночи ходил он по комнате, думал и сто раз передумывал насчет тюленя. «Ну что ж, – решил он наконец, – ну по рублю продам, десять тысяч убытку, oprичь доставки и других расходов; по восьми гривен продам – двадцать тысяч убытку. Убиваться не из чего – не по миру же, в самом деле, пойду!.. Барышу наклад родной брат, то один, то другой на тебя поглядит... Бог даст, поправимся, а все-таки надо скорей с тюленем развязаться!..»

И, разорвав приготовленное письмо, стал писать другое. Извещал он Зиновья Алексеича, что отправляется с баржами из Царицына, и просил его поторопиться продажей, по какой бы цене ни было.

Утомившись от дневных тревог и волнений, поздно за полночь лег Меркулов в постель. Не спалось ему – тюлень с ума не сходил. «Эх, узнать бы повернее ярманочные цены!.. От рыбаков толку не добьешься... К кому ни пиши – все кулаки с первого до последнего, правды от них не жди... Кто бы это такой у Зиновья Алексеича тюленя торгует?.. Что бы написать

ему!.. Не из наших, должно быть, не из рыбаков, да из них Зиновий Алексеич, кажется, ни с кем знакомства не имеет... Разве написать к кому... К Орошину? И не подумает ответить, меня же еще на смех поднимет, станет носиться с моим письмом по всем караванам. К Смолокурову, к Седову, к Сусалину? Одного сукна епанча!.. Засмеют, а что обманут – в том и сомненья нет».

Думал, думал, ничего придумать не мог. А кручинные думы неотвязчивы, ты гони их, а они, ровно мухи, так и лезут к тебе.

Вдруг ровно его осветило. «Митя не в ярманке ли? – подумал он. – Не собирался он к Макарью, дел у него в Петербурге по горло, да притом же за границу собирался ехать и там вплоть до глубокой осени пробыть... Однако ж кто его знает... Может быть, приехал!.. Эх, как бы он у Макаря был».

А Дмитрий Петрович Веденеев был великий друг и приятель Меркулову. Земляки, сверстники по возрасту, почти одноклассники. Торговому делу обучались не в лавке, не в амбаре, а на школьной скамье. Оба промышляли на ватагах, и оба торги вели не по-старому. Старые рыбаки на них обоих глядели свысока, подшучивали над их ученьем и крепко недолюбливали за новые, неслыханные дотоль на Волге порядки, что завели они у себя на промыслах и в караванах. Ловцы у них были на готовых харчах, оттого и воровали меньше, чем на других ватагах. Старым рыбакам было то за большую досаду, боялись, что молодежь все дело у них перепортит.

Живучи в Москве и бывая каждый день у Дорониных, Никита Федорыч ни разу не сказал им про Веденева, к слову как-то не приходилось. Теперь это на большую досаду его наводило, досадовал он на себя и за то, что, когда писал Зиновью Алексеичу, не пришло ему в голову спросить его, не у Макаря ли Веденеев, и, ежели там, так всего бы вернее через него цены узнать.

Засветил огня Никита Федорыч, распечатал приготовленное к нареченному тестю письмо и приписал в нем, чтобы он попытал отыскать на Гребновской пристани Дмитрия Петровича Веденева и, какую он цену на тюленя скажет, по той бы и продавал... Написал на случай письмо и к Веденееву, просил его познакомиться с Дорониным и открыть ему настоящие цены.

Когда Никита Федорыч запечатал письма, у него отлегло на душе, и стал он гораздо спокойнее. Тревоги ровно не бывало, беспокойство стихло. Про баржи да про убытки и на разум не впадает, думает про одну невесту да по пальцам высчитывает, через сколько дней с ней увидится. И сдается ему, что, как только увидит он милый лик любимой девушки, все скорби и печали, все заботы и хлопоты как рукой снимет с него и потекут дни светлые, дни счастья и тихой радости... Минуют черные дни, и она, никто как она, избавит его от бед и напастей.

На другой день рано поутру Меркулов отправил с письмами двуконную эстафету. Ради верности сам на почту ходил, сам письма сдал. Выходя из почтовой конторы, встретился с Корнеем Евстигнеевым.

– Мне бы штафету надо послать, – сказал Корней, войдя в контору.

– Куда? – отрывисто спросил у него сумрачный почтмейстер.

– В Нижний, на ярманку.

– Письмо аль посылка? – немножко поласковой спросил почтмейстер.

– Одно письмо.

– Тридцать восемь рублей двадцать пять копеек, – молвил почтмейстер.

Рад он был. Не серым волком, а сизым голубком поглядел на Корнея Прожженного, садиться просил его, приветные слова говорил. Эстафете все едино – два ли, три ли письма везти. Значит, без малого сорок рублей почтмейстеру перепало.

Сел Корней у стола деньги считать. Отдавая, спросил у почтмейстера:

– От Меркулова другая-то штафета?

Почтмейстер молча кивнул головой.

– Мы ведь по одному с ним делу, – заметил Прожженный. – К Доронину, надо полагать, он послал?

Раскрыл почтмейстер книгу и вслух прочитал:

– «В Нижний Новгород, на Гребновскую пристань, вольскому купцу Зиновью Доронину и... и почетному гражданину Дмитрию Веденееву от почетного гражданина Никиты Меркулова». А от вас кому?

– На ту же Гребновскую к Смолокурову Марку Данилычу, – молвил Корней Евстигнеев.

– В одно, значит, место.

– И место одно, и дело одно, и во всех трех письмах писано одно, – подтвердил Корней. – А скоро ль штафета пойдет?

– Слышите колокольчик, – молвил почтмейстер. – Письмецо-то ваше пожалуйста.

– Как же мне быть? – молвил Корней, вынимая письмо. – Мне бы надо было еще словечка два приписать хозяину.

– Печатка с вами?

– При мне, – ответил Корней Евстигнеев, взяв в руку подвешенную к часам сердоликовую печать.

– Так садитесь и приписывайте. Вот вам конверт, вот сургуч, бумажки понадобятся – и бумажки дадим.

Распечатавши письмо, Корней приписал, что с той же эстафетой идут письма от Меркулова: одно к Доронину, другое к Веденееву.

Сорок рублей до того раздобрили почтмейстера, что он ради будущего знакомства пригласил Корнея к себе на квартиру, а так как у него на ту пору пирог из печки вынули, предложил ему водочки выпить да закусить. Корней не отказался и, прощаясь с гостеприимным почтмейстером, сунул ему красненькую. Тот стал было отнекиваться, однако принял...

Через час после того плыл вверх по Волге Никита Федорыч, провожаемый добрыми пожеланьями Володерева и насмешливыми взглядами Корнея Прожженного.

Глава шестнадцатая

Резко и бойко одна за другой вверх по Волге выбегали баржи меркуловские. Целу путину ветер попутный им дул, и на мелях, на перекатах воды стояло вдоволь. Рабочие на баржах были веселы, лоцманá радовались высокой воде, водоливы вёдру, все ровному ветру без порывов, без перемежек. «Святой воздух» широко расстилал «апостольские скатерти»¹⁶⁹, и баржи летели, ровно птицы, а бурлаки либо спали, либо ели, либо тешились меж собою. Один хозяин не весел по палубе похаживал – тюлень у него с ума не сходил.

Как ни быстро бежал караван Никиты Федорыча, посланные из Царицына эстафеты его упредили.

Дня через четыре после отправки тех эстафет, рано поутру, только что успел Марко Данилыч протереть заспанные очи и помолиться по лестовке, крадучись, ровно кошка, робкими стопами вошел к нему Василий Фадеев. Помолясь Богу и отдав низкий поклон хозяину, осторожно развязал он бумажный платок и подал письмо.

– Штафета из Царицына, – вполголоса промолвил он и глубоко вздохнул, ровно непостоянную тяжесть с плеч сбросил.

Жадно схватил письмо Смолокуров, быстро сорвал печать и принялся читать неразборчивое посланье Корнея. Сначала лицо его радостью просияло, потом он весь, как кумач, покраснел: и глаза загорелись гневом... Такого крепко он при этом выругался, что Фадеев на всякий случай отступил шага на четыре поближе к двери.

– Зарезал!.. – закричал Марко Данилыч, бросая смятое письмо. Потом, заложа руки за спину, принялся шагать назад и вперед по горнице.

А Василий Фадеев попятился к самому порогу. В знак покорности склонил он голову, робко вытянул вперед гусиную шею свою, а сам искоса то и дело поглядывает на всплывшего хозяина.

– Чтоб его вдоль и поперек!.. Чтоб ему ни гроба, ни савана!.. – продолжал тот браниться. И вдруг ни с того ни с сего накинулся на Фадеева:

– Ты чего торчишь?.. Вон пошел!.. Мошенники!.. Ироды проклятые!..

Богу не помолясь, хозяину не поклонясь, юркнул из комнаты Василий Фадеев.

«Не выгорело! – сам с собой рассуждал Марко Данилыч. – Теперь дело брбсовое!.. И как это мне на мысли не вспало, что Митька с Микиткой земляки?.. Они друг дружке известны, к тому ж одной масти, одной выучки... Что бела собака, что черна собака – все один пес... Да я же с большого-то ума и свел Митьку с Дорониными... Позвал тогда его на катанье!.. Прометнулся!.. Вот те и барыш, вот те и тюлень!.. Господи, батюшка, ризу ведь я обещал на владычицу!.. Червонного золота!.. Мало разве?.. Так я бы прибавил!..» Чуть-чуть отворилась входная дверь, и высунулось побитое оспой лицо Василья Фадеева.

– Еще два письма почтальон привозил на пристань, – робко промолвил он.

– Знаю, – крикнул Марко Данилыч. – Ступай до греха!.. Да убирайся же, чтоб черти тебя на том свете жарили да всякой мерзостью вместо масла поливали!

И неистово затопал ногами.

– Одного не нашли, – настойчиво молвил Василий Фадеев и тотчас же скрылся за дверью.

– Кого не нашли!.. Ступай сюда, – крикнул ему Смолокуров.

Приказчик опять появился в дверях.

– Доронина какого-то искал почтальон, – сказал он, входя в комнату. – А такого у нас по всей пристани нет. А на письме означено: «На Гребновскую». Спрашивал почтальон, не знает ли кто, где тот Доронин живет – не знает никто. Так ни с чем и уехал.

¹⁶⁹ Бурлацкие выражения. Святой воздух – ветер, апостольская скатерть – паруса.

– С письмом?

– С письмом, – ответил Фадеев. – Говорил, что отдаст его в почтовую контору, – что, говорит, там хотят, то пушай с ним и делают.

– А-а! Ну, за это тебе спасибо, – маленько повеселей промолвил Марко Данилыч. – Другое-то письмо к Веденееву? – спросил он, маленько помолчавши.

– Так точно-с, – посмелей прежнего отвечал Фадеев.

– Сам получал?

– Никак нет-с, приказчик получал. Веденеев на караване не живет.

– Тотчас повез приказчик письмо? – спросил Марко Данилыч.

– Никак нет-с. Сам, говорил, скоро на баржи приедет, тогда и отдам, – отвечал Василий Фадеев.

Рублевку дал ему Марко Данилыч за приятные вести.

– Это тебе за то, что письмо поспешил привезти... – промолвил он, когда Фадеев радостно целовал щедрую руку. – С Богом.

Отвесил низкий поклон Фадеев и молча ушел.

Мрачно ходил Марко Данилыч по комнате, долго о чем-то раздумывал... Дуня вошла. Думчивая такая, цвет с лица будто сбежал. Каждый день подолгу видается она с Аграфеной Петровной, но нет того, о ком юные думы, неясные, не понятые еще ею вполне тревожные помышленья. Ровно волной его смыло, ровно ветром снесло. «Вот уж неделя, как нет», – думает Дуня... Думает, передумывает и совсем теряется в напрасных догадках.

Только что взглянул на Дуню Марко Данилыч, вдруг сам изменился в лице. Ни гнева, ни досады. С нежностью поцеловал он дочь.

– Что это, погляжу я на тебя, Дунюшка, ровно ты не по себе? – спросил он, одной рукой обнимая ее, другой ласково глядя по шелковистым волосам.

Чуть-чуть вспыхнула Дуня. Тихо подняла она на отца голубые глаза и, силясь казаться беззаботной, с улыбкой ему отвечала:

– Нет, я ничего.

– Да ты здорова ли? – заботно спрашивал отец, прикладывая широкую заскорузлую ладонь к белоснежному челу дочери.

– Здорова.

– Что ж это глаза-то у тебя какие?... Ровно бы плакала?

Смутилась Дуня, однако ж твердо, спокойно, с улыбкой промолвила:

– О чем же плакать мне, тятя?

– То-то, ты у меня смотри, – молвил Смолокуров.

И, нежно поцеловав Дуню, отошел к окну.

А она в самом деле чуть не половину ночи проплакала от неотвязчивых дум.

– Давно ли с подругами-то видалась, с Дорониными? – спросил Марко Данилыч, пристально глядя на что-то в окошко.

– Дня три не видалась, – ответила Дуня.

– Что ж это ты? Побывай у них... Девушки хорошие, любят тебя, – молвил Марко Данилыч, по-прежнему глядя на улицу. – А то с одной Аграфеной Петровной хороводишься... Только у тебя и света в окошке... Так, ласточка ты моя, делать не годится.

– Груня меня любит. Опять же знала меня еще махонькой.

– Видаться с ней запрета тебе не кладу, – сказал Марко Данилыч. – Баба она хорошая, дельная, разумная. А все же нельзя ради ее других покидать. Так не водится, моя сердечная.

– Сегодня же побываю у Дорониных, – тихо ответила Дуня.

– А вот попьешь чайку да тотчас же к ним и ступай. По малом времени я и сам подойду, – сказал Марко Данилыч.

Молча, головку склонивши, пошла Дуня к Дарье Сергевне, а там уже стоял самовар на столе.

* * *

Когда в Царицыне Меркулов писал письма, он, от бессонной ночи и душевного волнения, написавши адрес Веденеева: «На Гребновскую пристань», бессознательно поставил его и на письме к Зиновью Алексеичу. Из этого путаница вышла. Хорошо еще, что Веденеев был у Макарья, а то бы письмо к Доронину так и завалилось в почтовой конторе.

Дуня еще сидела у Дорониных, а Марко Данилыч еще не приходил к ним, как с праздничным лицом влетел в комнату Дмитрий Петрович. Первым словом его было:

– Получили эстафету?

– Какую? – с удивлением спросил Зиновий Алексеич.

– От Меркулова, от Никиты Федорыча, из Царицына, – сказал Дмитрий Петрович.

Еще больше удивился Зиновий Алексеич... Лизавета Зиновьевна вспыхнула. Татьяна Андревна, руки сложив на груди, умильно спросила Веденеева:

– А вы нешто Никитушку-то знаете?

– Друг и приятель закадычный. К тому ж земляки, – отвечал Дмитрий Петрович.

– Не сродни ли как? – озабоченно спросила Татьяна Андревна, пристально глядя на Веденеева.

– Ни родства, ни свойства, а живем с ним дружно, союзно. Дай Бог и сродникам так жить, как живем мы с Меркуловым, – сказал Дмитрий Петрович.

– Да что за штафета такая? – перебил их Зиновий Алексеич.

– Читайте, что пишет ко мне Никита Сокровенный, – сказал Веденеев, подавая письмо Зиновью Алексеичу.

– Как это вы, батюшка, назвали его? – добродушно спросила Татьяна Андревна.

– Никита Сокровенный, – весело улыбаясь, ответил Веденеев. – Так его у нас в дружеском кружке зовут: Никита Сокровенный да Никита Сокровенный, а иной раз просто Сокровенный. Он уж знает свою кличку.

– За что ж это вы его так прозвали, батюшка? – спросила Татьяна Андревна.

– А за то, что человек он в самом деле скрытный. Лишнего слова не молвит, все подумавши, не то что наш брат, – сказал Дмитрий Петрович.

– Дело не худое, – молвила Татьяна Андревна. – Сказанно слово серебряное, не сказанно – золотое.

– Конечно, не худое дело, – ответил Веденеев. – Опять же и именинник-то он бывает на Никиту Сокровенного, на другой день Рождества Богородицы. Оттого больше его и прозвали.

– Вот это уж нехорошо, – заметила Татьяна Андревна. – Грех!.. Божьих угодников всеу поминать не следует. И перед Богом грех, и люди за то не похвалят... Да... Преподобный Никита Сокровенный великий был угодник. Всю жизнь в пустыне спасался, не видя людей, раз только один Созонт диакон его видел. Читал ли ты, сударь, житие-то его?

– Благодетель! – прочитав письмо, воскликнул Зиновий Алексеич и стал обнимать Веденеева. – Какая же цена-то?

– Покамест никакой, товар еще нетроганный, – отвечал Дмитрий Петрович, – недельки через две настоящая цена объявится, не раньше. Будет два с половиной, а не то и два шесть гривен.

Назад даже попятился от удивленья Зиновий Алексеич. Два рубля шесть гривен!.. Мелькнули у него на уме смолокуровские слова, что Дмитрий Петрович ради потехи любит пустые слухи распускать, но из письма Меркулова видно, что они меж собой дружны, стало быть, не станут друг дружку обманывать.

– Как два рубля шесть гривен? – громко воскликнул Зиновий Алексеич. – Да я от ваших же рыбников слыхал, что тюленя ни на фабрики, ни на мыльные заводы в нынешнем году пуда не потребуют, и вся цена ему рубль, много, много, ежели рубль с гривной.

– Орошин, что ли, это вам сказывал? Онисим Самойлыч? – улыбаясь, спросил Веденеев.

– Не он, – молвил Зиновий Алексеич и чуть было не назвал Смолокурова... Взглянувши на Дуню, примолк он.

– А тот, кто сказывал вам такие цены, не торговал ли у вас тюленя-то?

– Было дело, – усмехнулся Доронин.

– То-то и есть, – молвил Дмитрий Петрович. – Намедни на том же тюлене хотели Марка Данилыча провести... Я его тогда выручил, в нашем Рыбном трактире при всех показал ему письмо из Петербурга... Оно со мной.

И, подав письмо Зиновью Алексеичу, промолвил:

– Извольте прочитайте.

Прочел Зиновий Алексеич и думает: «Так это ты, Марко Данилыч, вокруг нас ручки погреть хотел... Ай да приятель!.. Хорош!.. Можно на тебя положиться!.. Нечего сказать!»

– Где же мое-то письмо? Ко мне его не приносили, – вдруг сказал Зиновий Алексеич.

– За письмом надо будет вам самим съездить в почтовую контору, а не то дайте ваш паспорт, я за вас получу. Без того не выдадут, – сказал Веденеев.

– Как так? Ко мне бы на квартиру должны принести.

– Маленько напутал Никита Федорыч, – сказал Дмитрий Петрович. – Написал на вашем письме, что вы на Гребновской. Почтальон поискал там и повез письмо в контору. Дайте паспорт, мигом слетаю.

И минут через пять Дмитрий Петрович катил уж на почту.

Во все время разговора мужа с Веденеевым Татьяна Андревна словечка не проронила. И она, и Лизавета Зиновьевна со слезами немой благодарности смотрели на Дмитрия Петровича, а Наташа с каким-то величавым самодовольством поглядывала то на мать, то на сестру и будто говорила ясными взорами: «Что? Чья правда? Станете теперь журить меня? Так ли бы еще надо было обойтись тогда с этим злым, с этим обманщиком?» Ничего не видя, ничего не слыша, сидела Дуня; у ней на душе своя заботная дума была, своя горькая кручина. «Где-то он? Что-то с ним?» – думала она и с нетерпением ждала отца, чтоб уйти поскорей от Дорониных и замкнуться в своей горенке с Аграфеной Петровной.

Только что уехал Веденеев, Лиза с Наташей позвали Дуню в свою комнату. Перекинувшись двумя-тремя словами с женой, Зиновий Алексеич сказал ей, чтобы и она шла к дочерям, Смолокуров-де скоро придет, а с ним надо ему один на один побеседовать.

Марко Данилыч не замедлил. Как ни в чем не бывало, вошел он к приятелю, дружески поздоровался и даже повел о чем-то шутливый разговор. Когда Зиновий Алексеич велел закуску подать, он ел и пил как следует.

– Ну что? Как на Гребновской дела? – спросил Доронин.

– Ничего. Полегоньку стали расторгиваться, – отвечает Марко Данилыч, разрезывая окорочок белоснежного московского поросенка. – Сушь почти всю продали, цены подходящие, двинулась и коренная. На нее цены так себе. Икра будет дорога. Орошин почти всю скупил, а он охулки на руку не положит, такую цену заворотит, что на Масленице по всей России ешь блины без икры. Бедовый!..

– А насчет тюленя как? – спросил Доронин, прищурился левый глаз и облокотился щекой на правую руку.

– Цен еще не обнаружилось, – преспокойно ответил Марко Данилыч, уписывая за обе щеки поросенка под хреном и сметаной. – Надо полагать, маленько поднимутся. Теперь могу тебе рубль восемь гривен дать... Пожалуй, еще гривенку накинута. Денег половину сейчас на стол, останная к Рождеству. По рукам, что ли?

И протянул руку.

– А по два рубля по шести гривен желаешь? – усмехнулся Доронин, наливая другу стакан красного кахетинского.

– Успел, видно, покалякать с Веденеевым? – тоже усмехнулся Марко Данилыч.

– Успел, – подвигая гостю стакан, сказал Зиновий Алексеич.

– Значит, тюленя мне у тебя не купить?

– Видно, что так, – шутливо промолвил Доронин.

– Дело, – сказал Марко Данилыч. – Важный у тебя поросенок, Зиновий Алексеич!.. Неужто здесь поен?

– Московский, – сказал Зиновий Алексеич. – Где, опричь Москвы, таких поросят найти?.. И в Москве-то не везде такого найдешь – в Новотроицком да в Патрикеевском, у Гурина да в Эрмитаже, а по другим местам лучше и не спрашивай.

– Верно, – согласился Марко Данилыч. – И селедка у тебя важная... Почем покупал?

– Три целковых бочонок. Цена известная, – ответил Зиновий Алексеич.

– Ведь вот поди ж ты тут. У нас в Волге этой селедки видимо-невидимо, а такой, как голландская, не водится, – молвил Марко Данилыч.

И пошел разговор об разных разностях. Пересыпался он веселыми шутками, ясным искренним смехом, сердечностью. Лишь под конец беседы с рюмками мадеры в руках, пожелав друг другу здоровья, всякого благополучия, опять вспомнили про тюленя.

– А больно тебе хотелось поддеть нас с Меркуловым? – усмехнулся Зиновий Алексеич.

– Еще бы! – смеясь отвечал Марко Данилыч. – На плохой бы конец тысяч сорок в карман положил. На улице не поднимешь!

– Ан вот тебе и шиш, – добродушно захохотал Доронин, подняв палец перед приятелем.

– Ничего! – отшутился Марко Данилыч. – Дней у Господа много впереди: один карась сорвется, другой сорвется, третий, Бог даст, и попадетсЯ.

– А за что ж бы ты Меркулова-то обездолил? – спросил Зиновий Алексеич.

– Беды б ему от того не было... – сказал Марко Данилыч. – Убытки ум дают. А Меркулов человек молодой, ему надо ума набираться.

Потом други-приятели повернули беседу на иные дела и долго разлюбезно беседовали.

* * *

Узнав, что Дмитрий Петрович дружен с Никитушкой, Татьяна Андревна считала и его близким к своей семье человеком. Та ее догадка, что пришла на ум после Наташиной выходки против Смолокурова, с каждым днем казалась сбыточнее. Зоркий материнский глаз по взглядам Веденеева и Наташи замечал, что было у них на сердце. По совету мужа, положила она во всем на волю Господню и ни малейшего виду не подавала дочери, что догадывается о ее чувствах к Веденееву. Однако, каждый день молясь Богу о Наташе, не забывала поминать на молитве и раба Божия Дмитрия. Оттого-то, когда узнала она о дружбе Дмитрия Петровича с нареченным ее зятем, тотчас она и спросила, не в родстве ли они. То было у Татьяны Андревны на разуме, что, ежели они сродни, тогда, пожалуй, нельзя будет обе свадьбы-то венчать.

Когда Наташа узнала о дружбе Веденеева с Меркуловым, стало ей весело и радостно, а вместе с тем почувствовала она невольный страх и какую-то робость.

Когда же у отца зашел разговор с Дмитрием Петровичем про цены на тюлений жир и вспомнила она, как Марко Данилыч хотел обмануть и Меркулова, и Зиновья Алексеича и какие обидные слова говорил он тогда про Веденеева, глаза у ней загорелись пылом, лицо багрецом подернулось, двинулась она, будто хотела встать и вмешаться в разговор, но, взглянув на Дуню, опустила глаза, осталась на месте и только кидала полные счастья взоры то на отца, то на мать, то на сестру. А когда Дмитрий Петрович, перед тем как ехать на почту, подошел к

ней и взглянул на нее так ясно и радостно, Наташа поняла его, пуще прежнего зарделась она, и лучезарные очи ее ослепили не вспомнившего себя от восторга Веденеева. Хотел он что-то сказать, но не мог, и быстро вышел, почти бегом побежал вон из комнаты.

Пока Зиновий Алексеич дружелюбно разговаривал про тюленя с Марком Данилычем, а потом благодушно беседовал с ним за закуской, обе его дочери с Дуней сидели. Лишь изредка красавицы перекидывались отрывочными словами, но больше молчали, – каждая про свое дело раздумывала. Лиза сгорала нетерпением увидеться, наконец, с женихом и радовалась, что не попался он в сети, расставленные старым плутоватым рыбаком; не дни, а часы считала она, что оставались до желанного свиданья... В золотых мечтах она воображала первую встречу, радость, слезы счастья, крепкие объятия, горячие поцелуи... А Наташа думала: «Когда ж мой Митенька скажет словами то, что так ясно очами говорит...» Было бы скучно сидеть с ними Дунюшке, но сама она потонула в думках. Думы тяжкие, думы мрачные, не такие, как у счастливых подруг ее. Только и было теперь у ней на уме: «Скоро ли, скоро ль тятенька кончит свои разговоры?» Насилу дождалась.

Только что ушли Марко Данилыч с Дуней от Дорониных, воротился с почты Дмитрий Петрович. Прочитали письмо меркуловское и разочли, что ему надо быть дня через три, через четыре. Такой срок Лизавете Зиновьевне показался чересчур длинным, и навернулись у ней на глазах слезы. Заметил это отец и шутливо спросил:

– Али не рада?

– Долго, – чуть слышно ответила Лиза.

– Ну, матушка, четыре месяца ждала, четырех дней не хочешь подождать, – с доброй улыбкой сказал дочери Зиновий Алексеич, да тут и вспомнил, что выдал перед чужим семейную тайну.

А Татьяна Андревна и не заметила того. Совсем уж своим считала она Дмитрия Петровича.

Догадаться Веденееву было нетрудно. «Эх, как бы нам с Сокровенным быть свояками!.. – подумал он, – то-то бы хорошо было!» И взглянул он на Наташу и видит – сияет она пышной красой и ясной радостью...

– Старуха! – молвил жене Зиновий Алексеич. – Никак я обмолвился?.. Никак проболтался?.. Наш-от гость дорогой, пожалуй, теперь догадался. Не сказать ли уж ему всю правду, всю истинную? Друг ведь он, приятель Никитушке-то. Почитай-ка, что пишет он про него... Все едино, что братья... Ась?.. Как, супруга ты моя благоверная, в таком разе мне присоветуешь?

– Чего еще рассказывать-то? – добродушно улыбаясь, отвечала Татьяна Андревна. – Без того, батька, все рассказал, как размазал... Вот невеста вашего приятеля, Дмитрий Петрович, – промолвила она, показав Веденееву на старшую дочь.

С радостным чувством поздравил Веденеев невесту, сказал ей, что теперь они будто свои, ежели Никита Федорыч ему за брата, так она будет ему за сестру. И, взяв невестину руку, крепко поцеловал ее.

«Не надо бы так, не водится, – подумала Татьяна Андревна, – ну да он человек столичный, с новым обхождением. То же, что Никитушка... Опять же не при людях». И ни слова супротив не молвила.

Поздравил Веденеев и Татьяну Андревну и у нее поцеловал руку.

– Чтой-то ты, батька, с ума, что ли, спятил? – вскрикнула она. – Нешто я поп?.. Опрочь дочерей, никто у меня сроду рук не целовывал...

– На радостях, Татьяна Андревна, ей-Богу, на радостях, – сказал Дмитрий Петрович и, если бы можно было, козлом проскакал бы по комнате.

К Наташе подошел. Как стрелой пронзило его сердце, когда прикоснулся он к нежной, стройной руке ее. Опустила глаза Наташа и замлела вся... Вздохнула Татьяна Андревна, глядя на них... А Наташа?.. Не забыть ей той минуты до бела савана, не забыть ее до гробовой доски!..

Трижды, со щеки на щеку, расцеловался с Дмитрием Петровичем Зиновий Алексеич. Весел старик был и радостен. Ни с того ни с сего стал «куманьком» да «сватушкой» звать Веденеева, а посматривая, как он и Наташа друг на дружку поглядывают, такие мысли раскидывал на разуме: «Чего еще тянуть-то? По рукам бы – и дело с концом».

Весело, незаметно летело время в задушевных разговорах. Про жениха больше речи велись. Рассказывал Веденеев про их петербургское житье-бытье, про разные случаи, встречи, знакомства; каждый рассказ его милым и дорогим казался всей семье доронинской. Кончит Дмитрий Петрович, примолкнет, а им бы еще и еще его слушать, еще бы что-нибудь хорошее узнать про Никитушку. Так время вплоть до обеда прошло. Сколько ни отговаривался Веденеев, какие доводы ни приводил о крайней надобности побывать там и сям, Зиновий Алексеич не пустил его, а Татьяна Андревна, лишних речей не разводя, спрятала его картуз в своей комнате.

– Теперь, сватушка, ты у нас под караулом, – молвил Зиновий Алексеич. – Выпустим на волю, когда захочем. – И залился веселым, добродушным смехом.

Тихо, мирно пообедали и весело провели остаток дня. Сбирались было ехать на ярманку, но небо стало заволакивать, и свежий ветер потянул. Волга заволновалась, по оконным стеклам застучали крупные капли дождя. Остались, и рад был тому Дмитрий Петрович. Так легко, так отраднo было ему. Век бы гостить у Дорониных.

– Когда же, Татьяна Андревна, думаете вы окрутить друга моего любезного? – спросил он.

– Поскорей хотелось бы, Дмитрий Петрович, да не знаю, управимся ли, – отвечала Татьяна Андревна. – Захария и Елизаветы – Лизины именины в среду будут, а жениховы в первое после того воскресенье. Не в те, так в другие именины желательно было бы их повенчать. Да навряд ли управимся к тому времени. Все готово, все припасено, хоть сейчас ступай под венец, да не знаем, дела как порешатся. Домой придется сплыть, и на то время надо... Как ни думай, как ни гадай, к ихним именинам не поспеть. Видно, Покров девке голову покроет.

– Больше месяца, значит, придется ждать, – молвил Веденеев.

– Что ж делать, батюшка? – сказала Татьяна Андревна. – Долго ждали, маленько-то подождут. Да вот еще Бог знает, скоро ли Никитушка со своим тюленем покончит...

– Скоро покончит, Татьяна Андревна, скоро, – молвил Дмитрий Петрович. – Орошин хочет скупать, охота ему все, что ни есть в привозе тюленя, к своим рукам подобрать. Статья обозначилась выгодная. Недели две назад про тюленя и слушать никто не хотел, теперь с руками оторвут.

– Стало быть, как приедет Никитушка, так и покончит? – спросила Татьяна Андревна.

– На другой же день, – сказал Веденеев. – Я его сведу с покупателями. А мой бы совет не торопиться. Дольше повыдержит, больше барыша возьмет.

– Долго-то ждать неохота бы. И то наши князь со княгиней стосковались совсем, – молвила, улыбаясь, Татьяна Андревна.

– До Покрова ведь решили же отложить? – сказал Веденеев.

– Ох, уж и не знаю, как сказать вам, Дмитрий Петрович! – со вздохом промолвила Татьяна Андревна. – Как Господь устроит.

А Дмитрий Петрович держит свое на уме: «Авось и мое дело до Покрова выгорит. Скорей бы Никита Сокровенный приезжал. Я ему тюленя сосватаю, а он Наташу мне сватай...»

Взглянул он тут на нее. Облокотясь на правую руку, склонив головку, тихим взором смотрела она на него. И показалось ему, что целое небо любви сияет в лучезарных очах девушки. Хотел что-то сказать – не может, не смеет.

Поздно вечером пришлось ему оставить приятную, милую семью, где блаженство он ощущал, где испытал высшую степень наслаждения души. И когда вышел он из доронинской квартиры, тоска напала на него, тяжело, ровно свинец, пало на душу одиночество... Мнилось ему, что из светлого рая вдруг попал он на трудную землю, полную бед, горя, печали, лишений...

Выйдя из гостиницы, стал на крыльце. Дождь так и хлещет, тьма стоит непроглядная, едва светятся уличные фонари, с шумом и звоном стучат крупные дождевые капли о железные листы наддверного зонта.

Сам не зная зачем, ровно вкопанный стоит на крыльце Веденеев. Все еще видится ему милый лик дорогой девушки, все еще слышатся сладкие, тихие речи ее. Задумался и не может сообразить, где он, зачем тут стоит, что ему надобно делать... С громом подкатил к крыльцу извозчик в крытой пролетке.

– Извозчика вашей чести требуется?

– Да, – бессознательно молвил Дмитрий Петрович и, не торгуясь, быстро вскочил в пролетку. Застегнув кожаный запон и сев на козлы, извозчик спросил:

– Куда прикажете?

– Туда, – махнув рукой к ярманке, сказал Веденеев и тотчас же погрузился в сладкие думы.

С хитрой улыбкой извозчик кивнул головой и, не молвив ни полслова, поехал к мосту, а потом повернул налево вдоль по шоссе.

Едут, едут... Приехали в какую-то песчаную немощеную улицу... Своротили. Еще повернули, остановились перед большим, ярко освещенным домом.

– Приехали... – весело осклабясь, молвил извозчик. – Подождать вашу честь прикажете?

Занес было ноги вон из пролетки Дмитрий Петрович... но вдруг огляделся. Видит растворенные настежь двери, ведут они в грязный коридор, тускло освещенный лампой с закопченным стеклом. Едва держась на ногах, пьяным шагом пробирается там вдоль стенки широкоплечий купчина с маслянистым лицом. Осторожно поддерживает его под руку молодой человек, надо думать, приказчик, взятый хозяином ради сохранности. Заботливо, почтительно старому кутиле он приговаривает: «Полегче, батюшка Алексей Сампсоныч, не оступитесь – тут ступенька». А батюшка Алексей Сампсоныч, в награду за такую заботливость, хриплым голосом ругает приказчика на чем свет стоит.

Огляделся Дмитрий Петрович и ровно проснулся.

– Куда ты завез меня? – напустился он на извозчика.

– Куда приказывали, – бойко тот отвечал.

– Когда я приказывал? Что ты городишь? – закричал Веденеев.

– Изволили сказать «Пошел туда», я и поехал, – оправдывался извозчик. – Дело ночное, непогода... «Туда» известно, значит, куда...

Стоявшая у подъезда толпа извозчиков во все горло расхохоталась. Залился смехом даже сам городской, приставленный к дверям на всякий случай.

А из раскрытых окон слышатся звуки разбитого фортепиано, топот танцующих, звон стаканов, дикие крики и то хриплый, то звонкий хохот не одного десятка молодых женщин, сопровождаемый их визгом и руганью.

– На Театральную площадь, к Ермолаеву, – крикнул раздраженный Дмитрий Петрович.

– Так бы и говорили, – ворчал извозчик. – А то: «туда». Ночь, ярманка – известно, куда в эту пору ездят купцы.

– Без разговоров! – крикнул Веденеев.

И всю дорогу отплевывался.

Глава семнадцатая

Когда Меркулов доплыл до Казани, там на Бакалде¹⁷⁰ застал он небольшой пароход. Пароход совсем был готов к отвалу, бежал вверх по Волге к Нижнему. Тогда еще мало ходило пароходов, и Никите Федорычу такая нечаянность показалась особенным, неожиданным счастьем. На плохой конец двумя сутками раньше увидит он теперь невесту.

Сдав баржи надежному, испытанному приказчику, взял он место на пароходе и в самом веселом расположении духа ступил на палубу. Все ему казалось так хорошо, так красиво – и борты, и машины, и убранство кают, хоть в самом-то деле тут ничего особенного не было. Угрюмый капитан показался Никите Федорычу таким прекрасным, таким душевным человеком, что, познакомившись с ним, он с первого же слова едва не бросился обнимать его. Капитан, не говоря ни слова, с ног до головы мрачно оглядел восторженного купчика и подумал: «Должно быть, здорово хлебнул на проводах». Рабочий, что перетаскивал на богатырских своих плечах грузный чемодан Меркулова, показался ему таким хорошим и добрым, что он об этом высказал ему напрямик и подарил рубль серебром. Рабочий выпучил удивленные глаза на Меркулова, но, опомнившись, крепко сжал в увесистом кулаке бумажку и, наскоро отвесив низкий поклон щедрому купчику, бегом пустился вдоль по палубе, думая про себя: «Подгулял, сердечный!.. Уйти до греха, а то, пожалуй, опомнится да назад потребует». И все пассажиры показались Никите Федорычу такими хорошими и добрыми, а речи их такими разумными, что он тотчас же со всеми перезнакомился и до такой степени стал весел и разговорчив, что и пассажиры про него то же самое подумали, что и капитан с богатырем рабочим. Грязная, плохими лачугами обстроенная Бакалда восторженным глазам Меркулова представлялась прекрасно устроенной пристанью; самое небо с нависшими свинцовыми тучами – ясным, лучезарным, как будто итальянским. Одно лишь было ему не по мысли – очень уж долго, по его мнению, медлили сборами, долго не отваливали.

Подняли, наконец, сходни¹⁷¹, и пароход, заворотив кверху, быстро побежал, извергая из железных уст клубы густого черного дыма и снопы огненных искр... Мерно бьет он крылами многоводное лоно русских рек и ручьев, кипит по бокам его мощно рассекаемая влага, а он летит все быстрее, все вперед. Берега так и мелькают. На широких, белых, как снег, парусах и топселях¹⁷² одни за другими вылетают длинные расшивы с высокими носами, с узкими кормами, с бортами, огороженными низкими перильцами; вдогонку за ними бегут большие, грузные, но легкие на ходу гусянки с небольшой оснасткой и с низкими, открытыми бортами; дальше черепашым шагом плетутся нагруженные пермскою солью уемистые, неуклюжие ладьи, бархоты, шитики и проконопаченные мочалом межеумки, вдали сверкают белизной ветлужские сплавные беляны, чернеют густо осмоленные кладнушки. Всех далеко за собою оставляя, вольной птицей летит по реке пароход, а Меркулову кажется, что он чуть ли не на мель сел... Ох, если бы крылья – так бы вот и ринулся он вперед соколиным полетом...

Не сидится Никите Федорычу в тесной душной каюте, вышел он на палубу освежиться. С левого берега подувало холодным ветром, то и дело начинался косой дождик, но, только что припустит хорошенько, тотчас притихнет, а потом опять и опять. Быстро тучи несутся по небу, берега и река вечерним сумраком кроются... Пассажиры, укрываясь от непогоды, все сидят по каютам, один Меркулов остается на кормовой палубе. Походил он, походил взад и вперед, к паровику подошел и долго, пристально глядел, как ровно, мерно, почти беззвучно поднимаются и опускаются рычаги машины. Долго стоял он тут, защищенный от ветра и дождя

¹⁷⁰ Бакалда – казанская пристань на Волге. Иначе называется Устьем (реки Казанки).

¹⁷¹ Сходня и сходни – доска с набитыми на ней брусками для схода с судна на берег.

¹⁷² Топсель – верхний парус; он поменьше нижнего – **коренного**, или **ходового**.

каютками капитана и лоцмана, что построены над колесными кожухами. Насмотревшись вдоволь на машину, Никита Федорыч подошел к перильцам, отделявшим палубу третьего класса, и окинул глазами там бывших. Одно лицо показалось ему знакомым. Русский, лет сорока, невысокого роста, в теплой суконной сибирке, только что потрапезовал он на сон грядущий и, сбираясь улечься на боковую, обратился лицом к востоку, снял картуз и стал на молитву, крестясь по старине двуперстно. Стоял он прямехонько перед Меркуловым. Вглядываясь в лицо его, Никита Федорыч больше и больше убеждался, что где-то видал этого человека... Усиленно старается он вспомнить, где и когда встречался с этим русым, но, как нарочно, совсем захлестнуло у него в памяти... А любопытство меж тем возбудилось до крайности, и, только что русский кончил молитву, Меркулов подошел и спросил:

– Кажется, мы где-то с вами видались?

Пристально поглядел русский на Меркулова.

– Ах, батюшки! – вскрикнул он. – Никак господин Меркулов будете?

– Он самый, – молвил Никита Федорыч, радуясь, что русский признал его. – Скажите, однако, где мы с вами видались? У меня что-то из памяти вон.

– В Питере, сударь, в Питере, – весело отвечал русский. – В Питере, у Дмитрия Петровича Веденеева. В приказчиках у его милости служу, Флор Гаврилов, ежели припомните...

– Ах, Флор Гаврилыч! Как я рад, что встретился с вами! – говорил с увлечением Меркулов. – Где теперь Дмитрий Петрович?

– У Макарья в ярманке, – отвечал Флор Гаврилов. – Еду к нему с отчетами из Саратова.

– Как я рад, как я рад такой приятной встрече, – говорил Никита Федорыч, обнимая и крепко целуя Флора Гаврилова, к немалому изумлению веденеевского приказчика. «Что за светло воскресенье нашло на него», – думает Флор Гаврилов. И вспало ему на ум то же самое, что подумалось и капитану, и рабочему с богатырскими плечами, и пассажирам: «Хлебнул, должно быть, ради сырой погоды».

– Давно ли Митенька в ярманке? – спросил Меркулов у Флора Гаврилова.

– Дмитрий-от Петрович? Да как вам доложить – дня за три либо за четыре до первого Спаса туда прибыли. Теперь вот уж без малого месяц, – сказал Флор Гаврилов.

– Где пристал? На Гребновской, что ли, на барже? – спрашивал Никита Федорыч.

– Как возможно!.. – молвил Флор Гаврилов. – И далеко там, и грязно, а уж вонь такая, что не приведи Господи. Теперь на самой ярманке много гостиниц понастроили, хозяевам по пристаням не след теперь проживать...

– Где ж остановился он?

Флор Гаврилов сказал, где остановился Веденеев. Никита Федорыч ног под собой не слышал от радости скорого свиданья не только с невестой, но и с самым близким другом-приятелем... «Кстати, очень кстати приехал Митенька к Макарью, – думает он про себя, – теперь он мою эстафету, значит, уж получил. Пособит моему горю, развяжет меня с тюленем». И крепко жал Меркулов руку Флору Гаврилову, звал его в рубку¹⁷³ чайку напиться, поужинать, побеседовать. Надивиться не может приказчик таким ласкам хозяйского приятеля. «Пьян, беспрерменно пьян», – он думает.

– Покорнейше благодарим, Никита Федорыч, только увольте, пожалуйста, – отвечает он на приглашения Меркулова. – Нам ведь нет туда ходу, мы ведь третьего класса – на то порядок. Вы вот в первом сели, так вам везде чистый путь, а нашему брату за эту перегородку пройти нельзя.

– Ничего, я скажу там, – перебил Меркулов.

¹⁷³ Светлая каюта, поставленная у кормы на пароходной палубе над сходом в каюты.

– Нет, уж увольте, – на своем стоял Флор Гаврилов. – Я же... Оченно благодарны за ваши ласки... Я уж, признаться, и чайку попил, и чем Бог послал поужинал, спать надо теперь. Пора. Наши за Волгой давно уж спят¹⁷⁴.

– Где ж вы ляжете? – заботливо спросил Меркулов.

– А вот тут же на палубе.

– На ветру, на дожде? Как это можно! – воскликнул Никита Федорыч.

– Не сахарные, не растаем, – с улыбкой ответил Флор Гаврилов.

– А постель-то где же у вас?

– Постель-то! – усмехнулся Флор Гаврилов. – Один кулак в головы, другой под бок – вот и постель.

– Как это возможно! – воскликнул Меркулов.

– Дело, сударь, привычное, – отозвался Флор Гаврилов. – Наше вам наиглубочайшее, и вам тоже пора, чать, на боковую.

И не хотелось, а пошел Меркулов на кормовую палубу.

Темнело. Один за другим пассажиры стали укладываться на опочив. В третьем классе невзыскательные мужики, бабы, солдаты, татары, поужинав здоровыми ломтями черного хлеба с огурцами и незрелыми яблоками, развалились по палубе. Зипун под голову, постель – дощатый, рубчатый помост, одеяло – синее небо, хоть в тот вечер было оно вовсе не синее, а ровно смоль черное. Ни единой звездочки, ни одного клочка светлого небесного свода... Нет-нет, а дождичек и почнет накрапывать, а потом и припустит, и зачастит, а те спят себе во славу Божию, только лишь изредка который-нибудь с холоду да от сырости маленько пожмется... Поужинали и в первом классе. Долго тут бегала пароходная прислуга с мисками, с тарелками, с блюдами. Там не то, что на носу в третьем классе: ели дольше и больше, не огурцы с решетным хлебом, а только что изловленных стерлядей, вкусные казанские котлеты, цыплят и молодую дичь из Кокшайских лесов. Наконец все поужинали, все по местам разлеглись. Ходит сон по людям, спят все, ровно маковой воды напились.

Меркулов взял особую каюту, чтоб быть одному, чтобы ночным думам его не мешали соседи... Лег на койку – не спится: то невеста мерещится, то тюлень. Пароход бежал и ночью – паводок тогда стоял высокий, погода была мокрая, татинцовский¹⁷⁵ лоцман Волгу знает как ладонь свою – значит, перекаатов да мелей бояться нечего. Мерный шум колес, мерные всплески воды о стены парохода, мерные звуки дождя, бившего в окно каюты, звон стакана, оставленного на столе рядом с графином и от дрожанья парохода певшего свою нескончаемую унылую песню, храп и носовой свист во всю сласть спавших по каютам и в общей зале пассажиров – все наводило на Меркулова тоску невыносимую. Лампы в общей зале погасли, и стала повсюду тьма непроглядная.

¹⁷⁴ Поговорка, употребляемая на Горах, она значит: поздно. На левом берегу Волги, в Лесах, эта поговорка не употребляется.

¹⁷⁵ Лучшие волжские лоцмана из села Татинца, что немного повыше Лыскова.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1.

Апокрифическая баба Соломея, или Соломонида, будто бы принимавшая Христа при рождении его, упоминается в апокрифических евангелиях и в некоторых церковных книгах (например, «Синаксарь»). У старообрядцев поминается она, когда дают молитву роженицам. Празднуют бабе Соломее на другой день Рождества (26 декабря), в этот день варят кашу и угощают бабушек-повитух. Обычай этот называется «бабы каши».

2.

Ременное масло – на языке бурлаков удары линьком или концом лямки. Дерево – мачта, райна – поперечное дерево на мачте, к которому прикрепляется парус, по-морски рея. Бечеву ссаривать – отцеплять ее от кустов и деревьев, перекидывая бечеву через них. Это дело косных. Косными зовут на судне двух бурлаков, что при парусах, они обшивают их и насаживают на райну; один из них кашевар, то есть повар бурлацкой артели; дядя, то есть лоцман, управляет ходом судна; шишка – передовой бурлак во время тяги бечевою.

3.

Гармоники изобретены не более пятидесяти лет тому назад туляком Сизовым. Они давно уже совсем вытеснили старинную нашу балалайку. Гармоник, исключительно тульской работы, на одной Макарьевской ярманке продается каждый год до 250 тысяч штук. Сорта гармоник: пятитонная в 10 к., семитонная в 20 к., редкая от 25 до 30 к., вторная от 35 до 45 к., двухсторонняя от 50 до 65 к., детский свист от 50 до 90 к., трехвторная от 1 р. 30 к. до 1 р. 80 к., десятичная от 2 до 3 р. Высшие сорта есть по 5 и по 6 рублей.